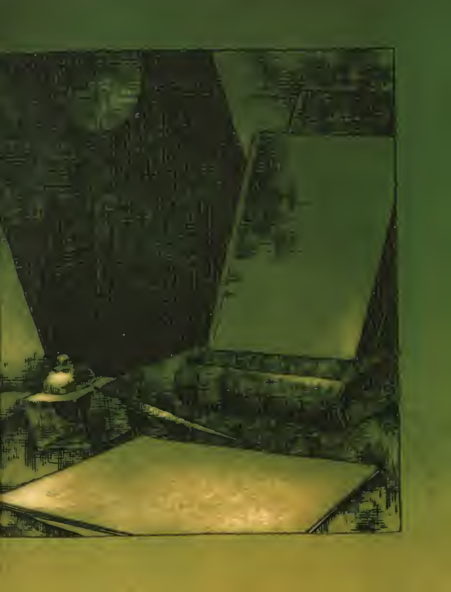
Немецкая трагедия

ОСИП ЧЕРНЫЙ







Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1982



СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

Осип Черный

НЕМЕЦКАЯ ТРАГЕДИЯ

ПОВЕСТЬ
О КАРЛЕ ЛИБКНЕХТЕ

2-е издание

Р2
Ч-49

Герой повести «Немецкая трагедия» Карл Либкнехт — выдающийся деятель немецкого и международного коммунистического движения — дан на фоне острых политических событий. Книга рассказывает о юности Либкнехта, о его подпольной работе, о деятельности по формированию групп спартаковцев. Она — и о том, как в ходе исторических событий меняются роли политических деятелей.

Перу писателя Осипа Черного принадлежат романы, художественно-биографические повести, повести о войне, рабочем классе.

Книга «Немецкая трагедия», тепло встреченная читателями и прессой (первое издание ее было в 1971 г.), выходит вторым изданием.

Ч $\frac{0901000000-229}{079(02)-82}$ 235—82

КНИГА ПЕРВАЯ

„ДА" И „НЕТ" ЛИБКНЕХТА

I

Город бурлил, демонстрации сменяли одна другую, вызывая горячее одобрение толпы. Дамы в шляпках с разноцветными лентами, мужчины в панамах и котелках, разносчики, продавцы, официанты, содержатели ресторанов, кафе толпились на тротуарах, с энтузиазмом приветствуя колонны буршей, чиновников, гимназистов, подразделения солдат и конницу. Твердая выправка, четкий шаг воодушевляли немцев: они выражали единство и силу их родины.

Дух единства старались подчеркнуть решительно все. То, что еще вчера разделяло сословия, отодвинулось назад. Ведь сам кайзер провозгласил, что для него нет больше враждующих партий, а есть патриоты, готовые пожертвовать собой во имя Германии.

Красивая статная женщина в светлом жакете и широкополой соломенной шляпе вместе с сыном, молодым человеком, с трудом пробиралась в густой толпе. Фанатичные выкрики, цоканье лошадиных подков, возгласы «Hoch!» * — все звучало чуждо и отзывалось в ее сердце пустотой.

Что произошло с этими недавно еще благодушными людьми? Еще на прошлой неделе соседи по столу в пансионе обращались к ней за поддержкой: «Ведь все уляжется, правда? Ваша страна не ищет же столкновения с нами? Мы мирный народ и больше всего жаждем покоя!» Даже

* — ура *(нем.)*.

военные, срочно отзываемые в свои части, прощались с благовоспитанной русской дамой дружески, уверяя, что все в конце концов обойдется.

И вот случилось невообразимое: за каких-нибудь пять-шесть дней узы общности оборвались. На курорте Кольгруб, где жила русская с сыном, она почувствовала себя совершенно чужой и, прервав лечение, решила уехать немедленно.

На станции царила растерянность, близкая к панике.

В Мюнхене, куда добрались с трудом и где надо было пересесть на берлинский поезд, был форменный ад. Толпа скопилась огромная, эшелоны с солдатами отправлялись один за другим, а будет ли пассажирский состав, никто не мог сказать.

Носильщик, которому русская отдала свои вещи, пропал. В добавление ко всему она вспомнила, что в чемодане у нее документы и деньги.

Наконец поздно вечером прибыл берлинский поезд, и все ринулись в вагоны. Ее и сына буквально втолкнули внутрь. Но как было уезжать без вещей и без денег?

К счастью, в последнюю минуту носильщик сумел разыскать их: чемоданы он запихнул через окно и на лету поймал деньги.

Германия, объявившая войну России, как будто помешалась: в течение нескольких дней она превратилась в страну, полную мнительности и фанатизма.

...Толпа на берлинских улицах неистовствовала и выкрикивала верноподданнические лозунги.

Зрелище внезапного перерождения вызывало недоумение. Тем более, что в демонстрациях участвовали и рабочие, а русская считала, что они находятся под сильным влиянием социал-демократической партии.

Впрочем, два года назад она сама писала о пагубном оппортунизме, которым заражена германская социал-демократия. Так не в нем ли скрывалась причина?

О том, чтобы достать извозчика, не приходилось думать: даже на проезжей части улиц люди стояли плотными группами.

— Ты не очень устал, Миша? — спросила у сына русская.— Придется идти до Грюневальда пешком.

— Ну, конечно, дойдем.

— Авось хозяйка пансиона примет нас, как принимала прежде. Она дама благоразумная и вряд ли тоже стала жертвой психоза.

Уже несколько раз до них донеслось зловещее слово «шпионы». Оповещения предостерегали жителей: агенты врага, проникшие в город, взрывают мосты, бесчинствуют, поджигают склады...

Как бы в подтверждение этого они услышали отчаянный крик впереди. Толпа мгновенно устремилась туда.

— Что там случилось? — на отличном немецком языке спросила женщина.

Долговязая немка, прикованная к происходящему, даже не обернулась.

— Провокаторов ловят, фрау; с самого утра вылавливают.

— Господи, все помешались! Какие там еще провокаторы?!

Услышав это, немка посмотрела на нее из-под тяжелых, в мелких складках, век.

— Вы, фрау, с неба, что ли, свалились? На нас же напали казаки!

Ее ошалело подозрительный взгляд упал на Мишу, и мать потянула сына за собой.

День был томительно жаркий. Небо с молочной пленкой на синеве было обычное, городское, застланное фабричным дымом и пылью.

Пока добрались до Грюневальда, мать и сын устали порядком. В этом благонамеренном районе вблизи Бисмаркпляц царила сравнительная тишина. Аллеи кашта-

нов словно загораживали улицы от испарений шовинизма, окутавших весь Берлин.

Подошли к двухэтажному, в зелени, дому, где прежде они встречали чистонемецкое, заботливое гостеприимство. Не успела появиться хозяйка, как сразу взволнованно заговорила:

— Ах, что у нас происходит, госпожа Коллонтай, если бы вы только знали! Это какой-то кошмар! Все в страхе, все ожидают худшего!

— Но что случилось? Объясните, прошу вас!

— Мой пансион, вы ведь знаете, был широко открыт для всех. Но стоит представить себе, что в Берлин входят казаки и начинают расправу...

— Милая госпожа Шнабель, какой сумасшедший напугал вас?

— Ну да, к казакам и к их царю вы относитесь, как и мы. Но само слово «русский» стало страшить, приводит всех в ужас.

— Нет, это не ваши слова, вы повторяете чье-то чужое.

— Может быть, может быть...— согласилась, вздохнув, хозяйка.— Но что поделаешь, у всех на устах одно и то же.

Русские, жившие в пансионе фрау Шнабель, тоже успели сообщить Коллонтай кучу нелепостей и вздорных слухов. Она решила немедля искать источник сведений более надежный. Наскоро устроившись в комнате, отведенной хозяйкой, Коллонтай сказала, чтобы Миша обедал без нее, а сама отправилась на розыски знакомых.

II

Человек в темных очках и белой войлочной шляпе с рюкзаком за плечами шагал по горной тропинке. Синеватые горы лежали в дымке, леса по склонам походили на

перевернутую кверху щетку. Отсюда щетина ее казалась идеально ровной.

Чем выше, тем красивее становился вид. Человек сдвигал очки на лоб, чтобы рассмотреть все в неискаженном цвете — небо, дымку гор, зеленые очертания леса,— затем шагал дальше.

Благодушные мысли сменяли одна другую. Это был его отдых, законный отдых, и не хотелось вспоминать, что отправился он путешествовать в тревожное время. Нет, в войну Германия не ввяжется — в этом он был почти убежден. Из-за того, что австрийский наследник убит в Сараеве, мировая свалка не начнется. Два года назад на всемирном конгрессе в Базеле социалисты подтвердили солидарность рабочего класса всех стран и вновь напомнили буржуазии: если война будет развязана, она неминуемо кончится революцией.

Там, где тропа делала резкий изгиб, вид открывался еще более красивый. Внизу лежала, вся в мягких переливах, долина. Леса тянулись спокойной линией, а небо было той синевы, какая бывает только в горах.

Турист решил сделать привал; распустил ремни рюкзака, достал флягу с какао, корейку и джем. Затем вынул книжечку и внес в нее несколько записей, которые могли пригодиться в будущем. Посидел, помечтал.

И только вечером, проделав длинный спуск, попав в тирольский городок, он от мальчишек-газетчиков, которые ошалело носились по улицам, выкрикивая последние новости, узнал, что Австрия предъявила Сербии грозный ультиматум. За те дни, что он бродил по горам, мир изменил свое лицо.

Уютный маленький городок с нарядными витринами напоминал улей, в котором все пришло в возбуждение. Мальчишки, выкрикивая каждый свое, бежали, не задерживаясь, швыряя номер на ходу и ловко подхватывая монету.

Турист развернул прилипавший к пальцам свежий газетный лист. Да, ультиматум, и ответ должен быть дан не позже послезавтра; условия почти невыполнимые. Миру брошен грубый вызов, Европа на краю катастрофы.

Магазины были еще открыты. Турист подумал, что ему понадобится тетрадь для записей. Он дошел до писчебумажной лавчонки. Зазвеневший колокольчик исполнил мелодию из шести звуков. Хозяин с сочувствием наблюдал, как протискивается внутрь через узкую дверь человек с рюкзаком.

— Вы, как видно, издалека?

— Ну да, из Берлина.

— О-о... Можно себе представить, что творится у вас.

Хозяин спросил, чем может быть полезен покупателю.

— Мне тетрадь нужна, только основательная, потолще.

И стал выбирать из того, что положил на прилавок хозяин.

Тем временем мысли его вращались вокруг ультиматума. Зачем в таком случае кайзер направился к берегам Скандинавии? Что это за уловки? Или австрийцы ринулись в авантюру сами, не посчитавшись ни с кем? Впрочем, на кухне войны блюда всегда готовятся втихомолку, лишь главный повар знает, что́ и когда поспеет.

Наконец он выбрал плотную тетрадь в темном коленкоре.

— Сынишке покупаете?

— Вернее сказать, для себя.— Покупатель усмехнулся: — Записи, которые делаешь по свежим следам событий, потом бывают весьма полезны.

— О-о, без сомнения!

— Это, если хотите, живые свидетели происходящего.— Он заплатил, кивнул на прощанье и направился к выходу.

Опять колокольчик сыграл свои шесть простеньких

звуков и замолк. Хозяин, смотря вслед необычному посетителю, думал: примета хорошая — в такой беспокойный час в лавочке все-таки кто-то появился.

А его посетитель, один из виднейших руководителей социал-демократов Германии, Филипп Шейдеман, призванный историей к выполнению своей миссии, расспросил, как дойти до вокзала, и зашагал туда, чтобы с первым же поездом вернуться в Берлин, куда его призывал высокий долг партийного руководителя.

III

Здание рейхстага выделялось среди окружавших его домов своей тяжелой монументальностью. Центральный портал с колоннами, венчавшая его купол башня, две меньшие башни по краям, высокие окна первого этажа — все было в нем симметрично.

Коллонтай подошла к депутатскому входу и без колебаний взялась за медную ручку двери. После того, что она наслышалась, все показалось здесь полным представительности и спокойного благообразия.

Церемонный швейцар в ливрее шагнул навстречу ей:

— Ах, фрау Коллонтай? Пожалуйста! На вас ведь запрет не распространяется? Я полагаю, так... В какое тревожное время изволили прибыть!

Он обратился к ней с той почтительной приязнью, с какой встречал завсегдатаев, постоянных гостей.

— Из фракции кто-нибудь есть?

— Все в полном составе: заседают, с утра заседают.

Коллонтай была тут одно время своим человеком, близким к фракции социал-демократов. Ему и в голову не пришло, что все переменилось и она теперь прежде всего чужестранка.

В коридорах было пусто. Первый, кто встретился ей,

был заметно состарившийся за время, что она его не видала, маленький седой Карл Каутский, представитель центристского направления социал-демократии.

С рассеянной любезностью он протянул к ней обе руки.

— Какие скверные времена пришли! Кто мог бы подумать... Германия воюет! Одна против всех стран Антанты!

— Но с вами Австро-Венгрия, Турция!

— Увы, тяжесть неминуемых ударов падет главным образом на нас. Совещание там, в боковом секторе, вы ведь знаете где.— И двинулся дальше, озабоченный, погруженный в свои думы.

Свернув в боковой коридор, Коллонтай оказалась в холле, где расхаживало много народу. Заседание фракции затянулось: то один депутат, то другой выходили сюда.

Ее приветствовали как старую знакомую, однако она уловила и недружелюбные, косые взгляды.

— Коллонтай среди нас — как это так? — донесся чей-то враждебный голос.— Странно, кто ее допустил?

Депутат Гере, которому она стала говорить о бедственном положении русских в Берлине, слушал так, будто слова ее доходят сюда из другого мира. Полиция чинит препятствия, денег не меняют, марок не оказалось почти ни у кого...

— Что поделаешь,— прервал ее Гере,— трудности неизбежны, ведь и мы, немцы, страдаем тоже.

— Но никто из коренных жителей не поставлен же вне закона!

— Ну еще бы: здесь как-никак наша родина!

После нескольких минут разговора она почувствовала себя почти как в уличной толпе. Ее охватило сознание отъединенности.

— И бессмысленные аресты вы тоже готовы оправдать?!

— Тут я сказать ничего не могу,— рассудительно отозвался Гере.— Это исключительно в компетенции оберкомандо.

— Разве «Форвертс» не обязан был выступить против нелепых варварских притеснений?!

Гере уклончиво повторил:

— Я посоветовал бы вам обратиться прямо в оберкомандо.

— Там и разговаривать с русской не станут!

— Но почему же? Мы европейская передовая страна. Наши военные, во всяком случае, достаточно вежливы.

Уклончивость Гере объяснялась тем, что именно в эти часы решался вопрос самый важный и роковой — об отношении социалистов к войне. В кулуары проник уже невероятный слух, будто социалисты определили свою позицию в поддержку войны.

На лицах можно было прочитать замешательство, решимость, неловкость, скрытое торжество. Двое депутатов явились в военной форме, предпочтя определенность всяким спорам. Их вид выражал готовность разить врага.

— Никаких колебаний, никакой рефлексии,— усмехнулся Гере, посмотрев в их сторону.— Все решено. Пожалуй, позавидуешь им.

— А социалистические убеждения — как быть с ними?!

— Я говорю только, что их можно понять. Когда противник в воротах твоей страны, поступаешься самым важным... И потом, согласитесь: защищая себя, немецкий рабочий будет сражаться и за всеобщие интересы.

— Когда же это бывало в истории, чтобы, стреляя друг в друга, рабочие защищали и противника и себя?!

Вокруг собралось несколько человек. Они молчали, но сочувствие их было не на стороне Коллонтай.

— Лично я стрелял бы во всякого,— вызывающе заявил один,— кто ослабляет волю рабочего класса.

Немного шокированный такой прямотой, Гере возразил:

— Ну, это уже слишком. Разговор у нас чисто теоретический.

— Вот и надо расстреливать, чтобы такие разговоры не распространялись дальше!

Готовый к прямым действиям молодой социал-демократ был одет в военную, с иголочки, форму. В его светлом и жестком взгляде не было колебаний, одна лишь готовность действовать.

Из помещения фракции вышел старый ее знакомый, высокий, представительный человек. Оставив Гере, Коллонтай шагнула к нему.

— Товарищ Гаазе, у меня сегодня сына арестовали. Непризывного возраста, и все равно увели...

— Поистине мрачные времена,— сочувственно отозвался он.— Куда увели, не сказали?

— Говорят, их будут переправлять в особые лагеря.

Он смотрел на нее с сожалением. Пятидесятилетний, с бородой пророка, он признавал, казалось, свою нравственную сопричастность происходящему.

— Как все печально... Но что можно предпринять? Просто ума не приложу!

— Я пыталась втолковать им, что он непризывного возраста. Где там, не слушают...

— Глупо, нелепо... Вообще-то с нами стали считаться больше, перед нами даже заискивают.— Сказано это было не без усмешки, но в глазах его промелькнуло тщеславие.

— Так, может, фракция вмешалась бы? Или газета подняла бы голос?

Гаазе смотрел вдаль, словно взвешивая что-то.

— Первые дни войны, а социалисты начнут выступать против простейших функций военной власти; да еще при таких настроениях народа...

Коллонтай рассматривала его строгое лицо, на котором было написано желание оправдаться; знакомое уже отчуждение охватило ее.

И тут она заметила еще одного депутата: худощавый, с немного вздернутой головой, в пенсне, с лицом умным и нервным, он вышел из помещения фракции явно расстроенный и повернул в сторону, будто желая скрыться от всех.

Коллонтай нагнала его.

— Карл...

Он обернулся:

— Вы здесь?! Вот странно, даже не верится.

— Мне нужна ваша помощь, Карл.

— Помощь? Ну, конечно, если я только смогу. Скоро должны объявить перерыв. Или я вам нужен сейчас?

— Я подожду,— сказала она.

Карл Либкнехт попросил ее рассказать суть дела. Во взгляде его была пристальность человека, привыкшего слушать. Он вникал, казалось, в каждое ее слово. Уж его-то убеждать не пришлось.

— Это гнусно, и действовать надо немедленно. Слишком большой подарок мы сделаем, если будем замалчивать их делишки... Так вы меня подождете?

— Разумеется, Карл!

Она отошла к окну, непричастная к тому, что творилось вокруг: наблюдатель, но отнюдь не союзница, почти посторонний человек.

IV

В знаменитом кенигсбергском процессе 1904 года обвиняемых защищали Либкнехт и Гаазе. Несколько немецких социал-демократов были привлечены к суду за то, что помогали русским переправлять на их родину нелегальную литературу. Собственно, по немецким законам их

нельзя было привлекать к ответственности: соответствующей конвенции между Германией и Россией не было. Но русский консул Выводцев взял на себя неблаговидную миссию: сделал переводы нелегальных брошюр и препарировал так, что содержание их прозвучало угрозой и вызовом как для России, так и для Германии.

Либкнехт и Гаазе, блестящие адвокаты оба, сумели повести судебный разбор по пути, не предусмотренному властями. В материале, представленном Выводцевым, и русские, и помогавшие им немецкие социал-демократы выглядели чуть ли не бандой анархистов-громил. Либкнехт же раскрыл, против чего борются русские, и убедительно доказал, что суд имеет дело не со злодеями заговорщиками, а с самоотверженными борцами. Кроме того, он потребовал, чтобы переводы Выводцева, как слишком сомнительные, были сличены с оригиналами.

Несколько дней в суде шло чтение гневных статей, ничего общего не имевших с фальшивкой Выводцева. Судебный зал, против воли судей, обратился в трибуну революционной агитации. Стало ясно, что услужливый консул подтасовал все грубо и неуклюже.

Судьи сидели, опустив головы. Вдохновители процесса оказались в условиях очень невыгодных — приходилось выпутываться из положения, в какое их завела низкопробная подделка.

Кенигсбергский процесс принес социал-демократам огромный успех. Имена Либкнехта и Гаазе были подняты высоко левой прессой Германии.

...Десять лет пронеслись, как одно мгновение. Тогда оба имени стояли рядом. А теперь? Не избирал ли каждый в этой трагической обстановке свой путь и не разошлись ли их пути уже в первые дни?

Вообще в социал-демократической фракции происходило что-то очень серьезное и, возможно, непоправимое.

Когда руководители фракций рейхстага с участием

канцлера утверждали порядок открытого заседания, все, казалось, было предусмотрено до мельчайших деталей. Но по одному пункту чуть было не разошлись.

После декларации канцлера и выступлений партийных лидеров рейхстаг должен был провозгласить «Hoch» императору. Социал-демократы согласились уже на многое, но стать участниками монархической акции не пожелали. Единство, возникшее в час опасности, грозило распасться. Тогда Филипп Шейдеман, мастер компромисса, внес предложение:

— Если бы коллеги со мной согласились...— Он помедлил.— Что, если бы рейхстаг провозгласил «Hoch» не одному только кайзеру, а, скажем, кайзеру и нашей родине? — И посмотрел на социалистов.— Нам надо самим сочетать достоинство партии с интересами нации.

Гаазе собрал в кулак бороду и недовольно поморщился. Однако Шейдеман понял, что, несмотря на все свои протесты, несогласия и даже угрозы, против большинства он не пойдет. А за Эберта вообще можно быть спокойным.

— Итак, коллеги,— уточнил Шейдеман,— готовы ли вы поддержать меня?

Канцлер Бетман-Гольвег заметил с облегчением:

— Предложение мудрое, господа, и по духу своему компромиссное. Я думаю, к нему присоединятся все?

Честь предложенной формулировки осталась, таким образом, за социалистами. Это отвечало той новой роли, которую история возложила на них: из партии оппозиции они становились партией сотрудничества с правительством. Шейдеман не напрасно прервал свой отпуск и вернулся в Берлин.

Правда, Гаазе и небольшая группа левых пробовали вначале возражать, но их возражения серьезной опасности не представляли. Убедить их, склонить, наконец, сломить оказалось делом нетрудным. Именно Гаазе пусть и прочитает декларацию социалистов в рейхстаге, чтобы

пути к отступлению для него были отрезаны окончательно.

Иное дело Карл Либкнехт, тот занял позицию непримиримую. На заседаниях фракции он нападал, громил, изобличал. И кого? Большинство, явное большинство! Это вызывало ответное возмущение.

— Товарищи с бо́льшим авторитетом посчитались с нашим мнением. Да, мы патриоты, мы готовы к защите отечества! А он?! Кто дал ему право клеймить нас всех? Что за самонадеянность! — кричали отовсюду.

В небольшом зале, где фракция заседала не первый уже день, царило сильнейшее возбуждение.

— Не желает быть с нами, пускай убирается! — выкрикнул один из тех, кто уже облачился в военную форму.

Шейдеман постарался ввести разгоревшийся спор в русло пристойности:

— Мы не в силах заставить его принять платформу, на которой объединились все. Зато фракция может потребовать, чтобы уважалась воля большинства. Вряд ли у товарища Либкнехта хватит смелости пойти против всех.

— Вы предаете социализм, перечеркиваете наши интернациональные обязательства! Это прямая измена рабочему делу!

С выражением терпения и выдержки Шейдеман произнес:

— Итак, товарищи, будем голосовать?

Он знал, на чем можно сыграть. В семье Либкнехтов понятие дисциплины почиталось незыблемым. Отец Карла, Вильгельм, один из создателей партии, в самые тяжкие годы, когда Бисмарк загнал социал-демократов в подполье, не раз повторял, что воля партийного большинства священна и ей обязан следовать каждый.

...Объявили перерыв. Либкнехт, вконец расстроенный, весь еще в пылу яростных споров, вышел к Коллонтай.

На улице он первое время молчал. Рядом шла единомышленница, интернационалистка, ее взгляды были ему давно известны.

— Я должен вам сделать одно признание,— не выдержал Либкнехт.

— Признание, Карл? Какое?

— Я принужден буду голосовать *за* военные кредиты...

— Вы?! — Это прозвучало так неожиданно, что она даже остановилась.— Вы, такой последовательный во всем?!

— Я боролся, как мог... но все, кто был со мной, отступили один за другим.

— Карл, но ведь это противно вашим взглядам!

Ответный жест означал ожесточенность и бессилие.

Улицы были переполнены толпами. Демонстрации с флагами шли и шли, победно гремели оркестры. На углу Вильгельмштрассе толпа обступила столики, стоявшие прямо на улице,— гимназисты, чиновники, даже пожилые люди. Шла запись добровольцев.

Либкнехт прищурился, снял пенсне. Болезненная напряженность взгляда стала еще заметнее.

— Народ, сплотившийся вокруг трона,— инсценировка, достойная великого режиссера Макса Рейнгарта... Еще на прошлой неделе по этим же улицам шагали антивоенные демонстрации. В общем, игра проведена ловко: сами подвозили бочки с горючим, а когда пожар разгорелся, стали вопить, что поджог сделан другими.

Если бы не его признание!.. Оно стояло сейчас между ними.

Немного погодя, чувствуя это, он заключил сам:

— Вот так, Александра Михальовна: сегодня мы разваливаем Второй Интернационал.— И надел пенсне, словно бы заслоняясь от враждебного мира.— Партия помешалась, целая партия...

— Коллектив может сбиться с пути, но помешанным не бывает,— возразила Коллонтай.

— А это?! — жест в сторону демонстрации.— Разве не коллективное помешательство? Не психоз одураченных масс?

Трубили горнисты, подростки в военной форме выбивали на маленьких барабанах частую дробь. Но не шум, не мерное цоканье лошадей угнетали, а решимость, выгравированная на лицах.

Будто освобождаясь от наваждения, Либкнехт сказал:

— Но последнее слово не сказано, нет! Посмотрим, кто его произнесет... Идемте скорее. Я обязан еще присутствовать на комедии единства, которую разыграют сегодня по сценарию канцлера.

Подошли к массивному серому зданию оберкомандо.

Дежурный, к которому они обратились, предложил подождать, но сесть не предложил. Либкнехт принес стул для Коллонтай сам, затем зашагал по большой приемной, кривя губы.

Подошел адъютант и строго произнес:

— Здесь расхаживать не положено.

— А депутату рейхстага ожидать в качестве просителя?!

— Последнее вряд ли существенно... Вы будете приняты в свое время, потрудитесь подождать.

— Мы только тем и занимаемся, что ждем!

Он зашагал с прежним упорством, но несколько тише. Военные с враждебным недоумением оглядывались на обоих посетителей. Словно безупречно работающий механизм мог пострадать от этих попавших в него песчинок.

Наконец они были приглашены к дежурному генералу. Он сидел за огромным столом, прямой как столб; вынул из глаза монокль, прищурился и уставился на вошедших.

— Я, депутат рейхстага Либкнехт, сопровождаю рус-

скую даму, ставшую жертвой несчастного стечения обстоятельств — она застряла в Берлине, ее лишили возможности выехать.

— В таком положении многие,— бесстрастно ответил генерал.

— Но ее сын непризывного возраста арестован и уведен сегодня неизвестно куда.

— Не он один. Арестованы все, кто показался полиции подозрительным.

— Я все же прошу, чтобы госпоже Коллонтай были предъявлены доказательства виновности ее сына.

— Повторяю: раз арестован, значит, показался органам власти подозрительным.

— Юноша, ни в чем не замешанный, ни к чему не причастный?!

— Если сын госпожи Коллонтай, как вы утверждаете, невиновен, его рано или поздно освободят. Или, если будет сочтено полезным, изолируют в числе других. Рано или поздно.

— Простите,— возразил Либкнехт.— Тут очень существенная разница — произойдет это рано или поздно?

— Таким педантизмом мы себя не обременяем, господин Либкнехт. Германия воюет, и у нее есть дела поважнее!

Он поднялся, отлично вытесанный, идеально прямой, дожидаясь, пока посетители покинут его кабинет.

На улице Либкнехт раздраженно откашлялся.

— Вот воплощение системы, на службу которой идут наши соци! — Затем с жаром добавил: — Только не считайте, что визитом сюда исчерпаны наши хлопоты. Я ведь тоже упорный и с подобными господами имею дело давно... Они лишены чести и совести, притязания у них огромные и вертеть страной будут, пока их не разобьют вдребезги.

— Вы верите в это, Карл?

— Их победа означала бы торжество пруссачества, мракобесия,— это было бы просто ужасно!

Напоследок он сказал:

— Но немцы не все такие тупицы, и кодекса дружбы и братства мы не забыли. Приходите к нам — пожалуйста, непременно: мы с Соней будем вас ждать.

Либкнехт приподнял шляпу и с подчеркнутой твердостью пошел обратно к рейхстагу, где его ждало самое тяжкое испытание дня.

V

Все готовилось в превеликой тайне. Задача стояла нелегкая: застигнуть врасплох противника, а немецкий народ убедить в том, что войны Германия не желала и она ей навязана.

От канцлера Бетман-Гольвега потребовалось много ловкости и искусства, чтобы завлечь в русло имперской политики всех, включая социал-демократических вожаков.

В конце июля в Берлине вспыхнули демонстрации. Одна за другой следовали колонны рабочих, выкрикивая лозунги против правительства. Двадцать пятого июля Форштанд, главный штаб социал-демократов, осудил ультиматум, предъявленный Сербии Веной. Политику Австро-Венгрии он назвал легкомысленной и провокационной, а сам ультиматум беспрецедентным. Но дальше этих деклараций руководство социал-демократии не пошло.

В дни июльских уличных демонстраций Вильгельм II, любивший делать заметки на полях донесений, написал:

«Если это повторится, я объявлю осадное положение и прикажу арестовать всех без исключения вожаков... Мы не можем в настоящий момент больше терпеть никакой социалистической пропаганды!»

Прошло всего несколько дней. Умело приготовленное блюдо военного шовинизма поспело, запах его приятно

ударил в нос. В день объявления войны Вильгельм с балкона дворца мог наблюдать ликующие толпы людей, готовых сражаться за него. Он произнес пылкую речь и заявил, что для него нет больше партий, а есть немцы, готовые пожертвовать всем для спасения страны. С балкона выступал отец своих подданных, заботливый попечитель, отправляющий сыновей на фронт. Кому пришли бы на память его давние выступления!

Когда-то, в дни рабочих волнений в Аутсбурге, Вильгельм II заявил: «Пока солдаты не выведут из рейхстага социал-демократических вождей и не расстреляют их, надеяться на улучшение положения нельзя. Нам нужен закон, по которому можно было бы каждого социал-демократа сослать на Каролинские острова».

Предшественник Бетман-Гольвега, канцлер Бюлов, не раз бывал свидетелем вспышек кайзера или слышал о них от других.

«Все люди свиньи,— заметил однажды Вильгельм.— Сдерживать их и управлять ими можно только четкими приказами». Своих главных противников он видел в социал-демократах и рассматривал их как банду неистовых заговорщиков и поджигателей.

В начале века, когда в Китае был убит германский посланник, Вильгельм, отправляя войска для карательной операции, выступил с такой речью:

«Пощады не давать, в плен не брать! Как тысячу лет назад при короле Этцеле гунны оставили память о своей мощи... точно так и теперь имя немцев в Китае должно запомниться на тысячу лет, чтобы китайцы не смели никогда даже косо взглянуть на немца».

Бюлов, тогдашний статс-секретарь иностранных дел, обязал журналистов без его визы не публиковать речь кайзера. Но один из них ухитрился застенографировать ее всю. В тот же вечер она появилась в газете ближнего городка Вильгельмсгафена.

Вильгельм благодушно курил сигару, когда появившийся Бюлов положил перед ним газету.

— А-а, превосходно! Вот так и должны действовать настоящие журналисты!

— Ваше величество, ведь в вашей душе живут чувства, присущие лучшим людям христианской цивилизации,— тихо и твердо заметил Бюлов.

— Ну да! И что же?

— Подумайте о впечатлении, какое ваша речь произведет в мире.

— Любой противник вынужден будет впредь считаться с нашей мощью и нашей решимостью.

— Вы говорили, ваше величество, о беспощадности, о политике огня и меча... Это может сильно нам повредить.

«Если миллионы людей на всех языках называли гуннами добрый и благородный немецкий народ,— писал много лет спустя Бюлов,— ...то это было последствием злосчастной речи, которую Вильгельм II произнес в Бременгафене».

С той поры прошло четырнадцать лет. Сейчас кайзер имел право радоваться единодушию нации. Убежденный в победе Германии, он развязал мировую войну. Впрочем, в ее подготовке участвовали обе стороны в равной мере.

Но август четырнадцатого года открывал, казалось, перед немцами широчайшие перспективы. В это верили не только те, кто стоял у власти: веру сумели внушить и народу. Предстояло лишь внести в фонд победы миллионы жизней.

VI

Стремление к захватам новых земель Германия показала с первых лет нового века. Она создавала флот, лишавший покоя Англию, а ее промышленность досаждала всем конкурентам.

Союзница Австро-Венгрия, разноземельная и разнонациональная, тоже старалась прихватить то, что плохо лежит. В 1908 году она отняла у Турции Боснию и Герцеговину. Когда Сербия попробовала заявить на них свои претензии, от нее в самой унизительной форме потребовали отказа от каких-либо притязаний.

Россия, у которой были традиционные интересы на Балканах, взяла, конечно, сторону Сербии. Война всех против всех готова была вспыхнуть вот-вот. Но и тогда и позже, в 1912 году, когда война чуть было не разразилась, стороны были еще не готовы. Огонек, однако, бежал по шнуру, приближаясь к пороховой бочке.

Прошло два года. Планы, вынашиваемые сторонами, дозрели, позиции противников обозначились почти целиком. Убийство в Сараеве австрийского наследника Фердинанда привело все в движение. Час войны пробил.

...Вильгельм II расхаживал по кабинету: твердый шаг, крутые повороты, военная четкость. Совершая марш в своей комнате, он размышлял. Крутя жесткий ус, разглядывая себя мимоходом в зеркале, он перебирал варианты политических блоков. Миролюбие, внезапность, вероломство или жест благородства — все подходило Вильгельму. Его упрекали в горячности и нелогичности, но он твердо верил в свою звезду. Ему было уже пятьдесят пять, а горячность не остыла и вера в фортуну нисколько не потускнела.

Много лет назад его мать, путешествуя по Италии вскоре после кончины мужа, почла долгом вежливости нанести визит теще князя Бюлова, итальянке. С террасы прекрасной виллы открывался вид на залив. Однако державная гостья казалась печальной.

— Ваше величество,— заметила деликатно хозяйка,— мне понятна ваша скорбь. Но это зрелище, это небо и море Италии...

— Я думаю не о потере, постигшей меня,— созналась императрица.— Я думаю о будущем.

— Тогда почему же вы грустите, ваше величество?

— Призна́юсь вам: я полна опасений, что мой сын, вступивший на престол, погубит Германию.

— Что вы, как можно?! Ведь ваша страна переживает такой расцвет!

— Быть может, и так,— согласилась императрица.— Но если бы вы знали его! Он нуждается в очень сильных помощниках, но, чтобы обеспечить себе свободу действий, способен отвергнуть и их.

Действительно, придя к власти молодым, Вильгельм II в наследие от своего деда Вильгельма I и отца Фридриха III, царствовавшего всего девяносто девять дней, получил канцлера Бисмарка. Человек твердой и жесткой воли, канцлер создавал камень за камнем здание Германской империи. Необузданность нового монарха он встретил с иронией многоопытного политика. Вскоре ему пришлось убедиться, что молодой император тяготится его советами.

Вильгельм уволил в отставку Бисмарка грубо и совсем неожиданно. Уходя со сцены, тот завещал два незыблемых принципа: сохранять, по возможности, добрые отношения с Россией и ни при каких обстоятельствах не затевать войны на два фронта.

Канцлером был назначен сначала Каприви, затем князь Гогенлоэ. Оба порядком страдали от причуд Вильгельма. После Гогенлоэ к власти был призван Бюлов. Долгое время кайзер выказывал ему знаки доверия и дружбы. Но и он, при всем искусстве политика, поскользнулся однажды и принужден был уйти.

Пришла очередь Бетман-Гольвега. Этого осторожного, педантичного, неспособного к риску и в общем нерешительного человека Вильгельм выбрал, предполагая, что новый канцлер будет во всем ему послушен.

Но вскоре выяснилось, что Бетман слишком, на вкус Вильгельма, цивилен и, кроме того, очень упрям. Придя к власти, он вбил себе в голову сблизить Германию с Англией.

Игра стоила свеч: Англия беспокоила Вильгельма больше всего. Да и менять канцлера в то время, как Европу лихорадило, было рискованно.

Что Европа накануне важных событий, понимали во всех столицах. Был ли выстрел в Сараеве актом мести сербского националиста или умелой провокацией французов, русских или англичан, роли больше не играло. Все, скрытое до сих пор, проступило наружу.

Престарелый Франц-Иосиф, австрийский монарх, требовал отмщения и готов был расправиться с Сербией раз и навсегда. Но тогда Россия неминуемо выступила бы на ее стороне.

Допуская, что Сербия, как и шесть лет назад, подчинится унизительным требованиям и конфликт будет притушен, Австро-Венгрия колебалась: принять ли предполагаемую покорность провинившейся страны? Германия, ее союзница, настаивала на неумолимости.

Из Берлина полетели депеши: посла Чиршкого инструктировали, как держаться, на кого в Вене нажимать и чего требовать. Австро-Венгрия, спесивая, но бестолковая, склонна была, кажется, отступить, Берлин же вел дело к войне.

На чью сторону станут Румыния и Италия, зависело, по мнению Вильгельма, только от австрийцев. Если они пообещают часть территории, которую захватят в результате победы, румынам, те, несомненно, примкнут к союзу. Италии же следовало пообещать Марокко или Тунис. Однако аппетиты у Австрии были велики, и она, еще не вступив в войну, предпочитала ни с кем не делиться.

Между Берлином и Веной начались лихорадочные тайные переговоры. Наконец австрийцев удалось уломать,

и они предъявили сербам ультиматум, составленный так, что принять его было, казалось, невозможно.

Вильгельм, получив донесение своего посла, остался доволен и написал на полях: «Браво! Признаться, от венцев подобного уже не ожидали!»

Узнав из того же донесения, что сербский совет министров заседает под председательством наследника, он сделал язвительную приписку: «По-видимому, его величество изволили удрать!»

Далее последовала тирада: «Надменные славяне!.. Каким дутым оказывается это так называемое сербское великодержавие. Так обстоит дело со всеми славянскими государствами. *Только сильнее наступать на мозоли всей этой сволочи!»*

День и час ультиматума были рассчитаны тщательно: премьер Франции находился в пути из Петербурга домой. Вряд ли Франция и Россия успеют подать Сербии свои советы. Впрочем, их участие в войне не вызывало у немцев сомнений, поэтому важно было удержать от вмешательства Англию.

Так две группировки, давно готовившиеся к войне за передел мира, стали одна против другой. В сараевском узелке сплелись неразрешимые и давние империалистические противоречия.

Канцлер Бетман-Гольвег пустил в ход все способы маскировки: для Лондона Берлин должен был выглядеть пацифистским. Через своих послов он известил всех, что к австрийскому ультиматуму Германия непричастна: она рада была бы посредничать и призывает англичан к тому же.

Но перехитрить англичан никак не удалось. Они утверждали, что простого намека Берлина, простого совета Вене быть умеренной достаточно, чтобы пожар вовремя потушить.

Мог ли Вильгельм принять подобную точку зрения,

если с первых же дней решил воевать? Если бы он знал к тому же, что и в Лондоне давно уже порешили вести дело к войне! Вопрос был лишь в том, кто кого переиграет.

Готовый к схватке с русскими и французами, Вильгельм требовал от своего канцлера, чтобы тот добился любой ценой английского нейтралитета. Видя, что горячность кайзера лишь мешает делу, Бетман-Гольвег стал советовать, чтобы тот покинул на время Берлин: пусть его величество отправится в поездку вдоль берегов Скандинавии, это внесет немного спокойствия в умы европейцев. А дипломаты тем временем доведут дело до конца.

Вильгельм в конце концов уступил. Европе была дана возможность надеяться, что, раз кайзер отправился путешествовать, взрыва в ближайшее время не будет.

Между тем и противная сторона продолжала свою игру. Вскоре Бетман окончательно понял, что карты его перекрыты: воевать против немцев будет не только Россия, но и Англия. Теперь оставалось одно: добиться, чтобы Россия объявила войну первой, тогда в глазах немцев Германия окажется страной, которая защищается.

Тридцатого июля берлинская газета «Локальанцайгер» вышла с сенсационным сообщением, что в стране проводится мобилизация. Это грозило скандалом. Первый ход должна была непременно сделать Россия. Газету заставили дать в тот же день опровержение.

В отличие от Вильгельма, Николай II был фаталист и не верил в свою звезду. До последней минуты он колебался. Но военная клика, господствовавшая при дворе, сумела поставить его перед свершившимся фактом — она начала мобилизацию, и остановить события было уже невозможно. Первого августа началась мировая война. Царю оставалось лишь молить бога, чтобы она не привела его к катастрофе.

Теперь Германия могла без конца кричать, что войну

начала Россия. Выходило, что немцы защищаются, спасают страну от варваров и тем самым защищают Европу.

Наживка была насажена крупная. Социал-демократы, еще недавно обвинявшие правительство в империализме, клюнули на нее. Роль спасителей родины пришлась им по вкусу, и они примкнули к коалиции буржуазных партий.

Но с англичанами все же сорвалось: Бетман-Гольвег не сумел их обезвредить. Английский министр сэр Эдуард Грей провел игру гораздо ловчее. «Мерзкий сукин сын!» — яростно бросил в его адрес Вильгельм.

«Англия открывает свои карты в тот момент,— написал кайзер на полях очередных донесений,— когда ей кажется, что мы загнаны в тупик и находимся в безвыходном положении! Гнусная торгашеская сволочь пыталась обмануть нас банкетами и речами.— И следовал вывод: — Англия *одна* несет ответственность за войну и мир, а уж никак не мы!»

Немцам стали вдалбливать, что коварный империализм, противостоящий Германии, раздул трагическое происшествие в Сараеве до размеров мировой войны. Перед их страной стоит задача самозащиты, спасения. И немцы в это поверили.

История редко кому вблизи открывается в тех своих очертаниях, какие видны следующим поколениям.

Лишь очень немногие, дальновидные, не поддались обману и, разглядев истинные мотивы всемирной свалки, противопоставили себя ее вдохновителям.

Жертвы они понесли очень тяжелые. Зато, пожертвовав собой, сумели отстоять честь своего народа.

VII

С того дня, как Англия раскрыла свои карты, Вильгельм не сдерживал больше гнева и не отказывал себе в удовольствии поддеть канцлера Бетман-Гольвега.

— Английские торгаши должны были ощутить твердый кулак перед носом, а мы размахивали оливковой ветвью! Я следовал вашим советам, господин Гольвег, склонялся на ваши просьбы, и вот результат...

— Но, ваше величество, надо же было испробовать все прежде, чем мы пришли к таким выводам.

— О да, я знаю: вы мастер проб!

Худощавый, прямой, канцлер выпрямился еще больше и выжидающе посмотрел на Вильгельма.

— И вы почему-то любите поучать своего императора, вместо того чтобы следовать его указаниям. Правительство не опытная лаборатория, где производят разные измерения и пробы.

— Позволю себе заметить: в иных случаях анализ необходим.

— А англичане тем временем обвели нас вокруг пальца!

— Ваше величество, наша морская мощь достигла размеров, примириться с которыми Англия никак не могла.

— Как же вы собирались поладить с нею — утопить мой флот в луже?!

— Я склонял их на любые приманки, лишь бы исключить их участие в войне.

— Но достигли обратного, согласитесь.

— Зато совесть наша чиста, ваше величество.

Император недовольно крякнул: о чем только думает его канцлер!

— А на внутреннем фронте как обстоят дела? Удалось вам хотя бы с этими соци договориться?

Пока канцлер докладывал, Вильгельму припомнился разговор, который он года два назад вел с одним господином, занимавшим высокое положение. Речь зашла о Бетман-Гольвеге, и тот господин заявил, что учился в одной с ним гимназии.

— И он там был, надо полагать, на хорошем счету?

— О, ваше величество, даже на слишком хорошем. Ему нравилось всех поучать. Мы прозвали его, помнится...

— Да? — с любопытством спросил Вильгельм и добавил: — Это останется между нами.

— Гувернанткой, ваше величество.

— Ха-ха-ха... А к нему подходит!

— Но это было давно, с тех пор утекло много воды.

— Иные черты вымываются водами времени,— заметил Вильгельм назидательно,— а другие не поддаются.

Итак, канцлер докладывал, а кайзер слушал. Следовало признать, что на внутреннем фронте успехи есть: башибузуки соци, так досаждавшие правительству, пока велась работа величайшей секретности, объявили себя чуть ли не защитниками трона.

— Кстати, а «Hoch» своему кайзеру они готовы провозгласить?

Канцлер доложил, на какой формуле все сошлись.

— Что же, я удовлетворен, господин Бетман. В том, что народ предан мне, сомнений быть не могло. Вы видели эти толпы? Слышали возгласы? Сегодня мы пожинаем то, что, в противовес политике князя Бисмарка, проводил я.

— Да, ваше величество, отчасти.

— Ах, только отчасти?! — Опершись ладонями, кайзер приподнялся над столом.— Если бы не глупая конституция, ограничившая мою власть, положение было бы еще более прочным. Но и сегодня народ сплочен вокруг трона. Мы этим бриттам покажем еще, чего будет стоить им вероломство... Да, а что наши войска вошли в Бельгию, ка́к вы преподнесете рейхстагу?

— Не думаю, ваше величество,— лицо его выразило озабоченность,— чтобы следовало выделять такой щекотливый вопрос особо.

— Но, нарушив нейтралитет, мы получили огромное

преимущество: армии будут беспрепятственно продвигаться на запад.

— Французы возместят это наступлением русских с востока.

— О-о, даже японцы побили царя. И что же, спустя девять лет он покажет нам чудеса стратегии?

Канцлер промолчал. В военных вопросах он не считал себя специалистом и старался высказываться поменьше.

Скрестив на груди руки, Вильгельм доверительно произнес:

— У меня есть кое-что для русских, сюрприз: военные предложили мне план, который я целиком одобрил.

— Да, ваше величество?

— Я заманю их поглубже, да, заманю. А потом съем, как Волк съел Красную Шапочку... К вашей декларации это отношения, впрочем, не имеет. Надеюсь, ясно?

— О да! — сказал канцлер.

Вильгельм, любивший эффектные заключения, произнес:

— Часы истории включены. Нам остается слушать, как отсчитывает время маятник. Благодарю вас за доклад.

VIII

Ряды кресел в рейхстаге распределялись по секторам. Каждая партия, от правой до социал-демократической, занимала свой сектор.

В тот день, четвертого августа, ряды заполнились быстро. Все выглядело приподнято и торжественно. В час, когда на фронтах уже лилась кровь, депутаты пришли сюда продемонстрировать преданность и единство.

Социал-демократы появились в зале несколько позже других: в комнате фракции происходили последние спеш-

ные согласования. Шейдеман, Эберт, Давид, Гаазе медленно продвигались к своим местам. В проходе столкнулись с депутатами свободно-консервативной партии, и Шейдеман подчеркнуто вежливо обменялся рукопожатием с господином фон Гампом.

К обычной корректности добавился оттенок сердечности. Шейдеман с его каштановой щеголеватой бородкой, холеным лицом и спокойствием как нельзя лучше подходил к сегодняшней обстановке.

Заняв место в первом ряду, он оглянулся назад и среди тех, кто усаживался, заметил Либкнехта. Все показалось в нем неприятным — и эта вздернутая голова, и пристальный острый взгляд через пенсне, и нервозность; строптивый, неуживчивый, неспособный понять значение компромисса, маневра!

Он, Шейдеман, предпочитал искать там, где можно, промежуточные решения и бескомпромиссность относил скорее к чертам дурного характера, чем к убеждениям. Но когда за принципиальность выдают свой скверный характер, тут уже ничего не поделаешь — с такими людьми, хочешь не хочешь, надо сражаться.

Никто другой во фракции не был так несговорчив — ни Гаазе, ни Каутский. Скорее казуист, чем убежденный противник, Каутский если и спорил, то больше по вопросам теории, а не повседневной политики. Между тем Шейдеман был силен именно в практической области: каждодневность, хитроумные зигзаги тактики — вот чему он себя посвятил.

Чутье тактика подсказало ему и шаг, предпринятый в первые дни войны социалистами. Хорошо бы они выглядели теперь, если бы противопоставили себя остальным фракциям! Миллионы немцев заявили себя патриотами, классовая рознь стихийно отошла на десятое место, и вот тут социалистические вожаки вместо спасения родины стали бы толковать о борьбе с магнатами! Да их

смели бы с пути те самые массы, интересы которых они призваны защищать!

К счастью, социалисты проявили не только благоразумие, но и мудрость. Вряд ли коллеги по фракции сознают, сколь важный шаг предприняло руководство и какие последствия он повлечет.

Так говорил себе Шейдеман, ожидая начала. Зал заполнился до отказа. На хорах, на местах для прессы было битком набито.

Когда появились кайзер и члены его кабинета, весь зал поднялся. Демонстрация единства возникла стихийно, и социалистам не обязательно было слишком усердствовать. Поднялись они вместе со всеми, а выкрикивать приветствия кайзеру или нет, зависело от темперамента каждого.

Но то ли Шейдеману показалось, то ли так было на самом деле: Либкнехт остался на месте или приподнялся чуть-чуть, с выражением крайней небрежности.

В этом маленьком, но выразительном обстоятельстве так и не удалось разобраться до конца. Неприятностей с ним еще будет достаточно — мысль эта кольнула Шейдемана. Карл обладает чертами фанатика. То, что в натуре отца уравновешивалось врожденным тактом, мягкостью, если хотите, тут вырывается, подобно языкам пламени.

Занятый своими мыслями, он как-то упустил момент, когда заседание началось и слово было предоставлено канцлеру.

Бетман-Гольвег, бледный, с явными следами переутомления, подошел к ораторскому месту не спеша, положил на пюпитр доклад и несколько раз провел рукой по бородке.

Общаясь с ним в эти первые дни, Шейдеман имел возможность присмотреться к канцлеру ближе. Предшественник Бетмана был злом для Германии, этот же если

и зло, то гораздо меньшее: он умеет слушать противную сторону, ищет формулировки, которые та могла бы принять, готов идти на сближение с нею. Шейдеман настроился выслушать декларацию внимательно, хотя почти все было в ней заранее согласовано. Сегодняшнее заседание носило характер скорее демонстративный.

На плечо его легла тяжелая рука депутата Носке, он узнал по прикосновению: было в нем что-то требовательное и могильно-холодное.

— Как думаешь, не подведет он нас?

— Кто? — с недоумением спросил Шейдеман.

— Ты хорошо знаешь, кого я имею в виду.

Признать, что оба имеют в виду одну и ту же личность, не хотелось: коллегу Носке он мысленно ставил значительно ниже себя.

— У нас в партии есть прямо пакостные элементы, с ними надо держать ухо востро. Не такое время теперь, чтобы расшаркиваться перед ними.

Разговор, неслышный другим, все же стеснял Шейдемана. А Носке, придвинув к нему лицо, шептал в самое ухо:

— Как он держался на фракции, просто скандал! Надо было расправиться с ним в самом начале.

— Вот когда партия поручит тебе, ты и расправишься.

— Не пугай меня, я не из тех, кто бежит в кусты. Я бы живо с ним сладил.

В любом коллективе много разных, совершенно несхожих людей. Но Либкнехт и Носке... Что получилось бы, если бы Либкнехт или, наоборот, Носке получил в партии полноту власти? Носке с его прямолинейностью и Либкнехт с его фанатизмом. История хорошо рассудила, что после смерти Августа Бебеля в прошлом году поставила во главе партии людей умеренных и спокойных.

Либкнехту, сидевшему сзади, через два ряда от них, были видны спины Шейдемана и Носке — круглая и благообразная у одного и костлявая, длинная у другого. По тому, какой взгляд метнул в него Носке, можно было догадаться, что разговор скорее всего о нем. Либкнехта переполняло негодование. Эти господа принудили его пойти против собственных убеждений! Понятия азбучные для революционера они сумели облечь в одежду мерзкого псевдопатриотизма! Уверенное ощущение своей власти, дух самодовольного упоения собой — все было ненавистно в них. Не первый год он с ними сражался, но сегодня они сумели вывести его из игры, связать по рукам и ногам. Партийная дисциплина, заветы вождей старшего поколения — все выдвинуто против него, и он безмолвен. Вместо того чтобы взорвать это напыщенное собрание предателей и врагов человечества, он принужден молчать...

Ему было неудобно в кресле, он то и дело менял положение, доставал папиросу, мял в пальцах и опять клал в карман. Казалось, он совсем не следит за оратором.

...Шейдеман тоже упустил что-то в выступлении канцлера. Повернув голову к Эберту, сидевшему справа, он справился:

— Повтори, пожалуйста, Фридрих: что он сказал?

— Надо слушать самому...

В плотном и как будто спрессованном теле Эберта, в прищуренных узких глазах мелькнуло недовольство. Он не любил, чтобы его отвлекали.

Но инстинкт политика, всегда улавливающего кульминацию, сказался в Шейдемане: он вовремя вернул себе внимание.

Канцлер произнес несколько расплывчатых фраз — что-то о спокойствии маленькой страны, которое пришлось нарушить во имя высших интересов самообороны.

В зале повисла напряженная тишина, но с нею словно бы опоздали; что-то проскользнуло в его словах, тревожное и не совсем понятное.

Нет, как же так получилось? Только что Бетман говорил о доблести армии, преданной кайзеру. И вдруг слова о стране, народ которой может быть спокоен: Германия всегда относилась со вниманием к малым странам и в свое время вернет ей все прерогативы власти.

Если бы не торжественная обстановка, можно было бы потребовать с места, чтобы канцлер уточнил, что следует понимать под этим. Но, обойдя бугорок, декларация его потекла дальше плавно и гладко.

После особенной тишины, овладевшей залом, послышалось что-то вроде общего вздоха. Справа всплеснулись аплодисменты, но всеобщее «тсс» погасило их, как будто засыпало пеплом. Правые, надо думать, поняли сами, что подчеркивать это место вовсе не в их интересах.

Шейдеман приложил руку ко лбу, пытаясь осмыслить услышанное. Но что же произошло? Канцлер скрыл от социалистов событие первейшей важности? Или весть о Бельгии пришла слишком поздно, у канцлера не осталось времени сообщить о ней социалистам? Легче было думать именно так.

Какое-то странное, даже тревожное «ш-ш-ш» донеслось до слуха Шейдемана. Звук родился позади, совсем близко. Обернувшись, он не заметил, впрочем, ничего тревожного. Только Носке, тронув его за плечо, прошептал зловеще:

— Видишь, что́ я тебе говорил!

Позже, уже когда начали расходиться, Шейдеману рассказали, будто при упоминании о стране, чье спокойствие пришлось на время нарушить, Либкнехт сорвался с места. Движение было, вероятно, непроизвольное — протеста, недоумения... Но соседи успели водворить Либкнехта на место: только он выбросил вверх руку, соби-

раясь что-то крикнуть, как его уняли. Он не произнес ни звука, и это было самое важное.

Все остальное, включая демонстрацию в честь кайзера, прошло стороной, мало задев внимание Шейдемана,— оно было лишь честным выполнением принятых обязательств. Даже декларация, которую Гаазе произнес по поручению фракции,— о месте социалистов в обороне страны,— даже она и ответные аплодисменты рейхстага не произвели на Шейдемана сильного впечатления. Даже единогласное утверждение военных кредитов — венец заседания. Он сознавал себя режиссером, который остается в тени. Впереди были постановки гораздо более серьезные.

Он выходил из зала, окруженный своими. Мелькнула фигура Либкнехта — бледное лицо, очень темные волосы. Опять недоброе чувство шевельнулось в душе Шейдемана.

Рядом шел Гаазе. Надо было что-то сказать ему.

— Свою миссию вы провели тактично и с достоинством.

Гаазе лишь усмехнулся в бороду. Самодовольство? Неловкость? — что он испытывал? Он, с пеной у рта возражавший против кредитов, сегодня декларировал то, против чего восставал вчера.

— Когда берешь на себя поручение, то согласен ты с ним или нет, а стараешься выполнить его на должном уровне... А про нейтралитет что скажете? Хороша торпеда, а?

— В этом я еще не разобрался,— хмуро сказал Шейдеман.— У командования, надо думать, других путей не было. Оборонительная война вовсе не означает бездействия или ожидания ударов противника.

Гаазе повернул к нему острое умное лицо:

— Вас можно поздравить: с вашей блестящей логикой вы сумеете еще очень многое оправдать.

Шейдеман лишь пожал плечами. «Осел! — подумал он

с раздражением.— Сидеть в луже и не понимать, где находишься! Сегодня, зачитав декларацию, он уселся в нее достаточно глубоко!»

IX

Два человека выбрались из людского потока и пошли по пустынной улице. Висела полная луна. От деревьев ложились короткие черные тени, густо наведенные на тротуар. Вечер был полон такого сияния, такой сосредоточенной тишины, что поверить в происходящее было почти невозможно.

Либкнехт, переживший сегодня невероятное потрясение, был благодарен спутнице за то, что она не донимает его расспросами. Коллонтай молчала, хотя в сердце ее было смятение.

Он первый прервал молчание:

— Вы, конечно, тоже устали?

— Чувствую себя совершенно разбитой. Из головы не выходят аресты.

— Инстинкты толпы разбужены, вид арестованных, которых ведут по улицам, утоляет самые темные страсти. Игра мерзкая, ничего не скажешь.

— Знаете, Карл: девочкой я таскала со стола у отца книжки с грифом «Совершенно секретно». Он ведь был у меня генерал. В одной такой книжке было описано все то, что теперь происходит в Берлине: как повсюду искать измену, как распространять слухи в толпе, пугать шпионами, провокацией, как натравливать на тех, кто чем-либо выделяется...

— В методах шантажа мало что изменилось,— согласился он.— Допускаю, что в Петербурге творится теперь то же, что и у нас.

— Разговоры с «душком» мне пришлось слышать даже здесь, в русской колонии. Людей, сохранивших

ясную голову и партийный взгляд, оказалось совсем немного.

Либкнехт отозвался не сразу. Проходя под липой, он бережно ступил в ее тень, словно не хотел ее тревожить.

— Придется начинать все сначала. Честь крушения Второго Интернационала останется все же, думаю, за немцами.

— Боюсь, что ее разделят с вами другие.

Несколько раз проходили мимо военные патрули. Предумышленный каменный шаг будил тревогу. Либкнехт осторожно коснулся на спутницу. То, что она держится так спокойно, было одним из маленьких облегчающих обстоятельств дня, полного бурных событий.

— Так придете к нам? — спросил он.

— Непременно.

— Соня в двойной тревоге. Брат ее учился в Льеже; что с ним, неизвестно. Да и мое положение не внушает особых надежд.

— Вы ждете для себя неприятностей?

Либкнехт лишь повел бровью:

— Ну а как же не ждать!

...И спустя день-два, когда Коллонтай приехала посоветоваться с ним в его адвокатскую контору, она его не застала.

Брат Теодор, несколько более осанистый, но не менее живой, с бородкой и изящным профилем, более типичный, что ли, адвокат, попросил ее подождать: Карл должен скоро вернуться.

С обликом Карла представление об адвокате вязалось меньше. Но среди пролетариев, среди всех, кому нужен был юрист подешевле, он пользовался особым расположением. И не только потому, что часто отказывался от вознаграждения вообще. Уж если Либкнехт брал на себя защиту, то вкладывал в нее всю настойчивость и энергию;

не щадил себя и делал все, что в его силах, чтобы добиться оправдательного приговора.

В том, что тяга к нему большая, легко было убедиться еще месяц-другой назад, зайдя в контору братьев на Шоссештрассе, 121: приемная бывала переполнена. Пожилые пролетарии и рабочая молодежь, их жены или подруги, политические эмигранты — кого только тут не было!

Другое дело теперь: контора почти пустовала. До судов ли было в дни всеобщего потрясения!

Усадив русскую даму, о которой он уже знал, Теодор вернулся к своему столу.

— Мне кажется, с вами можно быть откровенным?

— По-моему, да,— спокойно ответила Коллонтай.

— У Карла был обыск в квартире. Соседи позвонили сюда, и он кинулся к себе.— Теодор посмотрел на часы.— Вероятно, эти субъекты уже удалились. Но надо ждать, он просил к нему не звонить.

Справившись немного с собой, Коллонтай заметила:

— Судя по нескольким фразам, которые Карл обронил в последний раз, он был готов к неприятностям.

— Не уверен, сударыня. Слишком уж рано они принялись за расправу. Страна, видите ли, охвачена патриотизмом, показала свое единство, и — обыски... Притом у депутата!

— Вы позволите мне подождать у вас?

— Разумеется. У нас с Карлом если не все, то многое общее.— И, показывая, что о ее делах он знает, спросил: — А в пансионе аресты продолжаются?

— Формально русских выселили. Но мы обязаны каждое утро являться в полицайревир и вымаливать отсрочку еще на день.

— И конечно, комиссар, порядочная скотина, издевается над вами?

— Я бы все, кажется, перенесла,— заметила Коллонтай,— если бы не сын: он совершенно неопытен.

— Сударыня, эту школу проходят все — кто раньше, кто позже. То есть те, у кого в душе потребность бороться.

В разговоре время прошло незаметно, хотя Теодор несколько раз вынимал из кармана часы и тревожно поглядывал на дверь.

Наконец вернулся Карл с усталым лицом и темными кругами под глазами. При виде Коллонтай он неловко усмехнулся:

— Мне назначено, видимо, быть героем многих еще происшествий.

Оба засыпали его вопросами:

— Чем все закончилось? Ушли? Ничего не взяли?

Он усмехнулся снова:

— Найти в квартире левого депутата компрометирующие документы — на это рассчитывать они не могли. Просто это была их визитная карточка, предостережение на будущее.

— И все же решиться на обыск у члена рейхстага...— заметила Коллонтай.— Ведь немцы такие законники.

— Законничество и война, Александра Михальовна,— в его лице мелькнуло что-то покровительственно доброе, словно он поучал неопытную милую девушку,— вещи несовместимые. В Берлине военное положение, так?

— Но вашу неприкосновенность никто же не отменил!

— Мотивировки и оправдание — дело последнее. Им прежде всего надо действовать. Не забывайте: накануне войны я ездил во Францию. Темой моих выступлений была солидарность рабочих всех стран... В досье министерства внутренних дел это есть? Я думаю даже, что яростные мои нападки во фракции против кредитов тоже попали уже в досье... А ты как полагаешь, Тедель?

Теодор, пытливо смотревший на брата, чуть покачнулся на упругих ногах.

— То есть во фракции нашлись добровольные информаторы?

— Ну, утверждать это у меня нет пока оснований.

— Но, милый друг, тут нужна последовательность.

— Вот ее как раз у меня и не осталось,— рассмеялся Либкнехт. И тут же резко, словно с вызовом, пояснил:— *Я*, голосующий *за* кредиты на войну,— последовательно? Да?! Не сумасшествие разве?

— Не будем сейчас об этом,— мягко остановил его брат.— Лучше расскажи, как они орудовали у тебя?

— Да, Карл,— поддержала его Коллонтай.— Любопытен их почерк.

— Русская революционерка могла бы без труда сама нарисовать такую картину... Ну, пришли с грохотом, с криками — пускай все в окру́ге знают, что в Берлине не шутят. Соне приказали стать лицом к стене и держать руки сзади. Когда начали выбрасывать все из ящиков, она не выдержала было. Тогда тип какой-то приставил к ее виску револьвер.

— А дети как вели себя? — спросил Теодор.

— Гельми запротестовал, но дальше слов «Как вы смеете?!» дело не пошло. Еще хорошо, что руки им не скрутили, просто выгнали из кабинета... Ничего не нашли, но предупреждение сделано: мне как бы предписывают держаться лояльно. Но на нелегальное совещание я все же поеду, так? И на другое и третье совещание — тоже? Словом, начинается совсем особая полоса, это надо понять... А пока что, фрау Коллонтай, займемся вашими делами — ведь у вас ко мне дело?

В тот день он ходил хлопотать за нее в несколько мест: выяснил, в какой лагерь отправляют задержанных русских, где находится лагерь и еще много другого.

Прощаясь, Либкнехт взял с нее слово, что в ближайшие дни она к ним придет.

— За вами же, Карл, теперь наблюдают, и вдруг ка-

кая-то русская, человек во всех отношениях сомнительный...

— Мой дом открыт, как и прежде, для всех, тем более для друзей,— ответил он независимо и с подчеркнутой сердечностью попрощался.

X

Соня Либкнехт была полна тревоги за Карла, за брата в Льеже, за родителей. Война раскидала членов семьи в разные стороны. Не только собраться всем, но и получить сведения друг о друге не было теперь никакой возможности. Тем не менее в присутствии друзей Соня выглядела жизнерадостной и спокойной.

Дело было, вероятно, в самой ее натуре, в бьющем через край жизнелюбии. Дело было и в том, с каким тактом она вошла в дом Либкнехтов.

Первой жены, Юлии Парадис, Карл Либкнехт лишился три года назад. На руках у него осталось трое детей. Либкнехты и Парадисы были связаны долгой дружбой. В годы, когда складывается характер и формируются взгляды, именно Юлия стояла рядом с Карлом и была поверенной его мыслей.

Но русскую студентку с живыми темными глазами и прелестной круглой головкой, жадную до искусства, политики, социальных наук, студентку, которая, как и многие девушки из России, приехала в Германию учиться, Либкнехт узнал за несколько лет до того, как семью его постигла беда. Нити общности, тяготения протянулись с той и с другой стороны. Со съезда ли в Штутгарте или из Лейпцига, где после выхода его книги «Милитаризм и антимилитаризм» был затеян шумный процесс против него, с курорта ли, где его поразила красота природы, Либкнехт слал ей то открытку с изображением бурлящего водопада, то письмо с отчетом обо всем, что случи-

лось с ним, то просто весточку о себе: жил там-то, провел судебное дело, которое длилось три дня и закончилось победой защиты, вспоминаю о вас. Всегда вспоминаю с симпатией и нежностью.

Так, ступень за ступенью, в жизнь его входило существо, полное молодого очарования и жизнелюбия, полное веры в то дело, которому посвятил себя Либкнехт.

Общаясь с Соней, Либкнехт не позволял себе ни одного неловкого или неточного слова по отношению к женщине, с которой был связан прочными узами. Но и от Софьи Рысс требовалась крайняя деликатность во всем, что касалось его семьи. Все было ему дорого, и ко всему он был очень чувствителен.

Когда Юлия Парадис умерла, когда спустя год после этого зашла речь о том, чтобы женой его стала Соня, она, давая согласие, поняла, что берет на себя очень серьезные обязательства и перед ним — революционером, страстным борцом, и перед его детьми.

Понятия отцовского долга и отцовской любви слились в душе Либкнехта в одно. Оставшись без матери, дети должны были расти так, чтобы другая женщина, войдя в семью, не задела их внутренних прав и не поколебала веру в людей.

Чутьем преданного человека Соня ощутила это с первых дней. Напряженный, ищущий, с пытливой душой Гельми; мягкий, добродушно смотрящий сквозь очки, но при этом остро наблюдательный Роберт; девочка Вера с глазами, горящими интересом ко всем, соединявшая в себе деятельный дух и добросердечие,— все представляло собой мир большой и сложный.

Мир этот был связан теснейшими узами с внутренней жизнью человека, которого Софья Рысс полюбила. Один лишь неверный шаг, сухая фраза, взгляд исподлобья, брошенный на ребят,— и они замкнутся в себе, а в сердце отца останется болезненный шрам.

Казалось, за годы дружбы и близости Софья Рысс узнала Либкнехта хорошо. Но жизнь, в которую она вступала теперь, была несравненно сложнее. Новые отношения требовали особой чуткости и непогрешимого такта, иначе можно было очень многое повредить.

XI

Коллонтай застала в доме Либкнехтов атмосферу доброй семейной дружбы. Бывая в Берлине прежде, она знала и о смерти Юлии, и о вторичной женитьбе Карла. Год назад Софья Либкнехт, которая была моложе его на тринадцать лет, чувствовала себя, вероятно, не так уверенно и в поисках правильного тона с детьми нередко робела.

Но сейчас все осталось, по-видимому, позади. Нетрудно было убедиться, что она заняла свое место прочно и что дети стали ее союзниками. Можно было даже сказать, что это *ее* дети, хотя она так молода и установила с ними отношения равенства, а не покровительства. При таких отношениях было трудно даже понять, воспринимают ли они ее как мать, или как старшую сестру, или просто как близкого человека, которому полностью доверяют и которому многое поверяют.

Семейная атмосфера Либкнехтов так сильно отличалась от всего, что окружало Коллонтай в эти дни, что сердце ее поневоле сжалось: покинув их дом через часдва, она вновь почувствует подозрительность и враждебность вокруг, опять окажется в гуще нелепых и вздорных слухов.

Даже русские, попавшие в такое же, как и она, тяжкое положение, досаждали ей; Коллонтай чувствовала себя среди них белой вороной. Ей преподносили слухи один другого глупее: русские прорвали на широком фронте австро-германский фронт и ведут победное наступле-

ние; в России объявлены политические свободы и все ждут амнистии. Кому-то очень хотелось обелить царскую власть, сделать из нее чуть не защитницу интересов народа. Это удручало и раздражало.

С такою же быстротой распространялись слухи, будто французы панически отступают: еще одно-два усилия, и перед немцами откроется прямой путь на Париж.

Эпидемия шовинистического легковерия нисколько не задела семью Либкнехтов. Здесь ценилось все то, что имело ценность до первого августа: говорили о литературе, музыке и, пожалуй, больше всего о живописи. Тон задавала Соня.

Эта устойчивость интересов могла поначалу показаться странной. Словно мир не сдвинулся со своих оснований и ворота цивилизации не сорваны с петель.

Позже, вслушавшись, Коллонтай уловила как бы вызов всему и всем, сознательное намерение показать, что прежние ценности неизменны. Какие бы мерзости ни творились вокруг, а сознательный человек не отказывается от того, чем дорожил всегда.

Рисовки тут не было, скорее ответ тому хищному и темному, что надвинулось на человечество.

Уже после первых слов Карла — он справился, есть ли у нее новости, и с таким же вниманием и самоотдачей выслушал ее,— после первых минут общения с ним Коллонтай почувствовала, что он такой же, как и в кулуарах рейхстага или на улице, когда поздно вечером они возвращались с того проклятого заседания.

Карл подчеркивал лишь, что ни одной духовной ценности не уступит. Никаких этих модных фраз — «Ах, какая там литература, когда идет такая война!» — от него услышать нельзя было. В этом звучала особая стойкость. Ничего он не собирался отдавать в чужие руки — от жесточайших идейных схваток и вплоть до творений Шекспира и тончайших красок художников.

В его поведении естественность соединялась с какой-то декларативностью.

Обратившись к Гельми, отец сказал:

— Слушай, мой мальчик, я заглянул в твои тетради. Понимаешь ли, ошибок меньше, чем было, но они есть. Надо быть неумолимым к себе. Условие ведь у нас прежнее — ты обязан стать *человеком.* Условие остается в силе.

— Но война, отец? Все пошло кувырком. В гимназии больше болтают о положении на фронтах, чем о занятиях и уроках.

— А ты пренебреги всей этой болтовней. Не можешь же ты выйти завтра на улицу и во всеуслышание заявить, что война — обман народов и подлость. Ты еще слишком юн, и это дело наше. И мы его сделаем, будь уверен.

— Но как я могу молчать, когда одноклассники мои бредят фронтом, рассказывают друг другу, кто и из какой семьи сбежал тайком на войну!

— Предоставь это им. Для них запах победы и запах крови — одно. Между тобой, моим сыном, и этими буржуазными барчуками целая пропасть.

— Хорошо, ты и, допустим, я, еще кое-кто... Но таких, как они, большинство.

— Пойми же, о мой бог! Ты ученик гимназии, а в гимназии учатся по преимуществу дети тех, кто кричит «Hoch!», машет шляпой, видя колонны солдат, кто жаждет победы... Твой отец не жаждет победы. И миллионы честных людей, пока что обманутых, рано или поздно пробудятся, поверь.

Соня, скрестив на груди руки, переводила взгляд с мужа на Гельми. Она ничего не произнесла и тем не менее принимала участие в разговоре тоже. Быть может, именно потому, что она тут присутствовала, да и Коллонтай сидела у них, возникла надобность в таком, с нажимом, с подчеркнутой страстью, разговоре с сыном.

В какое-то мгновение Соня поняла, что объяснение обходится слишком дорого обоим. Гельми стал бледен, складка, разделявшая подбородок надвое, стала как будто резче и напряжение в глазах тоже. А отец словно вел разговор через голову сына с другими.

— Карл, милый, не требуешь ли ты слишком много от мальчика? — осторожно заметила Соня.— Один против всех?.. Ведь у него и плечи не такие, как у тебя, пока что.

— Ты не права! — возразил запальчиво Гельми.— Мне под силу гораздо больше, чем я брал на себя до сих пор.

Либкнехт словно пришел в себя: отступил от черты, к которой подошел вплотную.

— Соня права, мой мальчик. Мы с тобой в самом деле немного погорячились. Все еще впереди — у меня, да и у тебя. У тебя тем более будет еще время сказать свое слово.

— Дети, дети,— спохватилась Соня,— мы совсем забыли, который час теперь. Вам давно пора спать.

Боб рисовал, поглядывая то и дело на взрослых. Верочка с какой-то легкой сноровкой вязала. И оба были прикованы к спору. Они поднялись неохотно. Еще труднее было остановить Гельми, который был очень взволнован.

Когда Соня увела их, стало еще заметнее, что Либкнехт, старающийся выглядеть уверенным, на самом деле переживает нелегкие дни. На время он как будто забыл о Коллонтай: зашагал по столовой, продолжая мысленно разговор.

— Происходит нечто непостижимое.— Это было произнесено вслух: Соня вернулась, и слова его были адресованы ей и гостье.— Я беседую с уборщицей, прачкой, с человеком, который доставил нам уголь, с трудовыми людьми... То, что они говорят, переворачивает мне душу. Ну хорошо: я воюю с самим собой, по многу раз спрашиваю себя, как это я смог санкционировать грабеж и раз-

бой. Но вот они, эти люди: повторяют все то гнусное, что говорили члены фракции, доказывая свою правоту. Понимаете ли, социал-демократы уловили самые низменные настроения народа и стали их глашатаями!

— Люди внушаемы, прими во внимание,— заметила Соня.

— Но если грубый обман принимают за чистую монету, чего стоит тогда вся прежняя наша работа?! Вы только послушайте, что́ распевают на улице: «Jeder Schuss — ein Russ, jeder Stoss — ein Franzos, jeder Tritt — ein Britt» *. Таковы инстинкты народа, которому внушили, будто он призван побеждать?!

— Где ты это слышал? — спросила Соня.

— На улице, на улице... На улице, в поезде, в трамвае слышишь одно и то же, повторяемое без конца. Выходит, если бы вместо своего гнусного «да» я в тот день произнес гневное «нет», оно прозвучало бы вразрез с тем, что думают немцы? Ужас какой-то!— Он вышел в кабинет за папиросами.

— На нем лица нет,— заметила Соня в его отсутствие.— Внешне держится хорошо, но что-то его точит...

Она не успела договорить: Карл вернулся, прикуривая на ходу.

— Нашего рабочего,— продолжал он,— долгие годы призывали бороться с правительством, а теперь, выходит, оторвав рабочих от мирной жизни и послав воевать, правительство действует в их интересах! Рабочего приглашают уверовать в идиотскую чепуху: русские — варвары, дикари, а он, Иоахим, Фриц, чуть не мировую цивилизацию защищает... Я пока не очень еще разобрался, как ко всей такой чепухе отнеслись рядовые люди с партийной закалкой, но то, что слышишь на улице, просто ужасно...

* — Выстрелишь — и нет русского, толкнешь — и нет француза, шагнешь — и нет британца (*нем.*).

Гуманизм, интернационализм в смертельной опасности. Должна же возникнуть сила, которая противопоставила бы себя чудовищу войны!

В тот вечер он высказывал многое из того, что думала Коллонтай сама. Но она чувствовала за своей спиной незримую опору: только бы вырваться из плена берлинского шовинизма, связаться с товарищами, с Лениным, узнать, как смотрит на события он,— словом, вернуть себе те формы общения, без которых она не умела существовать.

Визит к Либкнехтам, его гневные размышления взволновали ее. Она покидала их дом с чувством боли за Карла. В этом охваченном страстью войны городе мысль не была убита — ни мысль, ни совесть. Но кто сумеет сплотить недовольных и обратит их недовольство в силу, которая противостояла бы темным инстинктам и низменным страстям?!

Ответа у Коллонтай в тот вечер не было. Настороженный молчаливый город, по которому она шла, был полон враждебного недоверия. Он был весь пронизан духом войны.

XII

Либкнехт старался помочь русским, попавшим в беду. Хлопоты были просто необходимы ему, они выражали его прежнюю веру в общность народов.

Он сопровождал Коллонтай в полицайревир, объяснялся с комиссаром, доказывал, что поведение полицейских недопустимо.

У нее сделали обыск, отобрали все документы и отвели в арестный дом при полиции. Но на следующее утро она была неожиданно вызвана к комиссару.

— Что же вы, фрау, не объявили, что по своим убеждениям враждебны вашему царю?! Германия вовсе не с

вашими революционерами воюет. Вы должны так же поддерживать кайзера, как и мы.

Вступать в объяснения ей не дали, они не нуждались в мнении русской фрау.

— Получите свои бумаги. Можете еще некоторое время оставаться здесь, но каждый день являйтесь сюда для отметки.

— Мы и так это делаем.

— Тем лучше. Вы должны признать сами, что по отношению к русским, нашим врагам, мы проявляем крайнюю сдержанность.

Хлопоты Либкнехта за Мишу в конце концов увенчались успехом. Однажды юноша предстал перед матерью изможденный, но радостный. Его держали в лагере Дебериц. Русских скопилось там великое множество. То, что он рассказал об их положении, об унижениях, которым их подвергают, было тягостно.

Узнав, что́ сделал для него Либкнехт, он решил, что обязан рассказать ему обо всем увиденном сам.

Вечером мать и сын отправились к Либкнехтам. Опять в первую минуту у Коллонтай возникло ощущение, будто оживленное общество за их столом продолжает существовать вне атмосферы войны. Впрочем, вскоре пришлось сделать поправку.

Гость, длинный, вихрастый и взъерошенный, разглядывал газетный снимок и заливался смехом.

Заметив недоумение Коллонтай, Либкнехт обратился к ней:

— Не угодно ли — полюбуйтесь, как они расправляются с нашим братом! — И протянул фотографию, ожидая, что она скажет.

На фотографии был изображен человек в военной форме, в пенсне. Усы, черная полоска волос, знакомый взгляд из-за стекол.

— Карл, неужели вы?!

4*

— А то кто же? Конечно,— не без сарказма ответил он.

— Но почему в военном?

Либкнехт рассмеялся и окинул веселым взглядом своих гостей, точно призывая их в свидетели:

— Ха-ха-ха. Ну, так вы не поняли самого основного! Сейчас разъясню вам, сударыня: Карл Либкнехт, повинуясь зову сердца, записался добровольцем в армию. Видя, как настроен немецкий народ, он одумался и решил загладить прежние прегрешения.

То ли его забавляла неуклюжая выходка прессы, то ли он подчеркивал ее зловещий характер — Коллонтай так и не решила. Но, взглянув на Соню, уловила тревогу.

В столовой царило веселое оживление. В тот вечер говорили не столько о политике, сколько об античности. Вихрастый человек, забавлявшийся карикатурой на Либкнехта, оказался известным ученым. О его трудах по искусству Коллонтай слышала. К Соне он обращался как к коллеге, с которым можно вести разговор на равных. Господин Эдуард Фукс, говоря о сокровищах Востока, широко жестикулировал. Путешествия, розыски, находки и встречи живо вставали в его рассказах.

Тем временем Миша, воспользовавшись подходящей минутой, отошел с Либкнехтом в другой угол. Когда он начал благодарить за свое освобождение, Карл остановил его каким-то дружески покровительственным прикосновением.

— Это самое малое, что человек в моем положении обязан сделать. Но что там творится, расскажите-ка.

Когда Коллонтай подошла к ним, рассказ Миши был в разгаре. Либкнехт слушал, нахмурившись. Напряженная складка прорезала переносицу.

— Я полагаю, надо съездить туда самому. Как депутат я обязан увидеть все своими глазами. Если бы «Форвертс» выступил!.. Куда там, он занят рассказами о доблести немецких солдат... А вы слышали,— обратился он

к Коллонтай,— как благородные немецкие коллеги заботятся о вас, русских? Гере сообщил мне, что Форштанд решил освободить две комнаты и приобрести на свой счет сорок коек.

— Это на какой случай?

— Могут начаться эксцессы, и вам негде будет прятаться.

— Господи,— засмеялась она,— но нас во много раз больше!

— Зато почти интернационалистский жест. История им зачтет. А сами они уже записали это себе в актив.

Он говорил почти без горечи, немного насмешливо.

— О чем вы толкуете? — К ним подошел Фукс.— А-а, русские остались без крова? Ну а деньгами ваше землячество располагает?

— Землячества нет, и денег ни пфеннига.

— Как же вы, господа, пробавляетесь?

— Надеждой,— объяснила Коллонтай.— И взаимной выручкой.

— А кто защищает ваши интересы?

— Испанское посольство.

— Так надо атаковать их, не давать им покоя!

— Возле посольства толпятся тысячи русских.

— А-а, это я видел: чугунные ажурные ворота хорошего литья? За воротами посыпанные желтым песком дорожки?

— Вот и собираются перед оградой. Кричат, скандалят...

— Так у вас должен же быть свой комитет!

— Есть, господин Фукс, но с ним никто не считается.

Либкнехт не без любопытства наблюдал за Фуксом: что, собственно, намерен тот предложить?

Немного подумав, Фукс решительно произнес:

— Прекрасно, господа: в ваш комитет включаюсь я!

— Простите, в качестве кого? — поинтересовалась Коллонтай.

— В качестве немца! Немца, который выше предрассудков и считает долгом помочь русским, попавшим в беду!

Соня Либкнехт, слышавшая разговор, подала свой голос:

— Эдуард — человек неукротимый, он может вам пригодиться.

Попрощавшись с хозяевами и экстравагантным гостем, Коллонтай почувствовала себя сбитой с толку. А может, в самом деле они, русские, недостаточно энергичны?

— Миша,— спросила она, желая проверить себя,— какое впечатление произвел на тебя Фукс?

— Во всяком случае, он не в гостях в Берлине и не бесправен, как мы. И это хорошо.

XIII

Августовская ночь начала светлеть. Полоска на краю неба постепенно делалась розоватой. Контуры вокзала утрачивали расплывчатость.

По перрону вокзала в Штутгарте прохаживались трое. Они оглядывались время от времени, точно за ними кто-то следовал. Но в этот ранний час перрон был пустынен, лишь несколько носильщиков бродили, ожидая берлинского поезда.

— Я считаю, говорить надо с ним откровенно,— заметил молодой, которого звали Куртом,— хотя бы из одного только уважения к нему... А ты, Вилли, как думаешь? — обратился он к старшему.

— Откровенно — да, только такт соблюсти при этом.

— Речь совсем не о том. Но если он попробует уклониться...

— Значит, не знаешь, какой он человек!

— Слишком серьезный вопрос,— пояснил, оправдываясь, Курт,— чтобы мириться с половинчатыми решениями.

Третий, Фридрих, курил и время от времени пускал колечками дым. Когда проходили мимо электрических часов, он сверил свои часы.

— Помню,— сказал Фридрих,— как он приезжал сюда семь лет назад. Я еще был молодой, а в память врезалось здорово.

Немного погодя Вилли заметил:

— Восемь минут опоздания. Война сказывается.

Наконец в сиреневой дали нечетко обозначились огни паровоза. Поезд приближался, накатываясь своей грузной массой на перрон. Из нарядного здания вокзала стали выходить встречающие. Их было немного: две пожилые дамы, четверо мужчин в котелках и один без шляпы, лысый, круглый, похожий издали на бочонок. Он махал рукой перед лицом, точно ему было душно.

Только из трех-четырех вагонов вышли пассажиры. Завидев того, кого они ждали, трое устремились к нему.

Он вышел с черным портфелем под мышкой.

— Ба, Вилли, Курт, Фридрих... В такую рань встретили!

— Ну как же,— сказал Курт,— иначе быть не могло.

— У вас все в порядке, да?

— В общем, да...— Ответ Курта прозвучал принужденно.

— Тебя всегда отличал оптимизм, это твоя жизненная позиция.

— Гм, если самочувствие называть позицией.— И добавил с вызовом: — К твоему сведению, трое здесь присутствующих находятся под угрозой исключения из партии.

— Так-так...—Гость остановился.— Это что-то новое.

— Именно так, товарищ Либкнехт.

— Гм, примечательно... За какие же прегрешения?

— Несогласие с линией руководства. По вопросу о войне.

— Нет, вы меня прямо заинтриговали,— энергичнее произнес Либкнехт.

Пройдя через вокзал, просторный и красивый внутри, дальше пошли по двое. Либкнехта посвящал в дела штутгартской организации Вилли; Курт и Фридрих шагали сзади. Рассказ Вилли задел Либкнехта с первых же слов.

В организации не только нашлись несогласные: их оказалось чуть не большинство, и они не скрывают своей позиции. Руководство то ли снеслось с Форштандом, то ли само решило принять ответные меры.

Итак, движение, которое Либкнехт когда-то пестовал тут, настолько окрепло и выросло, что в сложных условиях войны молодежь не побоялась вступить в острый спор с вожаками!

Все, что терзало его в эти дни, ожило с новой силой. Он и торжествовал, слушая рассказ Вилли, и с каким-то ожесточением думал, что ему не уйти от ответа. Тут или в другом месте он обязан сказать себе, был ли его поступок четвертого августа достаточно обоснован. Его поднятая рука торчала особняком, резала глаз, мучила его совесть. И эта поднятая рука Либкнехта поразила и потрясла в Штутгарте многих.

То, что прежним безоговорочным обязательствам изменили другие, они, казалось, в состоянии были понять. Но Либкнехт, Карл Либкнехт?!

— Да, друзья мои, дело обстоит именно так. Разговор необходим, ты, Вилли, прав. Я для того и приехал.

Даже в обществе Коллонтай говорить о четвертом августа было почти невозможно: слишком свежа была рана, которую он нанес себе сам. Но тут, в Штутгарте, надо было держать ответ неминуемо.

Либкнехт знал Штутгарт давно — с его памятниками, парками, картинными галереями. Вспомнилось, как он посылал отсюда Соне открытки с видами. Господи, он и тогда торопился! Собирался побывать в галерее, но так и не побывал. Сколько других воспоминаний связано со Штутгартом! Вот здание с высокими узкими окнами, с округленными углами и башенками на крыше,— здесь он, Либкнехт, провел первый Международный конгресс молодежи, собрал молодых социалистов мира... А вот в том доме печатались, помнится, материалы конгресса Интернационала социалистической молодежи. Да, такой город, как Штутгарт, не так-то просто подмять под себя, подчинить своему влиянию. Даже Берлину с его непреклонным Форштандом.

Миновав центр, пришли в рабочий район. Под аркой кирпичного, ржавого с виду дома поднялись по мрачной лестнице на четвертый этаж.

На звонок вышла женщина средних лет в темном платье с разводами. Дверь она лишь приоткрыла, не впуская их.

— Тетушка Венцель, мы к вам. Как было условлено.

— А-а, ну, идите в комнату.— Либкнехта она окинула быстрым сметливым взглядом.

Продолговатая и высокая комната, вход в которую был из темного коридора, глядела окном во двор.

— Отдохнуть тут все же можно,— как бы оправдываясь, объяснил Курт.— Мы решили принять меры предосторожности, так будет надежнее.

— Мне нравится тут,— сказал Либкнехт.— Но я не устал, в пути вздремнул даже.

— А все-таки...

Тетушка Венцель бросила с порога:

— Если что будет нужно, не стесняйтесь. Нам, женщинам, тоже хочется быть полезными в общем деле.

— Спасибо, спасибо. Умоюсь с дороги и уйду по делам.

— Ну, нет,— с растяжкой сказала она,— пока не закусите, об этом речи не может быть. Не знаю, как дальше, а пока у меня в кладовке кое-что есть.

— Я сыт, спасибо.

Провожатые собрались уходить, им надо было успеть к началу смены. Перед уходом они заглянули к хозяйке:

— Так мы на вас полагаемся?

— Не беспокойтесь,— ответила она добродушным баском,— тетушка Венцель не подкачает.

Проводив их, она вернулась в комнату, чтобы представиться Либкнехту лучше.

— Сын у меня работал в депо, а другой на электростанции. Теперь один на востоке, а другой в Бельгии. Но я не из тех, кто кричит про зверства казаков, на это у меня хватает ума.

Она вышла и вскоре вернулась, неся в одной руке сковороду с яичницей и поджаренной колбасой, а в другой тарелку с гренками.

Почти следом за нею вошел человек средних лет с морщинистым лицом и резко обозначенными чертами, в опрятной рабочей куртке, без кепи. Он протянул Либкнехту руку:

— Вы-то меня не помните, а я знаю вас хорошо.

— Минуту, минуту... Я вел ваше дело года четыре назад?

— Нет, поболе: пять лет прошло. И мы это дело выиграли.

— Со страховой кассой, которая не хотела платить вам пособие?

Тем временем тетушка Венцель уставляла все на столе.

— У вас хорошая память,— признал посетитель.— Приятно, когда человек помнит, что случилось с другим. Нельзя, чтобы память была короткая.

— Вот тетушка Венцель предлагает закусить, так что

давайте вдвоем,— предложил Либкнехт.— А зовут вас... сейчас припомню: Крейнц, да?

— Правильно... А клиентов было за пять лет, наверно, немало?

— Да,— сказал Либкнехт,— немало. Давайте закусим.

— Вот насчет завтрака: моя старуха не любит отпускать меня с пустым желудком. Вы кушайте, это не помешает мне кое-что выяснить. Я не очень-то поворотливый, но хочется получить сведения, что называется, из первых рук.

Сели за столик. Из окна виден был темноватый, окруженный кирпичными зданиями двор.

Либкнехт спросил у Крейнца, что происходит в городе.

— А что вас интересует?

— Как проходила мобилизация, каковы настроения рабочих.— Он поставил перед гостем тарелку.

Крейнц упрямо помотал головой.

— Или сначала позавтракаете, а потом уже поговорим?

— А что? — рассмеялся Либкнехт.— Разговор может лишить меня аппетита?

— Будем надеяться на лучшее.— Отодвинув тарелку, Крейнц положил на стол тяжелые ладони.— Вот какой будет у меня к вам вопрос. Что война может вот-вот разразиться, про это писали много. Что капиталисты строят во всех странах козни, про это мы тоже знали. Рабочий бороться в одиночку не может. И даже организация не должна действовать по своему разумению каждая. Мы ждали команды.

— И по команде стали бы сражаться, как во времена крестьянских войн, вилами и топорами?

— Способов протестовать не так уж мало: забастовка, например, она стоит многого.

— Допустим. А они бросили бы против рабочих войска?

Он умышленно говорил не о *том:* ему необходимо было понять, что именно думает Крейнц. Поэтому он с удовлетворением воспринял его реплику:

— Это совсем о другом. Я же имею в виду вот что: почему не последовало команды?

Яичница стыла, гренки с янтарными капельками жира на поджаренной корке лежали нетронутые, а разговор продолжался.

— Теперь вопрос хотел бы задать я,— сказал Либкнехт.— Только ответьте мне прямо: такое понятие, как патриотизм, существует или нет?

— Что вы под этим подразумеваете?

— В данном случае — состояние умов, при котором даже передовой рабочий берет винтовку и идет защищать страну.

Крейнц пытливо смотрел на него.

— Значит, вы в самом деле с ними, товарищ Либкнехт?

— С кем?

— С теми, кто предал рабочий класс в эти дни?

Либкнехт выдержал его тяжелый допытывающий взгляд.

— Нет, не с ними.

Крейнц пошевелил ладонями, как будто собираясь убрать их, но вместо этого занял еще бóльшую часть стола.

— Вашим именем пользуются, чтобы оправдать измену,— знаете?

— Это пока что до меня не дошло.

— Наши здешние заправилы говорят так: «Вот он, ваш левый, противник войны! Поднял он руку против кредитов?»

После паузы Либкнехт выговорил каким-то пересохшим голосом:

— Это была ошибка...

— Именно такого признания ждут от вас все!

— Да, ошибка,— повторил он,— и я ее осознал.

— За нее спросят с вас, имейте в виду. Глубоко уважаю вас, и каждый в отдельности уважает. Но когда собираются вместе, на первый план выступает нечто другое.

— Я не страдаю ложным самолюбием и готов держать ответ.

К еде Крейнц так и не притронулся. Поднялся, взял обеими руками руку Либкнехта и пристально посмотрел на него.

— Положение серьезное. Совсем мало людей, которым наш брат верит. Нам терять вас нельзя никак.— Он ушел.

Либкнехт долго мерил шагами узкую комнату. Когда тетушка Венцель пришла за посудой, еда была не тронута.

— Я буду виновата, если вы уйдете голодный. Я ведь за вас отвечаю!

— Да, да, простите, сейчас...

Он продолжал ходить, обдумывая положение в партии и ставя далекое прошлое, приходившее ему на память, в связь с нынешним.

XIV

Ему было всего семь лет, когда «железный канцлер» Германии Бисмарк расправился с немецким рабочим движением. Он воспользовался провокационным выстрелом в императора какого-то фанатика, сумасшедшего и провел давно лелеемую им меру. Подавляющим большинством голосов рейхстаг принял «исключительный закон против социалистов». Партия Августа Бебеля и Вильгельма Либкнехта лишилась легальности. Ее организации и пресса были разгромлены. Канцлер был уверен, что она перестанет существовать.

Семья Либкнехтов жила в Лейпциге, там же работал и Бебель. Отец Карла был старше Бебеля на четырнадцать лет. Их связывали тесная дружба и единство взглядов.

Года два-три они еще оставались в Лейпциге, терпя нужду и лишения. Затем обоим было предложено покинуть город, и они отправились буквально по шпалам, заглядывая то в одно селеньице, то в другое. Выбрали едва ли не самое бедное и неказистое, Борсдорф, и там стали искать приюта.

Время было очень трудное для обоих, нужда подступила вплотную. Тайком от друга Бебель написал Энгельсу в Лондон, нельзя ли обеспечить Либкнехта хоть какими-либо корреспонденциями.

Положение несколько улучшилось, когда Вильгельм Либкнехт стал сотрудничать в американской левой печати, и все же оно оставалось нелегким. Тем не менее отец настаивал на том, чтобы дети его получили образование. Мало того, когда у Карла обнаружили большие способности к музыке, его стали учить на рояле.

В памяти Карла это трудное время запечатлелось как отважное, полное романтизма. Он всякий раз считал дни, остающиеся до того воскресенья, когда мать, захватив с собой всех детей, отправится с ними на побывку к отцу.

Тишина по пути от станции до селения, звенящие провода, простор и ожидание встречи... Удивительным контрастом с атмосферой, в которой жил маленький Карл в Лейпциге, являлись эти поездки. Каждое утро, подходя к гимназии Николае, Карл готовился к яростным столкновениям: любые намеки, уколы, едкие слова об опальном отце, о государственном преступнике, в семье которого он растет, тиранили слух, возмущали совесть и требовали отчаянного сопротивления.

Но стоило попасть Карлу в Борсдорф, как он чувствовал себя под надежной защитой. Этим двоим спокойным,

очень сдержанным людям, умевшим шутить и ко всему подбиравшим меткое легкое слово,— отцу и Августу Бебелю — Карл доверял безгранично. Он не совсем еще хорошо понимал, за что они борются, однако знал твердо, что борьба их нужна всем, что за нею стоят справедливость и правда. Чем большим притеснениям подвергались оба, тем ярче в воображении Карла вставал образ борющихся за правду людей.

Когда из домика, стоявшего вблизи речушки, оглядываясь по сторонам — не следят ли за ними,— выходили люди и видно было, что они чем-то расстроены и, вероятно, спорили прежде, чем покинуть домик, Карл непоколебимо верил, что в этом споре правда была на стороне Бебеля и отца.

Вильгельм Либкнехт не очень-то любил толковать с детьми о политике — слишком они были малы,— но не раз говорил, что каждый, кто хочет быть честным, обязан отстаивать то, в чем убежден, до конца. Он мечтал воспитать своих сыновей людьми, которых мог бы не только любить, как любил теперь, но и уважать.

...Шагая теперь по комнате, вспоминая дорожку, сбегавшую вниз к реке, усмешку Бебеля, его мягкие узловатые руки — словом, восстанавливая своим чувством прошлое, Либкнехт с неумолимой строгостью к себе подумал: в те дни была дисциплина гонимых, преследуемых, тех, кого намерены были смести с лица земли, а теперь о какой дисциплине шла речь?

Перед его взором возникли так называемые единомышленники, с которыми он сталкивался много раз на протяжении этого века: филистеры, ревнители умеренности и осторожности.

Еще в годы, когда социалисты находились в подполье, под гнетом исключительного закона против них, Август Бебель, умевший глядеть далеко, написал Энгельсу: «Тот, кто думает, что до социальной революции нам остается

по крайней мере сто лет, будет действовать иначе, нежели тот, кто видит ее уже вблизи...»

Карл Либкнехт не только видел ее вблизи, но и делал все, чтобы ускорить ее наступление. Он стремился к ней и в студенческом кружке Лейпцигского университета, когда целиком ушел в изучение Маркса, и позже, когда стал на самостоятельный путь.

Ему шел девятнадцатый год, когда правительству пришлось отменить исключительный закон: слишком большим оказалось влияние социал-демократов на рабочих, и на выборах в рейхстаг они собрали почти полтора миллиона голосов. Отец с семьей переехал в Берлин, чтобы редактировать «Форвертс». Карл горячо отдался общественной жизни. До сих пор незабываемо ярким было впечатление от массового рабочего митинга, на который ему довелось впервые попасть. Тысячи людей, готовых непреклонно защищать свои права,— вот ощущение, оставшееся от митинга. С ним он вступил в политическую жизнь, с ним жил и сражался за дело рабочих.

В тысяча девятисотом году Бебель на заседании правления партии сообщил, что сын одного из ее создателей, всеми чтимого Вильгельма Либкнехта, Карл, решил посвятить себя целиком делу рабочего класса. Некоторые лидеры насторожились: к тому времени и горячность Карла, и его прямодушие, и готовность выступить против тех, кто сглаживал остроту классовых противоречий и гасил революционные устремления рабочих, стали уже известны. Не слишком ли беспокойное пополнение?

— Это хорошо,— заметил один из них,— но следует присмотреть за ним повнимательнее.

Бебель поднял умные и чуть-чуть насмешливые глаза на сказавшего.

— Насколько я понимаю, тебя что-то смущает?

— Смущает? В данное время нет, но надо следить за тем, чтобы партия не потерпела ущерба от его горячности.



— А я полагаю,— сказал Бебель,— что Карл явится ценнейшим для нас приобретением.

Эта двойственность по отношению к Либкнехту так и осталась. То она словно бы сглаживалась немного, хотя бы для постороннего глаза, то выпирала наружу.

Либо ограничить деятельность социалистов сферой парламента и профсоюзов, либо бороться с капиталистами с помощью выступления рабочих масс, применяя все средства и способы вплоть до восстания,— таковы были две противоположные точки зрения. Огромное большинство германской социал-демократии склонялось к первой, и лишь незначительное левое меньшинство, в том числе Карл Либкнехт, было убеждено в необходимости массовых бескомпромиссных действий.

Это свое убеждение Либкнехт защищал с упорством, где только мог. На Бременском съезде партии в девятьсот четвертом году он заявил, что социал-демократии, которая цепляется за парламентский путь в борьбе с капитализмом, угрожает окостенение. В следующем году, на съезде в Иене, он горячо доказывал, что укоренившееся в партии заблуждение, будто пролетариат может добиться победы с помощью избирательных бюллетеней, ошибочно и опасно. Как раз революция, вспыхнувшая в России, подтверждает, что решающими в классовых схватках являются внепарламентские средства борьбы.

Революция в России произвела на Либкнехта огромное, неизгладимое впечатление. Он заявил, что она явится поворотным пунктом в истории народов Европы.

Иенский съезд, после глубоко аргументированных выступлений Либкнехта, Люксембург, Цеткин, на фоне бурных русских событий, высказался за массовую стачку в борьбе против капитализма. Но уже в следующем году в Маннгейме социал-демократы отступили от этого. Снова Либкнехт страстно доказывал, что механизм империалистического государства может парализовать только стачка.

Возникла опасность, что ради подавления революции в России Германия может решиться на интервенцию. Либкнехт предложил ответить на это массовой политической забастовкой немецкого рабочего класса. «Мы в колоссальном долгу перед нашими русскими братьями и сестрами,— заявил он.— Кровь, которую проливают там наши братья, они проливают за нас, за пролетариат всего мира». Страстно говорил он о том, что все, что на Западе предпринимается в пользу русской революции, есть «лишь малая толика по сравнению с теми кровавыми жертвами, которые на Востоке приносятся ради нас».

...И вот филистеры и закоренелые соглашатели, с которыми он сражался с первых лет века, навязали ему свою волю, принудили голосовать за войну! Как можно было поддаться психозу единства и поднять руку в пользу отвратительной сделки с империалистами?!

Штутгарт, его атмосфера, все, связанное с ним прежде, живо встали в сознании Либкнехта. Очень важно было, что здесь нашлось столько единомышленников. Значит, их надо искать повсюду и объединять вокруг прежних, никем не отмененных понятий интернационализма и братства. Что из того, что миллионы одураченных шовинизмом людей топчут сегодня эти понятия! Когда преследовали отца и Бебеля, разве они утратили веру в лучшее будущее?

Стало быть, при сумасшествии, охватившем сегодня Европу, те, кто сознает себя в ответе за будущее, обязаны отстоять свою веру. Они обязаны думать о следующих поколениях. Мир должен быть переустроен, чего бы это ни стоило.

XV

Курт и Вилли пришли за Либкнехтом ближе к вечеру. Отблеск солнца, лежавший на противоположной стене, давно скрылся, а Карл все еще размышлял, расхаживая

в тесном пространстве комнаты. Если бы он мог знать, какие миллионы шагов предстоит ему пройти в помещениях не менее тесных и совершенно изолированных!

— Время идти,— сказали они.— Мы думаем, лучше пешком, в уличной толпе оно как-то незаметнее.

По дороге встретились два-три патруля, несколько машин с солдатами. Военная обстановка бросалась в глаза тут меньше, чем в Берлине. Солдаты в машинах были одеты в старое обмундирование. И двух недель войны не прошло, а уже первые признаки скопидомства. Выходит, на быструю победу надежды нет?

Перешли мост через Неккар. Величественный мост, и памятник на дворцовой площади хорошо расположен... Опять, как и в прошлый приезд, он ничего не осмотрит; постоянная спешка, времени ни на что не хватает... Миновали политехникум, парк, позади остались виллы местных магнатов.

Затем потянулись опрятные домики под черепицей; палисадники, клумбы, аккуратно выкрашенные заборы — на всем лежала печать любовных забот. Признаков того, что мир охвачен безумием, как будто и не было вовсе.

Спутники предупредили, что идти километров восемь: собрание предусмотрительно назначили в одном из маленьких городков, тяготевших к вюртембергской столице.

Несколько мелких групп, по двое, по трое, обогнали их; оглянулись, бросили выразительный взгляд и пошли дальше. Начиналась полоса нелегальной работы. Либкнехт похвалил организаторов за то, что все так хорошо продумано.

Городок был чистенький, с двухэтажными домиками, и улицы обсажены каштанами. Тут все тоже дышало покоем мирной жизни.

Народу в клубе оказалось много — в зале, в коридорах и даже на скамейках перед зданием. Либкнехт подумал с радостью, что есть на кого опереться.

— А правила конспирации? — спросил он у Курта.

Тот был, по всему видно, старшим, к нему обращались то и дело, и он коротко распоряжался.

— Что могли, предусмотрели. Есть два запасных выхода. На некотором расстоянии стоят наши посты. Во всяком случае, сигнал получим до того, как сюда нагрянут.

Трибуны в зале не было: скамьи вдоль стен и порядочно столиков с табуретами. Похоже было на обычную пивную: девушки разносили пиво, и число кружек на столиках росло.

По знаку Курта водворилась тишина. Он привстал.

— Представлять вам товарища, которого вы и так хорошо знаете, надобности нет,— объявил он негромко.

Действительно, к Либкнехту успело уже подойти немало народу, а сейчас его дружески приветствовали все.

— Товарищ согласился приехать сюда,— продолжал Курт,— чтобы с партийною прямотой ответить на некоторые наши вопросы.

— Вам меня видно? — спросил Либкнехт.— И слышно будет тоже, если соблюдать тишину.

Вопросы, которые начали ему задавать, сводились, в сущности, к одному: как случилось, что он, Карл Либкнехт, проголосовал за войну? Сначала их задавали спокойно, а потом все горячее. Курт помахал рукой.

— Нам надо вести себя по-деловому. Помните, товарищи, что такое собрание, как наше, завтра может оказаться уже невозможным.

Пламенело в окнах солнце. Дом, окруженный платанами, весь как будто светился. А Либкнехт, прикованный к аудитории, втайне наслаждался этим зрелищем пламенеющего солнца. Выслушав всех, он заговорил сам — сначала сдержанно, а затем все более взволнованно:

— Положение трагическое, я согласен: Европу пожирает пожар, а социалисты, клявшиеся на всех съездах не

допустить войны, поддержали ее. Когда фракция наша определяла свое отношение к событиям, я доказывал, что эта грабительская и бесчестная бойня развязана вопреки интересам рабочих. Мне возражали злобно, но я стоял на своем. Вначале меня поддержало тринадцать человек, затем и они отступились. Дошло до голосования. В последнюю решающую минуту во мне заговорило то, что воспитывалось с детских лет — уважение к позиции большинства, пускай она и ошибочна... С того часа я каждый день мысленно возвращаюсь, товарищи, к голосованию. Увы, слишком поздно. Оправдать мой шаг невозможно. Быть может, именно потому меня так внутренне потрясло сегодняшнее обсуждение. Вы полностью правы, упрекая меня в том, что я — даже если бы и остался один — не сумел бросить свое «нет» в зал заседаний и тем самым объявить на весь мир, что утверждения, будто германский рейхстаг и германский народ единодушны, являются ложью... Сегодня я особенно остро почувствовал, что партия не разрушена, что ее лучшая, пускай меньшая, часть начинает собирать силы для новых битв.

— Но ее хотят разрушить, опираясь как раз на то, что случилось четвертого августа! — выкрикнул парень из угла зала.

— Пример вашей стойкости говорит о многом,— горячо сказал Либкнехт.— А я, я обещаю вам, что буду непримиримо восставать против кайзеровской войны и против кайзеровских социалистов. Никакие угрозы не остановят левые силы в их стремлении сплотиться!

— Но к тому времени всех могут пересажать!

Достав носовой платок, Либкнехт стал нервно протирать стекла.

— Вы правы в одном — нас ждут нелегкие времена. Зато можно сказать уверенно, что продолжение войны поможет Шейдеману и Эберту очень мало.

И тут послышался укоряющий голос из другого угла:

— Вы же были с ними, Карл?!

— Да... И эту свою ошибку признаю с чувством тяжелой вины. Вины и глубокого сожаления — достаточно вам?

Тишина, наступившая в зале, длилась на этот раз дольше.

— Мы знаем Карла не первый день. То, что он сказал, достаточно серьезно,— заметил негромко Курт.

Крейнц сидел в дальнем углу, подперев лицо кулаком. В сутулой его фигуре и выдвинутых вперед крупных ногах ощущалась массивная тяжеловесность.

Он почесал затылок и в свою очередь задал вопрос:

— А за разбитые горшки кто нам заплатит?

— Карл — да?! — Курт энергично повернулся к нему.— Один его голос перевесил бы голоса ренегатов?!

— Голос — это много,— упрямо возразил Крейнц.— Голос Либкнехта мог прозвучать, как труба Иерихона.

— Он еще прозвучит,— произнес Либкнехт.— Могу вам пообещать. Даже если случится, что горло мое будет сдавлено, он все равно прозвучит, это я вам обещаю твердо. Но будьте готовы и вы.

То, что говорилось потом, имело меньшее значение. Даже голосование, показавшее, что все готовы выступить против сторонников войны, вытекало из пристрастного разговора, происшедшего между штутгартцами и депутатом рейхстага.

Два раза чуть было не прервали обсуждения: наблюдателям с улицы показалось, что сюда направляются какие-то сомнительные субъекты. Тревога, впрочем, не подтвердилась.

Когда шли назад, тоже мелкими группами, Крейнц нагнал Либкнехта и немного смущенно пробормотал:

— На меня сердиться не нужно. Я привык так, напрямик. Но раз вы с нами опять, значит, мы друзья.

— Хочу надеяться,— сказал Либкнехт.

— И теперь нам особенно нужна ваша светлая голова.

— Слушай, Крейнц, он же очень устал...— заметил Курт, шагавший рядом.

— А я и не собираюсь мучить его. Мне только надо было сказать ему это, вот и все.

XVI

Поездка в Штутгарт помогла Либкнехту, сделала его более ровным; вернее сказать, не таким нервным. Соня, наблюдавшая за ним с первого дня войны, заметила некоторую перемену.

Но и теперь он был весь напряжен.

В то утро, когда у него сделали обыск, Карл, примчавшись домой, застал жену среди расшвыренных ящиков и развороченных бумаг. Сидя на корточках, она старательно подбирала с пола листки, письма, папки.

— Боюсь, ты тут не разберешься, дай уж я сам...

— Не соображу, в каком ящике что лежало.

— Сядь, родная, приди в себя, отдохни, на тебе лица нет...

Позже, когда Соня присела на диван, он добавил:

— Подумать только, с чего они начинают! Первые их шаги в дни войны!

— Добавь к этому еще и угрозу насилием.— И она рассказала, как ей угрожали и приставили к виску револьвер.

Либкнехт смотрел на нее с нежностью. Груз, который она взвалила на себя, выйдя за него замуж, становился все тяжелее. Он почувствовал себя в ответе перед нею: молодая и жизнерадостная, незаменимая его спутница,— что ждет ее впереди и что может лечь еще на ее плечи?

Вскоре после поездки в Штутгарт Либкнехт объявил:

— Знаешь? Я хочу похлопотать о пропуске в Бель-

гию: как-никак в этом ленном владении рейха развевается теперь германский флаг. Попробую поискать следы твоего брата.

— Да кто же пустит тебя?!

— И, если быть откровенным, у меня еще одна цель — самому увидеть тех, на кого мы наложили свою лапу.

— Боюсь, что это невозможно,— повторила с сомнением Соня.

— Не надо так говорить... Так мало пока что людей, которые думают о войне, ну, как я, как ты, что расхолаживать друг друга нельзя. Тут, наоборот, очень важна поддержка.

Разговор происходил в столовой вечером. Дети ушли к себе, поняв, что лучше оставить взрослых одних.

Горел верхний свет под матовым колпаком. Лицо жены было хорошо освещено: с пышными черными волосами и большими добрыми глазами — лицо женщины, которой природа назначила быть счастливой и которая, отдав ему свое сердце, вряд ли сделала очень счастливый выбор.

— Посидим, Сонечка? — Карл осторожно привлек ее к себе.

Она послушно села. Задумчиво и ласково он смотрел на нее и, казалось, думал только о ней. Но через минуту-другую Соня почувствовала, что мысли его отклонились в сторону. Это ее задело.

Вот ты рядом с близким тебе человеком, ты хочешь проникнуть в его тайники, а он отдалился, замкнулся в себе. Может, тут и не недоверие, а какая-то доля эгоизма?

— С тех пор как все началось, мы ни разу с тобой не читали, Карл.

— Да, да, такие милые у нас были вечера. И будут еще... Но, видишь ли, мне надо решить что-то очень важное для себя.

Он провел рукой по лбу. Лоб был обширный, высокий, умный, с выделяющимися надбровными буграми.

— Ну, что ты решаешь, ну, скажи...

— Если поступок твой глубоко обоснован, он позже покажется совершенно естественным. Но когда ты один и тебе со всех сторон оказывают яростное противодействие, решиться на него нелегко...

Связь, оборвавшаяся было между ним и Соней, восстановилась снова. Они сидели рядом, близко, и вели этот разговор, в котором кое-что было смутно, не совсем для нее понятно. Она понимала лишь, что Карл додумывает что-то действительно важное.

Позже Соня заговорила о более простом и обиходном.

— Не помню, рассказывала ли я тебе о Фуксе?

— Как будто нет.

— После того вечера, когда была Коллонтай, он развернул бурную деятельность, и кое-что, кажется, у них получается.

— Ты у русских бываешь, Сонюшка?

— Захожу к Александре Михайловне. Фрау Шнабель напугана страшно: боится рассориться с постояльцами, но еще больше боится полиции. Каждое утро в пансион врывается шуцман — угрожает, позволяет себе бог знает что.

Он потер веки. Из-за стекол пенсне мелькнула глубоко запрятанная в глазах усталость.

— Немцев стараются приучить к мысли, что все, кто не немцы, опасны и глубоко враждебны. Это входит в программу оглупления народа. Им надо разрушить до самых основ то, что так упорно воспитывали в народе мы,— дух близости между людьми.

— Фукс ведет себя по-другому,— заметила Соня.

— Ну, конечно: ему, разумеется, чужд шовинизм. Но противопоставить шовинизму систему взглядов вряд ли в его силах.

— Систему? — немного удивленно переспросила Соня.— Ты считаешь, что одного чувства мало для этого?

— В такие шивальные времена,— убежденно ответил

Либкнехт,— нужен сильный заслон от массовых настроений, то есть взгляды очень твердые, способные выдержать все.

Да, подумала она, ему так говорить можно! У него это есть.

— Помимо всего прочего, Фукс чудовищно энергичен.

Либкнехт не отозвался. В некоторых оттенках своих мыслей, в их едва уловимых отклонениях разбираться без особой нужды не хотелось. Было невыразимым благом, что в дни, когда в мире сорвана крыша и человечество осталось без крова, он ощущает рядом семью, дом, близость умного, все понимающего человека.

— Так я начну хлопотать о разрешении выехать в Бельгию?

— Если бы только получилось!

XVII

Но еще до того, как попасть туда, Либкнехт побывал в лагере Дебериц, где содержались русские, вывезенные из Берлина. Чтобы хлопотать за них, ему надо было самому увидеть, как с ними там обращаются.

Состав лагеря был самый пестрый: молодые и пожилые, студенты, приехавшие учиться в Германию, и люди, прибывшие на лечение. Богатых тут не было никого, разве что по недоразумению: обычная привилегия поставила их даже в эти дни в особое положение.

Жили скученно, на нищенском пайке. Вид был у всех изможденный. Никто толком не знал, на какой срок взят: до конца ли войны или пока не будет достигнуто соглашение между воюющими сторонами. Тут царила система запугивания и окриков.

Слух о прибытии Либкнехта взволновал не только тех, кому имя его что-то говорило, но и тех, кто не слыхал о нем прежде. На площадке перед бараками собра-

лась большая толпа. Пожилой небритый человек в поношенном костюме подбросил с энтузиазмом свою шляпу кверху и выкрикнул:

— Да здравствует товарищ Либкнехт!

Все подхватили эти слова, точно они стали лозунгом освобождения.

Либкнехт был внимателен ко всем. В атмосфере военного произвола он был как бы в ответе за то, что ни в чем не повинных людей держат под замком. Если бы они знали, как мало у него возможностей и как встречают его в официальных инстанциях! Если бы могли понять, как нелегко ему, немцу, в его немецком отечестве!

Но важно было показать, что в Германии есть люди, озабоченные их положением, готовые сделать все, чтобы хоть немного улучшить его. Он записывал жалобы, просьбы с кем-то связаться, кому-то сообщить о них.

По пятам за Либкнехтом ходили чины охраны: его звание депутата делало их еще более подозрительными. Гора обязательств росла, он с тревогой спрашивал себя, как с этим справится. Уже в поезде, на обратном пути, Либкнехт стал приводить в порядок сделанные за день записи. Очень немногое в состоянии был сделать немецкий адвокат, депутат, общественный деятель при нынешнем положении!

Впрочем, Эдуард Фукс, автор исследования о древнем Египте, придерживался несколько иного мнения. Роль делового человека пришлась ему по вкусу.

Заняв в тесной комнатке Коллонтай много места, сильно жестикулируя и двигаясь энергично, Фукс заявил:

— Вы, русские, наивно считаете, будто у нас можно отстаивать свои интересы, не представляя никого. Ведь организацию взаимопомощи вы так и не создали? Кого же вы представляете?

— Самих себя, господин Фукс.

— Этого, милая фрау, мало! Давайте зафиксируем:

вы — русские эмигранты, застрявшие на чужбине по воле обстоятельств. И второе: вы вводите меня в свой комитет.

— Что за этим последует? — полюбопытствовала Коллонтай.

— Мы обойдем прежде всего ваших соотечественников-богачей. Трудности задели их гораздо меньше, чем вас, поверьте.

— Где же искать их?

— В гостиницах, в фешенебельных пансионах — там, где они останавливались из года в год. И мы заглянем в их кошельки.

Так комиссия из нескольких эмигрантов и господина Фукса начала наносить визиты русским богатеям.

Какой-нибудь даме в бриллиантовых кольцах и дорогих серьгах Фукс не давал долго жаловаться.

— Уважаемая графиня, боюсь, что вы даже отдаленного представления не имеете о том, как живут ваши сородичи. Уж если мы, немцы, сочли нужным включиться в дело помощи, то вы тем более обязаны это сделать.— Он доставал из портфеля тщательно разграфленный лист.— На какую сумму позволите вас подписать?

Графиня называла сумму самую скромную. Фукс разводил в удивлении руками и подымал глаза к потолку.

— Такой взнос от вас мы принять не можем, нет, это было бы унизительно для русской колонии.

— Но у меня у самой ужасное положение!

— Побойтесь бога! Там бедствия, голод, а вы...

Покинув наконец комфортабельный номер дамы, Фукс в назидание своим спутницам говорил:

— А вы намерены были разговаривать на языке просьб! Револьвер к виску, иначе не выйдет!

— Это, господин Фукс, не вяжется с нашими привычками,— возражала Коллонтай.

— Ха-ха-ха, революционерка стесняется пошарить в

кармане у баронессы, дамы с собачками и лакеем! Как же вы будете делать революцию у себя?!

Коллонтай предпочитала в объяснения с ним на этот счет не вступать. Тип дельца по влечению, притом бескорыстного, представлялся ей любопытным. Но с ним надо было держать ухо востро, она уже поняла.

Пока Фукс обходил богачей или добивался от испанских дипломатов, чтобы они добросовестнее защищали интересы русских, он был незаменим. Но вот, явившись однажды к ней, он внес совсем новое предложение.

— Для начала уточним: ведь не собираетесь же вы оставаться в Берлине до окончания этой идиотской войны?

— Вы хорошо знаете, мы хлопочем о визах.

Положив на стул портфель, он продолжал, размашисто жестикулируя, как всегда:

— Но не за тем же вы стремитесь попасть на родину, чтобы содействовать царю в его архиреакционной политике?

— Следует так думать, господин Фукс.

— То есть на родине вы продолжите дело, которому служите?

— Каждый займется, я полагаю, тем, что сочтет для себя нужным.

— Вот-вот, совершенно верно! — Он решительно повернулся к ней.— Итак, слушайте: одному депутату рейхстага и мне почти удалось согласовать вопрос о выезде группы русских, к которой принадлежите вы и подобные вам.

— Как это понимать? — насторожилась Коллонтай.

— Ах, не требуйте от меня подробностей! Если звание депутата, притом социал-демократа, и мое могут служить гарантией порядочности, доверьтесь нам.

— Некоторые вещи надо знать наперед: как ни велико наше стремление выехать, мы далеко не на все согласимся.

Он нетерпеливо замахал на нее руками.

— Все та же история с вами, русскими! Когда желаемое само плывет вам в руки, вы вспоминаете о каких-то принципах. Поймите, я человек практический. Если принципы так важны для вас, то затевать эту канитель ни к чему.— Он скучно зевнул, показывая, насколько неинтересен подобный спор. Но вслед за этим оживился снова: — Вот я чего не пойму: ваша цель — расшатать самодержавие, так? С целями оберкомандо это ведь не расходится. Что же удивительного, если оно готово согласиться на выезд группы русских? На вашем месте я сделал бы вот что: составил список тех, за кого вы ручаетесь; включите революционеров разных направлений, одних только революционеров.

— И мы должны взять на себя обязательства перед оберкомандо?

— Ерунда! Обязательства останутся по эту сторону границы и обратятся в ничто, как только вы ее пересечете.

— Вряд ли товарищи пойдут на такую сделку,— сухо заметила Коллонтай.

Он сделал несколько шагов и резко остановился.

— Хорошо, давайте тогда встретимся завтра. Мы придем вдвоем, депутат и я. Ведь это социал-демократы хотят помочь своим русским коллегам!

Фукс ушел расстроенный. Он добился лишь согласия прийти завтра утром на Ангальтский вокзал.

В эмигрантской колонии разгорелся горячий спор. Речь шла о судьбе людей, обреченных на голод и оторванных от насущного дела. Меньшевики, эсеры, трудовики готовы были согласиться на сделку, и только маленькая группа большевиков сочла для себя невозможным такого рода сговор с генералами.

Слишком велика была ответственность. Нужен был совет человека, авторитет которого был бы в глазах Кол-

лонтай безоговорочным. Таким человеком являлся Либкнехт.

Он выслушал ее, задумчиво смотря в сторону сощуренными глазами.

— Я согласен с вами,— помолчав, сказал он.— Это не та почва, на которой возможны сделки... Но хороши и господа социалисты. Кто же это, интересно, союзник Фукса? Пойдите, взгляните-ка на него.

На следующее утро они встретились. Спутник Фукса нахлобучил шляпу, предпочитая остаться неузнанным. Ба, да это же Гере, старый знакомый, тот, кто пытался оправдать воюющую Германию в глазах Коллонтай!

Поняв, что он узнан, Гере заявил без обиняков:

— К чему артачиться? И какое кому дело, что́ вы тут пообещаете?

— Буквально то же самое говорил и я! — воскликнул Фукс.

— Вот вы, коллега Коллонтай, намерены остаться в Скандинавии? Ну и, пожалуйста, оставайтесь. Я довезу вас до границы, а затем сдам шведским товарищам. Дальше дело ваше.

— Нет, давать обязательства, которых заведомо не выполню, я не способна.

— Каких?! О чем!

— Нас выпускают в расчете на то, что мы будем вести в России подпольную работу — так? Чуть ли не в пользу вашего кайзера?

Забыв, где происходит свидание, Фукс закричал:

— Вот потому и с революцией у вас ничего не выходит, что вы по-глупому принципиальны! Если предпочитаете сидеть в немецкой клетке, дело ваше, в конце концов!

Гере спросил, почему они так мало ценят помощь немецких коллег.

— Вы домогались протестов, публикаций в «Фор-

вертс» в вашу пользу, а мы понемножку делали свое дело помощи: приобрели для русских товарищей койки, чтобы в случае эксцессов кое-кого укрыть у себя. Теперь речь о помощи более существенной. Ведь этого добились для вас мы!

Коллонтай и ее спутница упрямо стояли на своем; план, так ловко придуманный, они готовы были без обиняков отклонить.

— Словом, да или нет?! Ну, значит, переговоры закончены, можете разорвать приготовленный вами список!

Гере вновь нахлобучил шляпу, готовый уйти. Ему казалось бессмысленным задерживаться в вокзальной толчее, среди носильщиков и тележек со съестным, и уламывать упрямых женщин.

— Напрасно связался с вами. С коллегой Чхенкели, депутатом Думы, мы поладили бы, уверен, с первых же слов.

— Вы и сегодня можете с ним связаться!

— Нет, один и тот же вопрос два раза у нас не решается. Пеняйте на себя.— Он повернулся и стал пробираться к выходу.

Фукс укоризненно покачал головой, осуждая нелепую принципиальность, и медленно последовал за выходившим из вокзала Гере.

...Вместе с небольшой группой застрявших русских Коллонтай удалось выбраться из Берлина несколько позже. Они так и не воспользовались благосклонным содействием коллег.

XVIII

В этой комнате было великое множество книг. Обитательница ее могла отказать себе в чем угодно, только не в них. Книги лежали на подоконнике, стопками на столе, на полках и даже на полу возле дивана. В остальном тут

все выглядело сурово: стол с чернильным прибором, диван, несколько стульев.

Когда Либкнехт вошел, навстречу ему, чуть прихрамывая, поднялась невысокая женщина: узкий овал лица, острый нос, лоб мыслительницы, темные брови и огромные, чудесные по глубине выражения глаза. Это была Роза Люксембург. Глаза были самым примечательным в ее облике, хотя весь он был глубоко примечателен.

— Каяться пришли, Карл? — шутливо сказала Роза.

— Вернее сказать, держать с вами совет.

— К берегу оппортунизма вас еще не прибило?

— Нет, вы знаете сами.

— А то бы разве я протянула вам руку?! — И она опять заняла свое место.

Подобрав ноги, Роза уселась удобнее. Она любила уютные позы, что не мешало ей, впрочем, вести с собеседником жесткие разговоры.

Их осталось немного, социал-демократов, не дрогнувших в первые дни войны: двое, находившиеся в этой комнате, признанная во всей Европе руководительница женского рабочего движения немолодая, больная, но полная мужества Клара Цеткин, испытанный левый боец и теоретик, тоже совсем уже немолодой, Франц Меринг, Лео Иогихес, Вильгельм Пик... Начало войны прозвучало для них грозным призывом к действию. Уже в ночь на пятое состоялось узкое совещание левых; оно наметило пути борьбы против войны и правого оппортунизма.

Люксембург попыталась было выступить с манифестом протеста и привлечь к его подписанию депутатов фракции, восставших вначале против военных кредитов. Из этого ничего не вышло, поскольку они уступили нажиму большинства. Тогда на следующий день она разослала триста телеграмм левым деятелям социализма, призывая бороться с «политикой четвертого августа». Но и на это откликнулись немногие.

— Вы считаете, Карл, что время для новых шагов приспело?

— В этом нет никакого сомнения. Мы не имеем права бездействовать.

— Видите ли, каждый обязан знать, что его ожидает. Я птица вольная, у меня нет птенцов, не умеющих летать.

— Но наличие птенцов никогда и ни от чего меня не удерживало!

— Да, семья, дом — с этим вы не посчитаетесь.— Она помолчала.— Но, Карл как *вы* могли проголосовать *за* кредиты?!

Она пожалела, что задала свой вопрос, так изменился Либкнехт в лице, и, выслушав несколько его слов, кивнула, точно об этой ошибке можно было больше не говорить.

— Новые союзники социал-демократов немного на первых порах стеснялись, но теперь, мне кажется, будут вести себя беспощадно.

— Вы о ком? — спросил Либкнехт.

— О тех, с кем фракция так легко породнилась,— о канцлере и полиции.

— Я бы таких обобщений не делал: кое-кого из фракции можно будет еще оторвать от большинства.

— Так же, как можно вырвать несколько перьев из хвоста птицы.

— Да, но эти перья нам пригодятся.

Пришел срок, когда надо было сообща во всем разобраться, заглянуть, насколько возможно, в грядущее. Масштабы разразившейся катастрофы видели оба. Трагедия состояла не только в том, что миллионы людей уничтожали друг друга: угар милитаризма отравил умы; идеи, накопленные социализмом, были дискредитированы.

Теперь уже стало ясно, что социал-демократия в том виде, в каком она существовала накануне войны, несостоятельна.

— Наша задача,— сказала Роза,— довести до всех за границей, что мы, меньшинство, думаем то же, что думали прежде, и войну полностью отвергаем.

Стали перебирать единомышленников: кто мог бы примкнуть к ним в Германии? Чье имя в глазах Европы по-прежнему имеет вес? Кроме Клары Цеткин и Франца Меринга, некого было больше назвать.

Необходим был коллективный документ, заявление о гражданской честности. Но как отправить его за границу?

— Я, возможно, вскорости попаду в Бельгию,— сказал Либкнехт.

— Нет, Карл, документ надо послать незамедлительно.— Она положила маленькую свою руку на его ладонь.— Что-нибудь вместе с Кларой придумаем, ладно; мне все равно надо срочно увидеться с нею.

Это должен был быть первый их совместный шаг, декларация решимости.

Провожая Либкнехта к двери, Роза не удержалась:

— А в рейхстаге как будет?

Он резко обернулся: глаза, полные протестующей силы, скользнули, как будто срезая часть комнаты.

— Я думал, это не требует объяснений?!

Роза уловила в этом взгляде и бесстрашие, и незащищенность. Слишком много в нем деликатности, и слишком во многое он еще продолжает верить. Себя она склонна была считать неумолимой и беспощадной к тем, кто искажает правду, словом, более закаленной. А Карл?

Вопрос так и повис в воздухе.

Десятого сентября в социалистической прессе нейтральных стран было опубликовано заявление Либкнехта, Люксембург, Меринга и Цеткин. В нем с непреклонной

резкостью осуждались и война, и поведение социал-демократов, поддержавших ее.

Документ этот восстанавливал честь немецких левых и противостоял шовинизму воюющих стран.

XIX

Либкнехт побывал в Бельгии и Голландии. Напасть на след Сониного брата так и не удалось. Как и многие студенты из России, тот, очевидно, вступил во французскую армию. В том, что брат и сестра оказались по разные стороны фронта, было что-то символическое, говорившее о зловещей нелепости происходящего.

От встреч с социалистами Бельгии и Голландии осталось тягостное чувство. Либкнехт убедился, что в их умах царит та же путаница, что и здесь. На одной стороне раздувалась версия франко-русской виновности, на другой — виновности немцев, притом еще большей.

Социал-демократические партии воюющих стран были разобщены. Здание II Интернационала лежало в развалинах. Спустя год В. И. Ленин в статье «Крах II Интернационала» написал, что крах этот «выразился всего рельефнее в вопиющей измене большинства официальных социал-демократических партий Европы своим убеждениям и своим торжественным резолюциям в Штутгарте и Базеле».

И далее он писал в той же статье: «Кризис, созданный великой войной, сорвал покровы, отмел условности, вскрыл нарыв, давно уже назревший, и показал оппортунизм в его истинной роли, как союзника буржуазии. Полное, организационное, отделение от рабочих партий этого элемента стало необходимым».

Тем немногим левым в Германии, кто сохранил верность социалистическим принципам, предстояло шаг за

шагом, в условиях гонений, воссоздать атмосферу солидарности и доверия.

Куда бы Либкнехт ни пришел — в цех, в рабочий союз-ферайн или на собрание заводских активистов, — его встречала хмурая настороженность. Там, где прежде можно было свободно общаться, теперь ввели ограничения: в этот цех заходить без пропуска не дозволено; на этом собрании разрешено говорить только в рамках повестки дня, боже упаси выходить за ее пределы! Профсоюзные активисты и профсоюзные вожаки, испытанные слуги Форштанда, ревниво следили за тем, чтобы рабочие были послушны их указке. И рабочие доверчиво следовали за вожаками.

Четвертого августа рейхстаг выполнил свою роль выразителя воли народа. Депутаты утоляли теперь свои гражданские чувства, сотрудничая во всевозможных комиссиях. Друг перед другом хвастали патриотизмом: у одного дочь работает медицинской сестрой, у другого воюют все сыновья, даже младший, которому срок еще не пришел, записался добровольцем; третий сам появлялся в военной форме и давал всем понять, что выполняет важные поручения, связанные с обороной.

Жáра партийной полемики и взаимного обличительства как будто и не бывало. Перемен, какие война вносила в жизнь столицы, старались не замечать.

Первые эшелоны раненых доставляли в Берлин победителей и храбрецов, готовых щеголять своими победами. Девицы в наколках, дочери влиятельных важных персон, рассказывали дома после дежурства, какие чудеса выносливости они наблюдают в госпиталях. Встречаясь с больными и ранеными, они проникались гордостью за немецкий народ.

Женщины социал-демократки стали преданными пособницами войны и заседали в разных общественных комитетах вместе с женами депутатов, баронов, минист-

ров. Выходит, знатные и простые женщины проникнуты одним и тем же стремлением — помочь своему народу. Иллюзия сближения сословий поддерживалась теми, кому это было выгодно.

Еще не пришло время, когда на улицах появятся искалеченные люди. Еще матери не плакали навзрыд, и жены не потрясали кулаками, угрожая виновникам катастрофы.

Карл Либкнехт терпеливо накапливал обличающий материал. То из одной организации, то из другой доходили вести о том, что в шумихе чванного шовинизма прорываются отдельные трезвые голоса.

Приходили люди хмурые, вроде штутгартского Крейнца, думавшие тяжело, зато самостоятельно; или молодые, с задором, сумевшие распознать в этой шумихе первые признаки наглого надувательства; или испытанные левые кадровики, которых угар первых недель не сумел отравить.

Либкнехт, заходя в районное бюро партии, где-нибудь в уголке или на скамейке в коридоре заводил осторожный разговор с товарищем.

Он стал опальным депутатом и чувствовал это на каждом шагу. В комиссии, начавшие в связи с войной работать в рейхстаге, его, конечно, не включили. С ним вообще перестали считаться во фракции и почти не замечали его. Он оказался не тем деятелем, от которого страна вправе была ждать в эти дни помощи.

Но тут, на скамейке в темном коридоре, можно было, куря папиросу, доверительно обсудить с товарищем положение.

— Так надо же все-таки действовать, Карл,— сказал ему один из таких собеседников.

— Понимаешь ли, Гуго: действовать — да, но очень осмотрительно. Мы не должны попадаться в их сети... Подумай: есть ли у вас в цеху три-четыре, ну, скажем, пять человек, на которых ты мог бы опереться?

Прежде чем ответить, Гуго Фриммель сделал затяжку. Бровастый и сумрачный, с глубокими складками на лице, он попусту слов не бросал.

— Трое, пожалуй, найдутся. За которых я поручился бы.

— Ты вел с ними разговор?

— Так, что называется, предварительно. Но каждый может спросить: есть ли указание? Организован ли центр?

— Центр будет, мы его создадим. Но пока что нужно распознать основательно каждого человека. Если в голове у него не совсем помутилось, если он способен выслушать здравое мнение, надо установить с ним связь... Не всех включим потом, но самых надежных, самых настойчивых.

Гуго продолжал курить. Затем, вынув изо рта папиросу, сказал:

— Я слышал, у Шварцкопфа в двух или трех цехах кое-что делается и группы уже подбираются.

— Да? — с непроницаемым видом переспросил Либкнехт.— У Шварцкопфа? Это надо будет уточнить. У меня есть кое-какие сведения насчет АЭГ, но тоже надо проверить.

Он, побывавший уже не раз на заводах Шварцкопфа и Всеобщей электрической компании, АЭГ, не вправе был говорить даже своему давнему другу, товарищу, который вел за него агитацию, когда его выбирали в прусский ландтаг, что ему известно не только это. Железный конспиратор Лео Иогихес ставит свои условия: он требует строжайшего соблюдения правил подпольного существования. Еще центр не создан окончательно, а Лео уже на страже конспирации и самое малое отклонение от нее называет непростительным промахом.

Либкнехт и Роза признали его авторитет. Он иной раз передает то одному, то другому — и не сам, а через посыльных, у него уже появились связные,— куда надо пойти, где можно если не выступить, то хотя бы провести

в узком кругу беседу, попробовать разъяснить, какое преступление совершили правые и центристы — Шейдеман, Эберт, Каутский, Давид, Легин, эти рассудительные искушенные вожаки, авторитет которых не только не поколеблен, но стал, наоборот, в эти дни еще выше. Легин стоит во главе профсоюзов. День и ночь он внушает пролетариям через своих людей, функционеров, тех, кто из года в год избирается на одни и те же посты, что слова «защитник отечества» и «рабочий» означают одно и то же. Тот, кто трудится у станка, кто вытачивает гильзы для снарядов, начиняет гранаты, готовит разрывные пули дум-дум, тот и есть патриот, спасающий родину от захватчиков, царских солдат, а Россию — от душителей ее свободы.

Роза и Либкнехт появляются то в одном месте, то в другом — если их заранее предупредят, что туда удастся проникнуть,— и со страстью или с сарказмом, действуя на сознание или стараясь пробудить голос классовой чести, доказывают, что доверчивость рабочих и привычка следовать за вожаками сыграли с ними очень недобрую шутку. Рабочий Германии стал жертвой грубого надувательства.

XX

Среди социал-демократов находилось немало мастеров пышной фразы. На собраниях в цеху, или в рабочем клубе, или даже в воинской части они старались своими речами поднять патриотизм и веру в вождей.

Слушали их внимательно, доверие к ним пока что подорвано не было. В ответ на призывы работать как можно лучше, давать фронту все, что он потребует, раздавались аплодисменты.

Но случались и неприятные срывы: вместо выкриков одобрения звучала насмешка.

Один доброхот-оратор прибыл к новобранцам с тем,

чтобы поднять их воинский дух. Германия, стал он доказывать, вынуждена обороняться, она борется за свое спасение, немецкий народ един в своих чувствах. И они, молодежь, которой выпала честь защищать родину на полях сражений...

Почтенный докладчик стоял на возвышении. Он положил на стул свой котелок, снял кашне и энергично размахивал руками. Голос у него был теноровый, жесты патетические, а чувства высоко гражданские.

Но вот с одной из скамеек, на которых рассадили воинскую часть, послышался иронический голос:

— Сами-то вы побывали там?

— То есть где?

Несколько сбитый со своей мысли, оратор остановился.

— Там, где летают пули,— пояснили ему.

— Я депутат народа и по своему положению...

— Вот и валяйте представлять народ там, где вам будет сподручнее!

В казарме поднялся шум, новобранцы стали громко смеяться. Унять их оказалось непросто.

Оратор озабоченно посмотрел по сторонам. Не впервые было ему выступать перед солдатами: обычно слушали молча, а потом расходились под командой фельдфебелей. А тут какие-то отчаянные собрались, что ли: на него посматривали слишком уж дерзко.

Они и впрямь, подобно штутгартцам, были из числа тех, кто в первые дни войны ждал команды к неповиновению. Во всяком случае, несколько человек в батальоне попалось таких. Они и сейчас еще не теряли надежды услышать наконец обличительный здравый голос. А тут субъект в котелке, назвавший себя выразителем воли рабочих, пытался вбить им в голову, будто их долг — защищать отечество.

Оратор старался изо всех сил. Он два раза вспоминал уже, что своих сыновей, славных ребят,— один учился в

политехникуме, а другой в институте права — отдал армии. Но и это не произвело впечатления на новобранцев.

— Теперь ваша очередь, господин докладчик! — крикнули ему.— Отправляйтесь-ка сами!

Его перебивали самым невежливым образом. Но этого мало — фельдфебели, вместо того чтобы наводить порядок, забавлялись сами. Это было написано на их физиономиях.

А потом несколько сорванцов, перемигнувшись, засунули пальцы в рот и пронзительно свистнули.

Социал-демократ совсем вышел из себя.

— Я рассчитывал встретить здесь немцев, преданных своей родине! — закричал он высоким голосом.— Я много лет в партии и всегда защищал дело рабочего класса. Но когда вопрос стал о самозащите...

Свист и выкрики опять потрясли казарму. Депутат посмотрел на эту солдатскую ораву, безнадежно махнул рукой и спустился с возвышения.

Фельдфебели, проводившие его, вернулись в казарму; один из них подмигнул солдатам.

— Придется наказать вас, ребята: неопытны — раз, а второе — не хватает ума. А ну, все на плац!

Рота замаршировала на плацу перед казармой, выполняя, сверх положенного, упражнения в беге и ползании на животе.

Истории, подобные этой, случались не часто; однако случались. Значит, оставалось в народе горючее, способное если не разгореться пламенем, то хотя бы тлеть и слабо дымить.

Бывало, перед продовольственной лавкой женщины, разозленные ожиданием и нехваткой продуктов, начинали кричать и угрожать. Подходил шуцман и требовал, чтобы все разошлись.

— Да побыстрее, вас ждут дома дети!

— С чем я приду?! — кричала женщина, перед носом которой он строго водил своим толстым жезлом.— Вы вот, герр шуцман, стоите здесь на посту, а мой хозяин там — пиф-паф, пиф-паф!

— Каждый выполняет то, что ему предписано. А ну, расходитесь, а то приму строгие меры!

Оттолкнув женщин, он сам входил внутрь лавки, чтобы разобраться в причине задержки. Толпа женщин ждала.

Шуцман появлялся вновь и, точно перед ним дети, говорил:

— Ну, к чему было скандалить! Продукты, слава богу, есть, только продавцы не справляются — двоих забрали на прошлой неделе в армию. Ничего не поняли, а шумите! Против кого? Против лавочника! А он такой же труженик, как и вы. Ему надо делать свой оборот, а рук не хватает.

Значения этих маленьких вспышек не следовало переоценивать. Народ продолжал по-прежнему верить в победу и готов был приносить свои жертвы.

XXI

Партия социал-демократов приспосабливалась к своей новой государственной роли. Канцлер, которого социалисты прежде с трибуны рейхстага жестоко критиковали, показал себя в эти дни человеком, достойным доверия. Соображения вчерашних противников он выслушивал очень внимательно, а кое-что из их поправок включал в свои речи.

Осторожность и вдумчивость Бетман-Гольвега пришлись особенно по душе Шейдеману. Сам нескорый на решения, он сумел оценить в канцлере эту черту. Пришла пора деловой работы, а не деклараций, и следовало воздать имперскому руководителю должное.

— Германии повезло,— говорил Шейдеман коллегам.— В эти кризисные дни во главе ее стоит не господин Бюлов с его реакционным апломбом, а человек умеренный, способный считаться с другими.

Курьер рейхсканцелярии зачастил теперь к Шейдеману — то с извещением, то с приглашением. Вручая их, курьер желал господину депутату всего самого лучшего.

Иной раз, уславливаясь с кем-либо о свидании, Шейдеман со скромной деловитостью пояснял:

— Завтра никак не смогу, к сожалению. Встреча с канцлером.

Высокий, седой и почтенный Бетман-Гольвег в самом деле умел выслушивать собеседников. Условия классового мира он выполнял добросовестно и представителей социал-демократии старался приблизить к делам большой важности.

Выслушав в свою очередь его доводы, Шейдеман, или Гаазе, или Эберт говорили:

— В целом тезисы ваши приемлемы, но вот по пункту третьему нам придется занять позицию негативную.

— Какие же возражения собирается выдвинуть ваша фракция?

Чаще всего привилегия полемики предоставлялась Шейдеману.

— Сформулировать сразу трудно, но — я думаю, коллеги со мной согласятся — возражения наши будут выглядеть примерно так...

Социалисты были уверены, что позиции своей партии защищают с должным упорством. Совместная работа с правительством приводила ко все большему пониманию с той и другой стороны.

Возникла в отношениях доверительность. Так, однажды, провожая Шейдемана до дверей своего кабинета, канцлер заметил:

— Вам не кажется, что ваши левые ведут работу э-э... подрывного характера?

— Кого вы имеете в виду?

— Вы понимаете, я думаю, сами, о ком речь.

— Нет, мне, господин канцлер, не кажется.

Это прозвучало сухо и несколько даже отчужденно. Шейдеман с удовлетворением подумал, что достоинства социалиста не уронил. Мало того, он задал встречный вопрос:

— А вам, господин канцлер, известно, что полиция продолжает прежнюю линию по отношению к нашей партии? Рабочий класс несет тяжелые жертвы, работает с величайшим напряжением сил, а полиция ведет слежку, проводит обыски.

Разговор возник как будто случайно, уже на пороге кабинета. Тем не менее канцлер от объяснения не уклонился.

— Я этих действий не одобряю, господин Шейдеман. Если самоуправство имело кое-где место, я постараюсь пресечь его.

Кого имел в виду Бетман-Гольвег, заговорив о левых, Шейдеман знал, но обязанностью социалиста счел защитить депутата от нападок правительства.

Другое дело — его личное отношение к тому, что творили левые. То, что некоторые господа, считавшие себя социалистами, пытались свести на нет работу, которую проводит партия в дни войны, казалось циничным и очень вредным. Они защищают рабочих? Представляют их интересы? Это кто же — Карл Либкнехт, потомственный интеллигент, претендует на лучшее понимание классовых интересов, чем он, бывший наборщик Шейдеман? Или эта то ли полька, то ли немка Роза Люксембург?

Эти левые господа собираются тайком, вырабатывают формулы сопротивления, проникают любым путем на собрания и стараются сбить с толку рабочих.

Форштанд молчит до поры до времени. Но рано или поздно будет принужден ударить по тем, кто вставляет палки в колеса. Надо быть слепыми, чтобы не видеть, как вырос авторитет социалистов. К их голосу прислушиваются теперь не только рабочие, но и вся страна.

Так думал Филипп Шейдеман, возвращаясь от канцлера. Да, без конца так продолжаться не может. Придется однажды сказать им прямо: «Вы сами этого добивались! Вы наносили вред государству, не считаясь с тем, что оно защищает немецкий народ. Что поделаешь, господа: придется платить по счету. Если вас изолируют, пеняйте на себя!»

Они, как назло, приближали этот час сами. Донесения о том, что Карл Либкнехт держал речь то здесь, то там, поступали все чаще. Он же не мальчик, в конце концов: сорок три года и достаточный опыт политической жизни. Копает яму, в которую хотел бы свалить режим кайзера, не понимая, что это всего лишь жалкая нора.

Дома в обществе коллег Шейдеман не стеснялся в выражениях.

— Тут не мальчишество, нет: мы имеем дело с вреднейшими господами!

Если собеседником бывал Носке, он слушал с особенным одобрением. Долговязый, слегка сутулый, но с очень хорошей мускулатурой, этот бывший лесоруб, а затем журналист был сторонником прямых действий.

— Уж я бы этим молодчикам показал, что́ значат подрывные акты во время войны!

— Что бы ты сделал, к примеру?

— Нашлась бы на них управа. Только подумать: хромоножка и близорукий болтун, лезущий в Робеспьеры! Только послушал бы, что́ они говорят! Но ничего, спуску им не дают, мне известно.

— Что тебе известно?

— О-о, многое. Как вспомню, с каким терпением мы

слушали Либкнехта перед голосованием, у меня кулаки сжимаются. Все решают теперь винтовка и пулемет, а им позволяют распространять свои подлые взгляды!

— Ты, Густав, неправ. Вводить единство с помощью пулеметов партия не может. Мы действуем убеждением.

Отколов кусочек сахару, Носке отпивал чай из стакана. Движения были у него решительные и резкие: казалось, сахар искрошится в его крепких руках. Сделав глоток-другой — слышно было, как булькает в горле,— он говорил:

— Филипп, я человек дела. Пусть только партия прикажет, и я в два счета расправлюсь с нашими робеспьерами.

— Ты слишком горяч,— задумчиво говорил Шейдеман.

— Нет, когда доходит до дела, я, наоборот, хладнокровен и бью наверняка.

Шейдеман покачал головой:

— Доводить до крайностей нежелательно.

Носке встал из-за стола и сунул ему свою жилистую руку.

— Ждите, что же. Они еще поднесут вам такое, что вы все ахнете. Но помните, я предупреждал!

Он удалился, сутулый, высокий и какой-то зловещий.

XXII

Пришла зима, первая военная зима. Берлин выглядел почти так же, как в прошлые годы: серый, сумрачный и надменный. Гремел трамвай, автомобили оглашали улицы выхлопами газа, пролетки и экипажи с нарядными кучерами проносились по главным улицам; гудели, проходя по мосту, вагоны городской железной дороги.

В магазинах были выставлены елки, увешанные игрушками. Витрины Вертхайма светились то огненно-красным, то зеленым, то сиреневато-голубым светом.

Как ни старалась столица показать, будто с прошлой зимы мало что изменилось, признаки лишений давали себя знать: то, напрасно прождав, расходилась очередь возле мясной лавки, то на дверях другой лавки находили записку: «Сахара сегодня не будет» или: «Масла нет».

Можно было, собираясь на рынок или к мяснику, пересчитывать по нескольку раз марки и пфенниги; но, чтобы нельзя было достать то, что тебе по средствам, этого прежде не бывало. Кроме того, все чаще случалось, что лавочник объявлял старым клиентам:

— Я вынужден повысить цену на свинину и масло. Мне самому неприятно, но что поделаешь: посредники, мои постоянные поставщики, так и норовят набить себе карманы.

В очередях за углем можно было услышать разговоры, какие прежде и во сне никому не снились. Пиво и то не всегда можно было получить в пивных, куда рабочий любил заходить по пути домой или с товарищем вечером.

Хотя владельцы больших магазинов старались создать видимость, будто одерживающая победы Германия живет прежней обеспеченной жизнью, но стоило с центральных улиц углубиться в боковые, послушать, о чем толкуют в очередях, как возникала иная картина.

Да и одерживала ли Германия победы, которых так ждали?

Еще шестого сентября «Форвертс» вышел с крупной шапкой на первой полосе: «Немецкая кавалерия вблизи Парижа! Французское правительство покидает столицу!» Это взбудоражило всех, подействовало возбуждающе, заставило ждать быстрой развязки.

Теперь больше сенсаций не было. Немцы поняли, что надежд на молниеносный исход войны не осталось и впереди долгие месяцы испытаний.

Поток раненых возрастал. Прежде вид молодых девиц в белых косынках умилял: в облике медицинских сестер



было что-то от немецкой миловидной добродетели, соединенной с чувством долга. Но то ли примелькались девушки в белых косынках, то ли лица у них стали слишком усталые... Когда всю ночь участвуешь в операциях, когда при тебе зашивают брюшную полость, а в тазах и ведрах выносят ампутированные конечности, как с залитого кровью скотного двора, особенно бодрой себя не почувствуешь.

Да и сами раненые переменились: все больше стало прибывать хмурых, угрюмых, полных скрытого недовольства.

О таких вещах не принято было говорить. Но противники войны использовали в своей агитации и это.

Либкнехт был из их числа, разумеется. На какое бы собрание он ни проник, сразу заводил разговор о бедствиях войны. Точно немцы сами накликали ее на себя! Он говорил о страданиях женщин, теряющих своих сыновей и мужей, о напрасных жертвах, которые не принесут стране ничего, кроме несчастья; говорил, что весь социальный порядок, рождающий войны, должен быть изменен.

Аудитория затихала, пожилые рабочие прикладывали к уху ладонь и старались не пропустить того самого важного, что непременно скажет Либкнехт.

Его выступления, впрочем, приходились по вкусу не всем. То, к чему призывал Либкнехт, означало, что привычный уклад жизни будет сломан. Конечно, война изменила многое, так на то она и война. А что молодые проливают на фронте кровь, так это повелось с незапамятных времен: раз у страны есть враги, от них приходится защищаться.

Но страстные речи Либкнехта были так убедительны, в них было столько правды, что они поневоле возбуждали.

— Карл правильно говорит! — слышались голоса с мест.— Так и есть, это верно!

Если в другом углу начинали шикать, реплики в его пользу становились еще энергичнее.

— Говорить нетрудно, а вот с винтовкой повоевать — дело другое,— слышался иногда скептический голос.

— Можете быть спокойны, друзья,— откликался Либкнехт на подобные возражения,— это никого не минет: ни тех, кого я здесь вижу, ни вашего покорного слугу.

— Э-э, нет, депутата рейхстага не тронут!

— И до депутатов доберутся, особенно до таких, которые им неугодны. Война — большой паровой котел, в который надо все время подбрасывать топливо. Он пожирает эшелоны угля, поленницы дров. Речь идет, вы должны это осознать, о жизни нескольких поколений. Имейте в виду, наш кайзер горяч и за издержками не постоит. Я напомню вам фразу, которую он произнес много лет назад.— Либкнехт порылся в своей книжечке, чтобы не было сомнений в точности, хотя отлично помнил цитату.— Вот она: «Лучше,— заявил кайзер,— положить на месте все восемнадцать корпусов немецкой армии и сорок два миллиона немецкого народа, чем отказаться от какой-либо части территориальных приобретений Германии». Вот каков он! А платить приходится вам!

Возникало волнение. Профсоюзные функционеры требовали, чтобы Либкнехт покинул трибуну, угрожали, что выведут его. Но большая часть зала кричала, чтобы ему не затыкали рот, пускай говорит до конца, тем более что все — истинная правда.

Он не уступал трибуны. Своим сильным голосом он в состоянии был перекричать всех. И зал вновь замолкал, загипнотизированный его словами. Затем функционеры, спохватившись, начинали кричать:

— Долой! Хватит! Не давать ему слова!

В помещение врывалась полиция и начинала выталки-

вать всех вон. Собрание объявлялось закрытым. А Либкнехт до последней минуты продолжал говорить.

Таким же магнетическим влиянием на слушателей обладала и Роза Люксембург с ее беспощадной логикой и умением представить противника в самом неприглядном виде.

А старая Клара Цеткин, появлявшаяся то в Штутгарте, то в Берлине, то в Дрездене и бесподобно владевшая женской аудиторией? Работницы, пожилые матери слушали ее, затаив дыхание.

А профессорского вида, сдержанный Франц Меринг? Словно он научное сообщение делал, хотя на самом деле тоже громил политику правых социалистов.

Вот какие опасные люди развращали немцев! И так продолжалось уже почти четыре месяца.

В добавление ко всему, как будто решив взорвать терпение властей, Либкнехт повел себя возмутительно и в рейхстаге.

XXIII

Прошло уже около четырех месяцев после начала войны. Суммы, которые рейхстаг утвердил четвертого августа, были исчерпаны. Когда ведется война таких масштабов и нужно отливать пушки, начинять бомбы взрывчаткой, делать мины, снаряды, патроны, когда приходится кормить и одевать миллионы солдат, необходимы все новые ассигнования.

Уже в первые недели кампании удалось заманить два русских корпуса в ловушку у Мазурских озер и почти полностью уничтожить. Своим неудачно закончившимся наступлением Россия сумела все же сорвать прыжок немцев к Парижу и тем самым выручила союзников.

Война приобретала такие небывалые масштабы, что отказывать стране в кредитах значило бы идти против

нее. Можно было не сомневаться, что рейхстаг утвердит новые ассигнования.

Но стоило собрать социал-демократическую фракцию и поставить вопрос о кредитах, как Либкнехт, зловеще блеснув пенсне, объявил, что будет голосовать *против* них.

— Как это понять? — Плотный, низкий, с мясистым лицом и небольшими, настороженными глазами Эберт посмотрел на него неприязненно.— Дисциплинированный член партии намерен повести себя вразрез с общей линией?

— Если совесть и разум не подсказывают вам, кому вы служите в эти дни, мой долг — высказать это прямо! Вы играете нá руку классовому врагу!

В комнате заседаний поднялся сильный шум.

— Опять он нас учит! Мальчишество какое-то, ослиное упрямство!

Один депутат, подбежав к двери, закрыл ее плотнее, чтобы фракционный скандал не просочился в кулуары рейхстага. Несколько депутатов кричали, что давно пора лишить Либкнехта права позорить партию.

Он стоял неподвижно, с поднятой головой. Свое решение он обдумал давно.

— Кто же позволит вам выступить в такой роли? — спросил Эберт враждебно.

— Понятие общественной совести не упразднено ведь: именно она не позволяет мне промолчать.

— А о последствиях для себя вы подумали?

— За свои действия я готов отвечать.

Больше Эберт не пытался остановить депутатов, охваченных яростью.

— Можете быть уверены,— зычно произнес он,— позорить честь германской социал-демократии мы вам не позволим!

— Вы опозорили ее сами, проголосовав за эту захватническую войну!

— Довольно, не хотим больше слушать! Удалите его!

Он досидел до конца, окруженный всеобщим ожесточением, и поднялся с места не раньше, чем остальные.

Он выходил, как отверженный, как изгой, но высоко подняв голову, не боясь встретиться взглядом с недавними коллегами.

Эти его коллеги бурно приветствовали Либкнехта полтора года назад, когда он в рейхстаге разоблачил предательскую деятельность Круппа, снабжавшего оружием не только Германию, но и возможных ее противников. Они, коллеги, восхищались эффектом его разоблачений — кое-кто из важных чиновников был убран. Тогда коллеги по фракции заявляли себя убежденными антимилитаристами.

Теперь карты в игре раскрыты, истинное лицо этих антимилитаристов обнажено.

Либкнехт не замечал царившей на улицах толчеи, не понимал, холодно ему или нет. Был декабрь, первое декабря, день выдался холодный.

Только дома, разматывая шарф и снимая пальто, он почувствовал зябкость. Когда Верочка, подскочив, повисла у него на шее, он рассеянно расцепил ее руки и поставил на пол. Девочка подпрыгнула и опять повисла на нем. Тогда отец донес ее до столовой.

Она наконец заметила, что он озабочен, и с тревожной пытливостью взглянула на него.

Соне тоже бросилось в глаза, что Карл не в себе.

— Что-нибудь случилось?

— В общем то, что давно назревало.

— Рассорился с ними?

— Вернее сказать, разругался.

В присутствии детей он не стал ничего больше рассказывать. Лучше им не знать, каким оскорблениям подвергают отца. Да и рано им разбираться в сложностях политической жизни.

Но и позже, когда в кабинете Соня стала расспрашивать обо всем, разговор не получился. Вспоминать, кто и что говорил, было просто противно.

Завтра пленарное заседание. Ка́к вести себя, он решил давно.

Соня озабоченно спросила, написал ли он то, что намерен сказать?

— По-твоему, лучше иметь в написанном виде?

— Тебе же могут не дать слова!

Он думал об этом сам. Но, высказанная вслух, мысль эта привела Либкнехта в негодование.

— То есть как не дать?! Я депутат, и никто не лишал меня моих прав!

— И такую бомбу, такую торпеду они не перехватят?! Дадут ей взорваться?!

Зоркость Сони насторожила его. Лучше, когда политику делают мужские сильные руки, способные отшвырнуть в сторону грязь... Да, но Роза, но Клара Цеткин? Разве руки у них недостаточно энергичные? Разве они не отшвыривают от себя все мерзости политической жизни?!

Карлу — он сознавал свою непоследовательность — захотелось, чтобы Соня к этому не прикасалась. Все, что надо написать, он напишет; что можно будет произнести — произнесет.

— Не будем, милая, предугадывать хода событий,— сказал он мягко.

— Да?..— В голосе ее прозвучало сомнение.

Неужто же она не уверена в нем? Разве он недостаточно закален? Мало он выиграл битв?!

— Моих сил хватит на них, Сонюшка, поверь.

И тут Либкнехт получил наконец то, чего жаждало его сердце. Слово горячей поддержки необходимо каждому. Опустив глаза и тихонько постукивая пальцами по столу, он слушал добрые слова жены.

За столом при детях отец выглядел оживленным и

даже шутил. Накладывая еду в тарелки, Соня украдкой посматривала на него. В атмосфере веселой шумной семьи тревога как бы распылилась. Живя с большим человеком, вовсе не ощущаешь любой его шаг как исторический. В семье все, до некоторой степени, выравнивается и получает очертания более простые.

Дети и не догадывались, какой шквал предстоит выдержать завтра отцу. Соня тоже старалась казаться, как обычно, уравновешенной и спокойной.

XXIV

Но шаг Либкнехта ворвался в историю уже в ту минуту, когда на следующий день, заняв свое место в рейхстаге, кивнув соседям и не обращая внимания на то, кто ответил, а кто умышленно не заметил кивка, он прислонился к спинке сиденья и немного зажмурил глаза.

Заседание началось гладко, все было предусмотрено наперед. За кредитами, которые испрашивало правительство, не видно было ни пушек, ни изуродованных солдат, ни уничтоженных городов. Реальный образ войны не возникал перед взором депутатов.

Либкнехт, проработавший над своим заявлением до глубокой ночи, знал его почти наизусть. Вообще речи его всегда выливались свободно, и в написанное он не заглядывал.

Уже во время выступления Бетман-Гольвега, который ровным голосом дидакта обосновывал надобность в новых кредитах, Либкнехт подумал: то, что написанный текст при нем, хорошо, он готов встретить любую провокацию; а провокация неминуема. Слова ему не дадут, все говорило об этом: педантичный вид оратора, представлявшего собою и живую личность, и окаменелый символ императорской власти, холодные, отчужденные лица депутатов. Атмосфера прусcаческой официозности настолько проти-

востояла всему, что его наполняло, что Либкнехт почувствовал себя начисто чужим.

Председатель рейхстага доктор Кемпф, плотный и деловитый, немногословный, как председателю и надлежало, поблагодарил канцлера, когда тот закончил. Послышались холодно вежливые аплодисменты. Энтузиазма не было, да его никто и не ждал.

— Я думаю,— обратился Кемпф к депутатам,— мы не станем перегружать заседание, учитывая его представительный характер и дух единства, сплотивший всех. Сколько времени предоставим ораторам?

Споров по этому поводу не возникло. Представители фракций, выходя на трибуну, заявляли о своем согласии с декларацией канцлера. Речи лились плавно — у одного темпераментнее, у другого суше, но каждый обосновывал позицию поддержки правительства.

Социал-демократы не составили исключения. К трибуне прошел приземистый, с большой головой, словно выраставшей прямо из плеч, Фридрих Эберт. Он был портняжного рода, предок его сидел с иглой в руках, а потом распоряжался в своей мастерской.

И во- сын гейдельбергского портного из примерной католической семьи удостоился чести представлять партию рабочего класса.

Он не был оратором по призванию и считал себя скорее мастером коротких, к месту сказанных реплик, чем речей.

Оглядев ряды своими небольшими, немного навыкате глазами, откашлявшись, Эберт произнес приблизительно следующее:

— С первого дня ужасной войны мы, верные духу немецких рабочих, признавая, что речь идет о будущем нашей родины, уверенные в ее праве на самозащиту ввиду вероломного на нее нападения, постановили отдать свои силы для спасения страны. Утвердив кредиты в начале

этой оборонительной войны, мы считаем своим долгом оказать поддержку правительству и в данном случае. Война находится на той стадии, когда потребуются еще большие жертвы от нации. Моя фракция убеждена, что жертвы эти неизбежны. Мы твердо верим, что немецкий народ рано или поздно получит за них полное возмещение.

Он произнес свою речь невыразительным ровным голосом, лишь время от времени приподымая плечо, как будто подсаживал кого-то. Солидность облика соединялась в нем с обыденностью. В рейхстаге, где заседали представители крупного капитала, земельная аристократия, профессора, ученые, экономисты, такой депутат с простоватой внешностью самим своим видом подчеркивал, сколь широка представительность германского парламента. Слова Эберта веско падали на почву единства. Даже депутаты правых фракций воспринимали их с повышенным вниманием.

Не меньшее внимание можно было прочитать и в глазах Либкнехта. Он словно силился постичь эту заурядность, объяснить себе происхождение этой беспринципности и политической пошлости. Шаг за шагом рисовал себе Либкнехт продвижение Эберта по пути филистерства.

Председатель Кемпф счел уместным отметить выступление социал-демократа. Поднявшись, он произнес с чувством:

— Благодарю вас. В трудном положении нашей страны самое радостное заключается в том, что все классы и группы общества едины.

Эберт спустился с трибуны под аплодисменты более оживленные на этот раз: правые и центр продемонстрировали свое одобрение позиции социалистов.

Кемпф собирался уже подвести итоги дебатам, когда с места поднялся Либкнехт. Он сказал, что у него есть особое заявление.

— Какие там еще заявления! — послышались раздраженные голоса.— Их фракция изложила уже свою позицию!

Либкнехт громко возразил:

— Но у меня она иная, имею же я право обосновать ее!

— Разве она так сильно отличается от только что высказанной? — спросил Кемпф.

— Разумеется! — И он вынул из кармана текст своей речи.

Шум в зале не позволил ему говорить. Крики неслись отовсюду. Нескладная фигура Носке возвышалась над всеми.

— Никого он тут не представляет!

Другие коллеги по фракции тоже выкрикивали что-то. Но Либкнехту удалось пересилить стоявший в зале разноголосый шум.

— Я представляю тут, господа, тех, кто облек меня доверием и послал сюда в качестве депутата, и я имею право выразить свою точку зрения!

— Долой, долой! Ни к чему его слушать!

Кемпф изо всех сил старался унять зал, и это удалось ему после долгих усилий.

— Поскольку это *ваша* точка зрения, господин Либкнехт, мы и можем рассмотреть ее в качестве вашей лично. Ведь вы не представляете отдельную фракцию?

— Нет, нет, его никто не уполномочил! Долой!

— Я уже вам объяснил, что, выражая волю моих избирателей, имею право обосновать свою позицию.

— Благоволите представить ее в письменном виде.

Зал на мгновение затих. Но стоило Либкнехту с прежней непреклонностью повторить, что он требует для себя именно слова, как на местах социал-демократов разразилась буря: кричали, стучали кулаками по пюпитрам, требовали, чтобы он замолчал.

Правым скандал понравился, хотя он и нарушил представительность заседания: верх взяла давняя вражда к социалистам.

Не обращая внимания на шум, Либкнехт пошел к трибуне. Кемпф протянул руку, полагая, что тот передаст ему свое особое мнение. Но Либкнехт попробовал говорить: несколько раз начинал, однако неистовый шум заглушал его голос. А Кемпф без конца повторял, что депутат Либкнехт не имеет слова.

Зал опустился до самого низкого уровня парламентской пристойности, страсти кипели в нем, не удерживаемые ничем.

Убедившись, что говорить ему не удастся, Либкнехт протянул наконец заявление. Кемпф принял из его рук бумагу и умышленно небрежным движением оттолкнул от себя.

После всего этого ввести работу сессии в прежнее русло было уже невозможно. Кемпф встал и дождался относительной тишины.

— Разумеется, следует осудить то, что в атмосферу нашего единства ворвался совершенно посторонний голос.

— С этим надо покончить! Позор! — раздались возмущенные голоса.— Он роняет рейхстаг в глазах всего мира!

Кемпф старался успокоительными жестами призвать зал к большей сдержанности.

— ...Я говорю: голос совершенно посторонний. Следует думать, что худшей услуги своим избирателям депутат Либкнехт не мог оказать.

— Правильно! Верно! Отозвать его!

Оставалось лишь сгладить конец заседания, вернуть ему благообразие. Кемпф произнес несколько успокоительных фраз, затем рейхстаг перешел к голосованию.

— Кто за то, чтобы утвердить испрашиваемые имперским правительством кредиты? Прошу голосовать.

Поднялось море рук.

— Есть кто-либо против? — Он тревожно посмотрел в глубину зала.

Поднялась одна рука — Карла Либкнехта. Он осмелился нарушить единство власти с представителями нации.

...Либкнехт выходил из зала еще более отверженный, чем после вчерашнего заседания фракции, но с сознанием значительности того, что сделал.

XXV

Берлин жил обычной жизнью. Проносились щегольские экипажи с отличными одномастными лошадьми и разодетыми кучерами. Из магазинов валил народ, витрины были разукрашены, все бо́льшая оживленность ощущалась в преддверии праздников.

Берлин жил жизнью столицы. Армия, продолжая войну, теснила противника на всех направлениях. Хотя кровопролитная битва на Марне не принесла того, что ожидалось всеми, французы пережили тяжелые, полные драматизма недели. Можно было не сомневаться: организованность и выносливость рано или поздно приведут немцев к победе. Жертв пока не считали — еще не пришел срок. С верой в руководителей каждый на своем месте выполнял патриотический долг.

И в это время нашелся человек, решивший взорвать единство народа! С высокой трибуны он выдвинул чуть не лозунги поражения!

На внеочередном заседании фракции депутат Гох заявил:

— Мои сыновья проливают на фронте кровь, а этот субъект отказывает нам в кредитах! Значит, мои сыновья должны остаться безоружными перед лицом врага?! Я отказываюсь считать себя в одной фракции с ним!

— Кто же согласится сидеть с ним рядом?! Никто!

Фридрих Эберт рассудительно заметил, что передовая партия не может руководствоваться чувствами, даже если они обоснованны.

— Но он пренебрег дисциплиной, и с этим партия должна посчитаться. Как ты полагаешь, Филипп? — обратился он к Шейдеману.

— Удалить его, прогнать вон! — выкрикнул Носке.

Шейдеман отозвался спокойнее:

— Фридрих прав, когда говорит о разуме партии, опираться на чувства мы не можем.

— Значит, и дальше терпеть его в наших рядах?! — запальчиво произнес Носке.— Противника, который даже не скрывает, что он наш противник!

— Так вопроса никто не ставит,— возразил Шейдеман.— Товарищ Эберт говорил лишь о благоразумии.

После того как накал споров несколько поубавился, решено было поступить с Либкнехтом так, чтобы потом не было повода для придирок. Трем членам фракции поручили продумать вопрос как следует и представить свои предложения.

— Лишних несколько дней не играют роли,— успокоил всех Эберт.— Важно найти решение, с которым согласились бы и депутаты, и рядовые члены партии. Имейте в виду, его влияние на рабочих пока не подорвано. Это на́ша задача — ослабить его, насколько будет возможно.

XXVI

Слухи о том, что Либкнехт один на один выступил против воюющей Германии, прорвались сквозь все заграждения. Вызов, брошенный им, замолчать не удалось. Газеты поместили сообщения о депутате, осмелившемся противопоставить себя всем.

На следующий день он начал уже получать письма. В одних его благодарили за мужество и отвагу, в других

выражали презрение. Нашлись такие, кто посоветовал ему покинуть Германию: пускай, раз не чувствует себя сыном своей страны, уедет — в Россию или даже в Японию.

Но во многих откликах, приходивших из Германии, Швейцарии, Дании, Голландии, смелый шаг Либкнехта приветствовали горячо.

Группа социалисток Голландии написала: «За ваш поступок, за ваше мужество — спасибо вам. Мы вновь услышали голос Интернационала. Мы знаем, что он живет. Тысячам и тысячам пролетариев всех стран вы дали новую надежду».

Клара Цеткин почувствовала потребность пожать ему руку и высказать свою великую радость: он, Карл, поступил как достойный сын своего отца, незабываемого «солдата революции».

Социал-демократическая молодежь из Копенгагена приветствовала его, первого президента юношеского Интернационала. «С радостью будем следовать вашему примеру»,— сообщили датчане.

Старый социал-демократ из Альтоны, вышедший из партии в знак протеста против ее политического банкротства, написал, что за ним, Либкнехтом, стоит весь немецкий народ.

Другой социал-демократ сообщил, что испытывает радость и бодрость при сознании, что «среди хаоса и политических кастратов наших дней все же есть подлинная мятежная душа».

Резолюции солидарности с Либкнехтом шли из социал-демократических организаций Берлина, Штутгарта, Дрездена, Галле и других городов. В оцепенелую напряженность войны ворвались неслыханно свежие голоса человечности и надежды.

Весть о непроизнесенном выступлении Либкнехта, о том, что он сказал «нет!» войне, распространялась все шире. До сих пор в стране звучали голоса Шейдемана,

Эберта, Каутского, Гаазе, Легина, Давида: эти социалисты, признав войну свершившимся фактом, призывали немцев содействовать ее победному окончанию.

Голос Либкнехта проник и в лазареты к раненым. Слова его передавали друг другу шепотом.

Нашелся смельчак, публично осудивший бойню. Возникла точка, вокруг которой мог формироваться кристалл. Кристалл начал расти.

...Из перевязочной на минуту вышла сестра. Два солдата, один с забинтованной ногой, другой с повязкой на спине, остались наедине. Они уже два-три дня присматривались друг к другу и даже обменялись несколькими словами. Оба смотрели на происходящее не слишком радужно.

Солдат, раненный в ногу, мрачно заметил:

— Сколько крику было о том, что рабочие должны объявить войну войне! А на поверку вышла одна болтовня!

— Может, это нам с тобою не видно,— заметил осторожно второй,— а руководители знают, в чем дело? Знают побольше нас?

— Ну, а мне что от их знания? Мы с тобой в темноте!

— Это верно.

— А воевать пришлось нам, и пулю вогнали в нас.

— Тоже верно,— согласился второй.— Тебя как звать-то?

— Кнорре... А ты?

— А меня зовут Гольц. Значит, будем знакомы.

Прошло немного времени. И вот дошел до них слух, будто депутат Либкнехт обвинил рейхстаг в том, что он обманывает народ и бесцельно гонит людей на смерть.

Опираясь на костыль, Кнорре стоял возле окна и наблюдал, как выгружают во дворе новую партию раненых. Санитары с носилками ловко вытаскивали их одного за

другим и относили в госпиталь. Одна машина отходила, за нею под разгрузку становилась следующая.

— Наша лавочка пустовать не будет,— мрачно заметил Кнорре.— Работают, можно сказать, на совесть.

— Этого товару много,— согласился Гольц.— Приходится шевелиться.

— И перемалывают нашего брата хорошо. Ты сколько времени воевал?

— Недель пять, не больше.

— А я еще меньше. Одних увозят, зато других подбрасывают, чтобы жернова не стояли.

Вдоволь насмотревшись, Кнорре, с густыми темными бровями на жестко очерченном лице, заметил, не глядя на соседа:

— А один все ж таки сказал об этом во всеуслышание.

— Что сказал?

— То, что думаем мы с тобой.

Гольц осмотрительно возразил:

— Про то, что думаю я, у нас с тобой разговору не было.

— Да уж действительно, нельзя догадаться...

Впрочем, потом они признались друг другу, что давно уже не верят тому, что пишут о войне в газетах. Кроме того, они слышали, что в госпитале в Льеже работает врачом брат депутата Либкнехта. Он потихоньку пересказал кое-кому выступление Карла в рейхстаге.

— Что же, Карл так всю правду и выложил?!

— Ну, этого ему не дали, но правда не иголка, ее не запрячешь. Теперь гуляет из лазарета в лазарет, из части в часть. Наш брат сумеет как-нибудь сравнить то, что пишут, с тем, чего сам нагляделся. Ему понять Либкнехта легче.

Выкурили по сигарете, достали из пачки по второй. Мимо сновали сестры, санитары, няни. Провезли в каталке офицера с ногой в гипсе. Кресло осторожно катила

тощая медсестра в повязанной не без кокетства косынке. Она строго посмотрела на обоих солдат.

— Эта вредная,— заметил вслед ей Кнорре,— с нею надо быть осторожным.

— А что, на неприятность кто напоролся?

— Одному в нашей палате начала выговаривать: мало что понимает, мол, а рассуждает слишком свободно; если она еще раз услышит такое, то доложит начальству.

— Доносчица, смотри, пожалуйста!..

Так между ними установились отношения большего доверия.

В следующий раз, когда встретились, Гольц спросил:

— Нового чего не слыхал?

— Это же не газета: купил за свои пфенниги и узнал про все. Теперь, если что и узнаешь, стараешься передать потихоньку. Присмотришься, поглядишь, как ведет себя человек, а потом уже решишь, можно ли быть с ним откровенным.— Затем неожиданно спросил: — Ты чем до войны занимался?

— Я? — переспросил Гольц и охотно ответил: — Пиво по столикам разносил, в пивной работал.

— А-а...— в голосе Кнорре послышалось разочарование.

— А ты?

— Паяльные лампы изготовлял в Бремене. Было такое предприятие: не Крупп, конечно, но порядочное.

— Значит, рабочий? Я думал, вашего брата оставили на заводах.

— Тех, без кого было нельзя. А от некоторых им лучше было освободиться.

Разговоры их продолжались и в следующие дни. Чуть-чуть задевая прошлое, они больше касались того, как вести себя дальше.

Про госпиталь в Льеже, где работал брат Либкнехта, стало известно, что там ведет нелегальную работу группа

солдат, сумевших разобраться в том, что происходит. Надо бы, решили оба, и здесь привлечь кое-кого и вообще держаться теснее.

Группки недовольных возникали то в одном месте, то в другом. Толчком чаще всего служила непроизнесенная речь Либкнехта.

XXVII

Он не предвидел сам, что его «нет!» будет иметь такие последствия. Ведь им руководила потребность отмежеваться от вероломной позиции партии, с которой его связывало почти полтора десятка лет. Но молва о голосовании в рейхстаге распространялась, и Либкнехт все более убеждался, что шаг его был единственно верным в данных условиях. Роза Люксембург и Клара Цеткин откликнулись сразу, заявив, что он поступил как истинный революционер.

Мысль, что он участвует в чем-то постыдном, преследовавшая его после четвертого августа, больше не тяготила. Теперь он вновь был последовательным социалистом и отстаивал принципы братства народов. Разоблачение правителей, выведение их на чистую воду сделалось неотложной задачей.

Заходя в районное партийное бюро, Либкнехт избегал вступать в споры с товарищами. Там вели себя так, как этого требовал Форштанд, и не скрывали своего осуждения. У него хмуро спрашивали, как это он осмелился пойти против большинства.

— Но если большинство ведет партию в болото, не лучше ли сказать это вслух? Потребовать, чтобы оно повернуло, пока не поздно, в другую сторону?

— Одному вам отпустили истину полной мерой! Руководство слепо, зато Карл Либкнехт все знает!

— Видите ли, Либкнехту дух оппортунизма был не-

навистен всегда. Уж если речь обо мне, скажу, что четвертого августа я в угоду дисциплине пожертвовал правдой, и это была ошибка — грубейшая со стороны социалиста. Сейчас я защищаю правду.

— Но такая ваша позиция может привести к самым суровым последствиям для вас.

— Что поделаешь, каждый платит по счету...

В вопросах Сони Карл улавливал все возраставшую тревогу. Он не столько готовил ее к тому, что может случиться, сколько пытался успокоить.

— Конечно, испортить мне жизнь они постараются. Но одного отнять у меня не смогут — того, что я депутат.

— А разве депутата засадить в тюрьму нельзя?

— Пока что, Сонюшка, я такой опасности не предвижу.

Он ходил по кабинету и что-то обдумывал. Соня обратила внимание на то, что у него нервно дергается щека.

— Что же это такое? Ведь прежде же не было!

— Бывало, только не бросалось тебе в глаза.

Либкнехт остановился, взглянул на нее; в глазах у него мелькнул задорный огонек.

— Ну, признай, Сонюшка, что мой взнос пока невелик. Другие потеряли кто руку, кто ногу, кто ослеп...

— О Карл, разве о таких вещах говорят?! Разве можно искушать судьбу?!

Он ласково протянул руку, привлек Соню к себе; они стали ходить вместе. В голове мужа происходила напряженная работа, пока что не вполне доступная ей.

Опять у него дернулась щека.

— Ну, Карл, не надо так! Ну, последи за собой!

— Хорошо, милая, постараюсь.

Либкнехт рассеянно освободил ее руку и опять заходил один, обдумывая что-то свое, требовавшее простых и ясных определений.

XXVIII

Ждать вызова пришлось долго. Рядом сидели люди рабочего облика, их вызывали к инспектору одного за другим. Очередь Либкнехта была двенадцатая. Он вынимал повестку, в который раз вчитывался в нее, затем снова совал в карман.

Наконец дело дошло до него. В длинной, безжизненно блеклой комнате спиной к окну сидел инспектор военного бюро.

Либкнехт назвался, протянул повестку и добавил:

— Депутат рейхстага.

Инспектор кивнул на стул, затем молча стал перебирать бумаги в папке.

— Военную службу проходили?

— Проходил.

Мелькнул в памяти час, когда его в числе других новобранцев привели в Потсдам и всех их построили перед дворцом. Вильгельм II появился на балконе и благосклонно выслушал гаркающие солдатские приветствия. Немного любуясь собой, он обратился к новобранцам с речью. Ни одной интонации не было в ней, которая показалась бы Либкнехту сколько-нибудь искренней, свободной от аффектации, ни одной мысли, которая не вызвала бы яростного протеста.

Вероятно, это была самая сильная прививка антимилитаризма, которую он получил в молодые годы.

Обстановка в военном бюро напомнила Либкнехту ту тягостную пору, когда он отбывал службу в германской армии. Муштра и тупость, царившие там, сделали из него убежденнейшего ненавистника милитаризма вообще.

И вот он сидел в крохотной сотовой ячейке современного оголтелого милитаризма, ожидая, что изречет инспектор.

Не подымая глаз от бумаги, тот пробурчал:

— Сорок четыре года, гм... Для строевой не подходите...

Вероятно, он получил указание припугнуть Либкнехта, напомнить ему, что и на него может быть распространена власть военщины.

— Но в рабочую команду направить можно.

— Позволю себе заметить, что я призыву не подлежу.

Инспектор поднял на него враждебный взгляд: в глазах его тускло мерцало холодное недоумение.

— Почему же, господин Либкнехт? Подлежите, безусловно.

— Надо ли вам напоминать, что я представляю в рейхстаге своих избирателей?

— Вас разве не известили? Вы лишены депутатских прав.

Вот какой поворот?.. Ему и в голову не пришло, что они решат сделать такой ход... Во всяком случае, обстоятельства его дела следовало выяснять не здесь.

— Какова же все-таки цель моего вызова к вам?

Инспектор решил сбить спесь с этого слишком независимого депутата. Смакуя упоительную возможность распоряжаться чужими жизнями, он произнес:

— Соответственно своему возрасту вы получите назначение в рабочий батальон.

— А что в том батальоне делают?

— Не понимаю, господин Либкнехт, что́ вы желаете выяснить?

— Хочу просто предупредить, что, вследствие своих убеждений, стрелять ни в кого не стану.

Инспектор занялся большим пальцем левой руки. Растирая старательно палец, он произнес:

— Настоящий немец не рассуждает, а в условиях войны выполняет приказы вышестоящих. На фронте вы станете делать то, что вам будет приказано... Все, госпо-

дин Либкнехт! Через три дня явиться к девяти часам на сборный пункт, имея две смены белья и теплые вещи.

Либкнехт покинул канцелярию, стараясь ничем не выдать себя. Машинерия военщины получала его во второй раз в свое распоряжение. Они лишат его права агитировать, выступать на собраниях, собирать вокруг себя единомышленников. Придумано ловко!

Над Берлином стоял промозглый туман. Трамвай и машины выползали всякий раз как будто внезапно и, пройдя полосу видимости, опять ныряли в густую молочную жижу. Звон вагонов и гудки вырывались из невидимого пространства, затянутого густой пеленой.

Либкнехт брел, не зная еще, что сказать Соне. При мысли об ее испуге и растерянности ему стало не по себе. Бросить Соню одну... Не только бросить, но и взвалить на ее плечи заботу о троих детях!

В остающиеся дни надо было успеть многое: предупредить товарищей, дать ряд поручений брату, позаботиться, насколько возможно, о семье.

Он смутно представлял себе, что ему делать дальше. Протестовать против того, что права его бесцеремонно попирают? Одно только Либкнехт знал наверняка: заглушить его голос им не удастся.

События развернулись дальше не совсем так, как наметил вызывавший его к себе инспектор. Либкнехта пригласили в окружное военное управление Берлина. Навстречу ему поднялся плотный, высокий полковник. Он вежливо предложил сигару Либкнехту и закурил сам.

— Вам уже, вероятно, известно, что было сочтено целесообразным направить вас на фронт?

— Да, и я решительно против этого протестую!

Оставив его протест без ответа, полковник продолжал:

— Я хотел бы сделать кое-какие замечания по поводу того, что вам предстоит.

Сигара была зажжена, на конце ее тлел синеватый

огонек. Либкнехт держал ее между пальцами и не подносил ко рту.

— Военное командование не отнимает у вас прав народного представителя, это неверно. Сотрудник, неправильно осведомивший вас, получит взыскание. Вам будет дана возможность принимать участие в сессиях рейхстага и ландтага, для этой цели вы будете получать отпуск в Берлин. В остальное время вам придется подчиняться воинской дисциплине. Упаси вас бог вести политическую пропаганду среди солдат и гражданского населения — не только на фронте, но и в Берлине!

— Но я же буду здесь в качестве депутата, не так ли?

— Да,— полковник кивнул,— но с некоторыми оговорками. В рейхстаге и ландтаге — да, но на улице, в любом другом месте вы прежде всего военнослужащий, со всеми вытекающими последствиями. Я хочу это подчеркнуть, зная, как силен будет у вас соблазн высказать свою точку зрения.

— Господин полковник,— сказал Либкнехт,— я адвокат и права свои знаю. То, что вами предпринято, есть явное противозаконие, под какие бы нормы вы его ни подводили. Было бы странно, если бы я, его жертва, вступил в соглашение с теми, кто его допускает.

Полковник пожелал показать, что упрямство собеседника огорчает его.

— В условиях такой войны вы говорите о беззаконии! Наоборот, по отношению к вам проявили наибольшую мягкость.

— Человеку, действующему от лица избирателей, затыкают рот!..

— Некоторые депутаты отправились на фронт добровольно, чтобы употребить свой авторитет на благо страны.

— Я стараюсь использовать свой авторитет в тех же целях. Но благо страны мы понимаем с вами по-разному.

— Жаль, очень жаль... Мне хотелось доверительно предостеречь вас от опасностей.

— Что ж, спасибо,— ответил Либкнехт.— Но есть еще доверие тысяч людей, и депутат обязан выполнить свой долг перед ними.

— А не ошибаетесь ли вы в понимании долга, господин Либкнехт?

— Ну, с этим уж ничего не поделаешь...— И он усмехнулся.

Полковник встал, прощаясь с ним. Пока что перед ним был депутат, представитель народа, а не солдат рабочего батальона.

XXIX

Дома Соня сказала растерянно:

— Как же так, Карл?! Что теперь будет?!

Было бы, вероятно, лучше, если бы вопрос не был задан. Было бы лучше, если бы ее взгляд источал больше мужества.

Никогда, даже в первые дни их близости, Либкнехт не рисовал ей радужных перспектив. Он, правда, верил, что человек существует для счастья. Борьба во имя идеи, мысль о выполняемом предназначении сами по себе приближают к счастью.

Сколько бы зла на земле ни творилось, жизнь все равно хороша: ведь солнце продолжает светить, в поле растет трава, люди проявляют чудеса благородства и верности.

— Вообрази, Сонюшка, самое худшее: мы топаем по грязи, я тащу свой мешок за плечами, я в испарине, и кругом туман. И хотя я устал до предела, голова полна мыслей — отнять их у меня не сможет никто. Я вижу много такого, чего товарищи мои пока не видят. Неужто же в казарме нельзя будет с ними беседовать?!

— Ах, Карл, ты совсем как ребенок! — сказала Соня и расплакалась.

— Но не могу же я рисовать будущее в мрачном свете, это не в моей натуре!

— Оптимизм хорош,— сквозь слезы сказала Соня,— по главным образом для тебя, а не для тех, кто тебя любит. Ожидать вестей от тебя, волноваться, мучиться!..

— Но я же буду писать, и ты поймешь, что жизнь даже в ненавистной обстановке полна для меня глубокого смысла. Там я буду делать то же, что и здесь.

— Как?! Трибун, зажигавший тысячи сердец, станет в уголке казармы потихоньку убеждать двоих солдат?!

— В любых условиях надо делать то, что можно. Ведь не откажешься же ты передавать мои материалы товарищам? Работа ведется и сейчас, и немалая.

— Тем ужаснее, что тебя от нее отрывают!

— Противники мои ничем не брезгают. Моя отправка тоже дело их рук.

— Кого ты имеешь в виду, Карл?

— Почтенных соции, пособников кайзера. Многих из них нам удастся, я думаю, оторвать. Резервы у нас немалые. Но строить придется все заново.

Соня печально смотрела на своего мужа, видя его уже в солдатской форме, призванным защищать дело кайзера. Потом отвела глаза и взглянула на гравюру, висевшую над роялем. На гравюре был изображен Бетховен, погруженный в раздумье.

— О, Карл,— произнесла она,— как все это тяжело!

XXX

Приблизительно в то же время, в феврале пятнадцатого года, к дому на Капиценштрассе подъехал поздно вечером крытый автомобиль-фургон. По лестнице быстрым

военным шагом поднялось шесть человек. Один позвонил. Хозяйка, открывшая дверь, испуганно отшатнулась. Старший остерегающе поднял руку:

— Ни звука! Соблюдать тишину...

Друг за другом они прошли по коридору. Не постучавшись, первый рывком открыл дверь.

Держа в руке настольную лампу, Роза, наклонившись к зеркалу, рассматривала себя и расчесывала свои длинные волосы.

Никого она не ждала в этот час и потому за несколько минут до их появления стала рассматривать, много ли седины прибавилось за последнее время. Увы, много.

При виде людей, ворвавшихся в комнату, Роза отступила от зеркала, выпрямилась и, прищурившись, заметила:

— Было бы приличнее, господа, если бы, входя к женщине, вы попросили разрешения.

— Теперь не до этого! — Шагнув к ней, старший произнес: — Роза Люксембург — так? Родом из Польши?

Она повернулась к нему:

— Что вам здесь, собственно, надо?

— Мы за вами, арестовать вас.

— Вот как? А на каком основании?

— Старое дело: прошлогодний приговор суда в связи с вашим подстрекательством солдат к неповиновению.

— Вот когда вспомнили! Надо было заварить всемирную кашу, чтобы нашлось время и для меня...

— Сударыня, входить в обстоятельства дела не в нашей компетенции. Нам приказано препроводить вас в тюрьму.

— Знакомый почерк... А вам не кажется, господа, что следовало бы выйти из комнаты и дать мне возможность собраться? Скажем, закончить туалет?

Старший подумал: некрасива, но держится с достоинством, и у нее какой-то особенной силы глаза; невольно проникаешься к ней уважением.

— Хорошо,— сказал он,— мы подождем в коридоре. Но один останется здесь.

— Что ж, если это входит в ваши представления об офицерском джентльменстве... С французскими женщинами там, на западе, вы, надо думать, обращаетесь не менее грубо?

— Извольте одеваться и не занимайтесь пустыми разговорами!

Он сделал знак одному из помощников. Тот застыл в напряженной позе у двери. Остальные вышли.

В коридоре, переминаясь с ноги на ногу, они прислушивались к тому, что делается в комнате: словно арестованная могла бросить бомбу или кого-либо пристрелить.

Наконец дверь отворилась. Роза Люксембург надела пальто и пошла за калошами.

Что она прихрамывает, им было известно. Тем более показалось странным, что походка у нее такая легкая, а в облике независимость.

— Куда же вы меня повезете, господа?

В коридоре стояла перепуганная насмерть хозяйка.

— Я ведь ваша должница, фрау Мильх? — обратилась к ней Роза.

— Ах, как можно говорить об этом в такую минуту!

— Нет, я хочу заплатить вам вперед. И хотелось бы, чтобы все в моей комнате поддерживалось в порядке, особенно книги. Пока ими не займутся товарищи, которым я поручу.

— Да, книги,— растерянно повторила хозяйка.— Я буду их протирать, книги очень пылятся. — Скорее это было адресовано тем, кто увозил Розу, чем ей самой.

Смущенно она приняла из рук жилицы деньги. Офицеры ждали. На лестнице, когда она задержалась, один грубо крикнул:

— Хватит копаться! Можно подумать, к министру едете на прием!

— Все впереди, господа, все еще будет,— спокойно отозвалась Роза.

— Ступайте, нечего разговаривать!

Она обернулась и посмотрела на него с интересом.

— Одна сторона нервничает. Но почему именно вы, а не я, мне трудно взять в толк.

— Идите! — требовательно повторил офицер.

На улице их ждал крытый фургон. В таких фургонах ветеринарная инспекция перевозила обычно подлежавших уничтожению собак. Сзади была подножка с двумя ступеньками. Не так-то просто было на нее взобраться.

— Не толкайте меня! — сказала Роза, на этот раз с раздражением.

— Вас не толкают, а вам помогают.

Внутри было совершенно темно. Она скорее нащупала, чем разглядела, скамью вдоль одного борта. Другую скамью напротив заняли сопровождавшие.

На низкой скамье сидеть было неудобно. Несколько раз на поворотах Розу качнуло. Тогда двое с противоположной скамьи заняли места по обе стороны от нее.

Машина неслась по улицам.

— Куда вы меня везете? — спросила Роза.

— На месте узнаете.

Когда машина загудела и остановилась, а двое охранников вылезли, Роза заметила чугунные большие ворота и кирпичную высокую стену.

Охранник, оставшийся с нею, навел на нее ручной фонарик, словно бы удостоверяясь, что она здесь.

— Выходите! — приказали снаружи.

Она охватила взглядом частицу двора, огороженного непроницаемой стеной. Похоже было на каменный мешок. Ступени, по которым пришлось подыматься, были тоже каменные, крутые. Роза устала.

Но самое большое унижение ждало ее впереди.

В комнате со сводчатым потолком и зарешеченными

окнами и скамьями вдоль стен горел тусклый электрический свет. Углы помещения были погружены в темноту. Ее опросили, задав много ненужных вопросов. Затем вошла женщина с сухим, черствым лицом.

За нею следовало двое надзирателей.

— Разденьтесь,— приказала женщина арестованной.

— Это еще что за новости?

— Вам же сказано, извольте выполнить!

— Как? Раздеться совсем?

— Ну конечно! В первый раз вас, что ли, берут! Порядка не знаете?!

Роза начала медленно снимать с себя одежду. То ли вид хромой женщины смутил надзирателей, то ли ее сильный лучистый взгляд — они отвернулись.

Смотрительница стояла с каменным лицом и ждала, когда можно будет приступить к обыску.

КНИГА ВТОРАЯ

„ДОЛОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО!“

I

Дни заметно удлинились, и солнце пригревало землю. Но лопате она уступала неохотно, а то и не уступала совсем. Приходилось долбить ломом или киркой.

При хорошей сноровке и крепкой мускулатуре с такой работой еще можно было справляться. Человеку же городскому, не привыкшему к физическому труду, она давалась нелегко. Но он старался не отставать от других.

— Не усердствуй, Карл,— говорили ему вполголоса.— Спасибо никто не скажет.

Когда к отделению подходил старший, товарищи старались заслонить Карла.

Но старшего работа солдата в пенсне интересовала больше всего. На солдате была шапочка наподобие арестантской и сильно поношенная куртка. Вид он имел не очень-то воинский.

— Речи произносить легче, наверно? — насмотревшись, сказал старший.

— Смотря какие.

— А вот те, какие вы говорили.

— Нет, иные давались мне нелегко.

Старшего так и подзуживало поговорить. Сам он был из деревни, о Либкнехте никогда прежде не слышал и отношения к политике не имел. Но начальство наказало вести за ним наблюдение, намекнув, что Либкнехт чело-

век опасный. На фронте большого вреда от него не будет, но в Берлине он многим причинял беспокойство.

И вот, наклонясь всем корпусом, он работал наравне со всеми: нажимал на лопату, вскапывая мерзлую землю.

— М-да, это не речи произносить, тут коленкор другой...

Сосед Либкнехта, разогнувшись, спросил:

— А вам приходилось когда-нибудь держать речь?

— Тебе-то что?

— Интересно, как это у вас получалось!

— Мое дело винтовка да вашим братом командовать. Попадете на передовую, узнаете, чем надо солдату интересоваться.

Он был не прочь постоять тут еще. Когда человек, орудуя лопатой, должен следить, чтобы башмак у него не развалился, и то и дело подравнивает пенсне на носу, любопытно понаблюдать за тем, как он швыряет рывками землю, особенно, если солдат не нравится и чем-либо раздражает.

Можно бы и потешиться немного над ним, но мешала одна закавыка. Сержант Друшке знал, что товарищи ревниво оберегают Либкнехта, и нередко ловил на себе их недобрые взгляды.

Мучить солдат во имя утверждения своей власти Друшке еще не привык; мучительство не превратилось пока для него в самоцель. Да и лучше было не портить отношений с людьми, у которых может оказаться оружие. Дисциплина в части, правда, хорошая, но отношений обострять не следует. Бомба не выбирает, куда ей упасть. Если уж упадет, лучше, чтобы рядом оказался солдат, который зла против тебя не имеет.

Друшке не очень и допекал берлинского выскочку, который будто бы вздумал там всех учить. Но одно обстоятельство сильно его беспокоило. Стоило ему объявить отбой, как к берлинцу начинал стекаться разный народ.

Являлись не только свои, но и солдаты соседних рот, даже других частей.

Повод находился всегда: то табаку ему приносили, то спрашивали нитку пришить пуговицу, то газету.

Друшке пробовал отсылать людей, но из этого ничего не вышло. Не в казарме, так где-нибудь за кустами или в глухих закоулках, а встречи происходили.

Когда Друшке доложил ротному, тот выслушал его хмуро.

— Наблюдать-наблюдайте, а запрещать не годится. Он фигура известная, им тут занимаются люди повыше.

Действительно, командир рабочего батальона уже несколько раз справлялся, как ведет себя Либкнехт.

Конечно, нелегко было ему копать мерзлую землю, перетаскивать камни, гонять тяжелые тачки. И все же, попав на фронт, он не только наблюдал жизнь солдат и интересовался их настроениями, но и многое им разъяснял.

Газеты изо дня в день описывали готовность немцев постоять за землю и кайзера. На фронте газетная патетика теряла всякое подобие правдивости. Слишком жестоко было все вокруг.

Дисциплина в армии сохранялась прежняя, офицеры, командуя людьми, опирались на традиции. Но немец, одетый в форму солдата, вовсе не был автоматом, нуждавшимся только в том, чтобы им управляли. Недавний земледелец или рабочий, служащий или учитель гимназии, владелец лавочки или маслодел, он задумывался все больше. Ему забили голову рассказами о зверствах казаков, французских солдат, торгашей-англичан. А он все чаще задавался вопросом, с какой это радости его гонят под лютый огонь, заставляют лезть на заграждения; с какой радости, если война ведется вовсе не за немецкую землю, а на полях Франции и России!

На довольно широком участке фронта стало извест-

но, что в рабочем батальоне есть человек, способный все объяснить. И совсем не так, как объясняют в газетах или командиры. К нему потянулись.

— Что же будет с войной? — спрашивали у Либкнехта. — Почему в прошлом году не взяли Париж? И кончится ли война, если Париж заберем?

— А он вам нужен? — в свою очередь спрашивал Либкнехт. — Работа ваша станет легче? Больше будут платить за нее?

— Нет, но райх разбогатеет, и жить все станут лучше.

Он терпеливо объяснял, что от богатства райха трудовому человеку перепадают крохи: главное идет тем, кто и сегодня наживается на войне.

— Они поставляют в армию сапоги, ружья, пушки и за все получают больше, чем до войны. Жизнь уже вздорожала, наши жены и дети на себе чувствуют, как все поднялось в цене. Армия истребляет материалы в огромных количествах, товары сюда текут и текут. Какой же смысл предпринимателю желать окончания войны? От народа он требует все больше жертв, а свои доходы тем временем удваивает.

Сидели на пригорке, уместившись на сваленном бревне. Мартовский день кончался, руки у всех были натружены. Солнце еще не скрылось, краски заката пылали, рдели края перистых облаков, а быстрые тени стлались по земле. Но орудия ухали с глухим постоянством и мины ложились поблизости.

Слова Либкнехта возвращали людям забытое ощущение достоинства и желание обдумать все самим.

Среди солдат, приходивших к нему, были и пролетарии, прошедшие суровую выучку жизни. Думать они умели, но понять, что же происходит с Германией, было и им нелегко.

Являлись по двое, по трое. Осведомившись, нет ли

курева или не нуждается ли в табаке он сам, потолковав о том о сем, приступали к главному.

— Как же случилось, что партия, которой мы верили, в нужную минуту не призвала нас к отпору?

— Изменила рабочему классу...

— А вы? Выступили против?

Пятно это всякий раз напоминало о недавнем и таком уже для него отдаленном прошлом.

— С этим покончено, товарищи! Потому я и здесь, что меня рассчитывали сломить.

— Но не сломили же?..

— Наоборот: мои убеждения закалились.

— Ну, а союзники? Есть они у вас, Карл?

— Есть, разумеется.

— И Роза с вами?

— Ее упрятали за решетку, но она не из тех, кто сдается. Вообще, среди социал-демократов есть группа, пока еще малочисленная, которая стремится разъяснить народу, что и немцы и наши противники, с которыми нас заставляют сражаться, одинаково обмануты своими правительствами и гибнут понапрасну.

— Понапрасну, да... Так что же делать?

— Объединиться людям по обе стороны фронта и восстановить мир между народами.

Солнце уплывало за горизонт. Люди в солдатских куртках докуривали папиросу и сосредоточенно думали. Их одолевали нелегкие мысли.

II

В барак, где топилась печка и на подоконниках солдаты писали письма, явился вестовой.

— Либкнехт тут есть?

Либкнехт встал. Он писал Гельми и с увлечением, со всей силой отцовского чувства старался помочь сыну, ре-

шавшему мучительные мировые вопросы. В письме не было и тени снисходительности: пытливый ум подростка требовал от отца прежде всего прямоты.

— Я здесь. — На всякий случай он заслонил письмо.

— Командир требует вас.

Строительные роты были раскиданы на широком участке. Идти пришлось далеко. Вестовой шагал впереди и иногда посматривал, не отстал ли сопровождаемый.

Командир батальона расположился на мызе. К домику под черепицей были протянуты провода и вел тротуар, выложенный коричневой и зеленой плиткой.

Настольная лампа, фотографии членов семьи и кайзера, граммофон с трубой воплощали удобства, какими можно было окружить себя вблизи фронта.

Держа руки по швам, Либкнехт остановился в дверях.

— Да, входите и можете сесть. — Подполковник потянулся к коробке с сигарами и вопросительно посмотрел на солдата.

— Благодарю вас, я привык к папиросам.

Он все же протянул Либкнехту толстую сигару.

— Привыкать смысла нет, потом будет не хватать; но один раз — отчего же, можно себе позволить.

Либкнехт медленно повел головой. Приемы здесь такие же, как и в Берлине, подумал он: создать видимость разговора на равных. Подполковник положил сигару на место.

— Следует вам иметь в виду, что я прежде всего инженер, военный инженер. Мое дело укрепления, линия обороны, политика меня занимает мало. Но ответственность за своих солдат несу я. — И уточнил после затяжки: — Вам это понятно?

— Разумеется...

Командир откинулся в старомодном, с мягкой округлой спинкой кресле.

— И вот представьте: как я должен воспринимать донесения о разлагающей вашей работе?

— Это причиняет вам, вероятно, хлопоты?

— Но вам это может причинить хлопот еще больше! — Он прочертил в воздухе энергичную линию. — Я не стал бы заниматься вашими убеждениями, они меня не касаются. Но ведь вы солдат моего батальона! Солдат строительной части, работающей то на одном участке, то на другом. Выходит, вы, подобно бацилле, разносите свои тлетворные мысли.

Это прозвучало почти как похвала.

— Вам ведь еще в Берлине было сделано предостережение. Я получил циркуляр, из которого узнал, с кем мне придется иметь дело. В других условиях познакомиться с вами было бы даже интересно: адвокат, человек образованный и известный... Но разве могу я спокойно смотреть, как вы разлагаете исполнителей моих планов?! С этим вы должны согласиться!

Помолчав, Либкнехт негромко ответил:

— И должен, господин подполковник, и не должен. На все, что касается моей работы, жалоб не поступало — ведь так?

— Тут к вам претензий нет. Хотя я понимаю, что дается это вам нелегко.

— Другое дело — мои убеждения, убеждения человека, сознающего свою ответственность перед людьми. Можете ли вы требовать, чтобы я от них отказался?

— Вынужден!

— Это ваш долг, допускаю. Мой долг не меньше — меня облек доверием народ. А против него совершено преступление.

— Но единомышленники ваши, наравне со всеми другими, призывают к обороне и жертвам?

— Выходит, они наравне с другими обманывают народ. Какие же они мои единомышленники!

Подполковник сделал одну-две затяжки и стряхнул пепел на медную тарелочку.

— Так... Значит, не договорились? Искренне сожалею...

— Я не хотел быть уклончивым в разговоре с вами.

— Во всяком случае, господин Либкнехт, вас предупредили, помните!

Либкнехт покинул мызу и, не сопровождаемый никем, направился в свою роту. День кончался, мягкий мартовский, пахнувший весной день. Воздух был удивительно чист. Глухая артиллерийская канонада уступила место тишине.

Может быть, хорошо, что судьба закинула его так далеко от Берлина? Близость к природе радовала. Он тут общался с множеством людей, делал все, чтобы у них раскрылись глаза на происходящее. В городе всегда торопишься, чего-то не успеваешь, у тебя постоянно зажатое сердце. А тут свободнее охватываешь мир в его противоречиях и противостоянии.

Он шел по дороге и углублялся в лес, где еще оставались пористые кучки снега возле деревьев. А думы текли и текли, приводя к плодотворным выводам. Разрушить инерцию мысли в народе, долбить и долбить, работать с каждым, доверяя ему, и в то же время как бы переучивая.

Когда Либкнехт вернулся в барак, был уже вечер. Солдаты собирались спать. Некоторые стучали еще деревяшками домино, но без азарта.

Товарищи обступили его. По какому поводу вызывали? Чем это ему угрожает?

— Надо быть осторожнее, Карл. Не со всяким можно толковать свободно. Тут сомнительных людей хватает.

После того, о чем думал Либкнехт по пути, возвращаться к осторожности не хотелось. Он знал, что за ним следят и многие его слова доходят до начальства. Но натура его протестовала против чрезмерной подозрительно-

сти. Убеждение, что человек в основе своей честен и к сердцу его можно найти тропинку, руководило им чаще всего.

Возможно, товарищи еще больше любили его потому, что он был так доверчив и простодушен. Когда он писал письмо, мимо ходили на цыпочках, боясь помешать; когда составлял таинственные документы, которые потом возвращались сюда непонятным путем в виде листовок или обращений, соседи по бараку делали все, чтобы его никто не отвлекал. Получив посылку, предлагали Карлу отведать вкусненького.

Правда, и Карл свои посылки раздавал товарищам. Даже папиросы, без которых он не мог существовать, распределял щедрой рукой. Он знал, впрочем: не будет курева у него, его тоже выручат. Курение было едва ли не единственной утехой его фронтовой жизни.

III

На Западном фронте было совсем тепло. Солнце стояло высоко. Трава тянулась навстречу теплу и свету с такой поспешностью, что, казалось, можно было заметить, как она поднялась со вчерашнего дня.

Изредка проплывали похожие на сигару «цеппелины», летали французские «блерио» и «фарманы». Начиналась яростная артиллерийская дуэль.

Солдаты рабочего батальона исправляли вчерашние повреждения, рыли блиндажи, которые потом накрывали бревнами в три-четыре наката. Складывалась новая тактика ведения войны, и войска, как кроты, зарывались все глубже в землю.

Приближалось Первое мая. Как отметить его? Каким образом волю людей убежденных противопоставить безгласию и воинской притупленности?

Либкнехт и его барак стали, естественно, центром всех замыслов. Что предпринять? Распространить листовки? Поднять на видном месте красный флаг?

На этот раз Либкнехта вызвал ротный — молодой неотесанный лейтенант из тех, кто выслужился на фронте исполнительностью и отчасти храбростью.

— Так ты парней моих вздумал мутить? Жизнь тебе не мила? Ждешь, чтобы я нашел для тебя местечко под пулями?

— Они и здесь нас не забывают,— заметил Либкнехт.

— Гм,— мрачно сказал лейтенант, застегивая на крючок воротник своей куртки. — Думаешь, ты узнал уже, что такое пуля? Могу дать тебе о ней более ясное представление.

— Ну что же, если это входит в курс ваших наук.

— Вот именно: таких надо учить! Некоторые видят, что у меня рядовой в пенсне щеголяет, как доктор какой-нибудь, и думают, что я его пощажу. Я могу щадить того, кто мне нужен. А тебя?!

— Польза вам от меня малая, признаю.

— А вред зато полный. — Он справился с крючком и встал в полный рост.

Он был невысок, щеголеват и старался выглядеть солиднее, чем на самом деле.

— Вот что, рядовой Либкнехт. Мне наплевать на то, что вы депутат рейхстага или другой какой говорильни. Там тоже заткнули рты всем, кому надо: теперь не до разговоров. А уж здесь заниматься этим никто вам не позволит. О каждом вашем шаге мне доносят исправнейшим образом. Я могу, конечно, пересылать донесения выше, там они пойдут еще выше, а вы пока будете заниматься своим темным делом. Но могу и собственной властью пресечь безобразие и такую баню вам прописать, что надолго запомните.

Либкнехт не возражал.

— Чего молчишь?! — рассердился ротный. — Не с дубовым же стволом разговариваю!

— Мне жаль вас: совсем еще молодой, а голова забита ужаснейшей чепухой.

— За эту чепуху офицеры получают награды, во имя нее немецкий народ проливает кровь.

— В том-то и горе!

— Нет, нет, меня не сагитируете, не советую вам заниматься этим! Но вот если Первого мая — я уже знаю, мне донесли — у меня в роте будут неприятности, вам несдобровать!

Рядовой Либкнехт кивнул и попросил разрешения вернуться в барак.

— Не в барак, черт возьми, а в наряд: копать нужники! Нужники я заставлю тебя копать, депутат рейхстага!

— И я, депутат, буду копать, раз этого требует ваш тупой офицерский нрав.

— Что-о, дерзости говорить начальству?! А ну, налево кругом! Трое суток наряда! Передать отделенному!

И Либкнехт, развернувшись, вышел из помещения, чтобы уведомить отделенного о наказании, которому он подвергнут.

IV

Камера, куда поместили Розу Люксембург, была высокая, мрачная, с окном выше головы. Лишь встав на табурет, можно было увидеть угол двора, хозяйственные постройки и кусок висевшего над двором неба.

Однажды в камере появился цветок: арестантка, выносившая по утрам ведро, оставила его будто бы ненароком.

Не только она, низшая администрация тоже проявляла инстинктивное уважение к Розе. Арестованная отно-

силась к ним как к людям и не осуждала за исполнение злой воли властей. В больших лучистых ее глазах читалось понимание человека, который выше своих угнетателей.

Часами ходила она по камере, следила за цветком в консервной банке и даже сумела вырастить отросток, для которого понадобилась вторая банка.

Роза Люксембург жила в тюрьме напряженной умственной жизнью. Катастрофа, приведшая мир к бойне и всеобщему истреблению, сопровождалась другой катастрофой, идейной. Надо было понять, что же произошло с европейской социал-демократией. В Германии смутно, и то очень немногие знали, что крепкий отряд социал-демократов — русские большевики во главе с Лениным — не дрогнул и выдержал тяжкое испытание войны. Немецкие левые продвигались на ощупь. Силы нашлись лишь у ничтожно малой группки, сохранившей верность интернационализму.

Тем важнее было понять, что случилось с немецкой социал-демократией. За эту работу и взялась Роза Люксембург — не в читальных залах и библиотеках, а в тюремной камере. Друзья старались снабжать ее нужными книгами.

Каждый день ее выводили во двор для прогулок. Политических, кроме нее, в женской тюрьме на Барнимштрассе не было. К хромой, седеющей женщине с огромными глазами и обширным лбом философа питали доверие все. Если надо о чем посоветоваться, Роза даст, они знали, совет разумный и справедливый; если сообщить что на волю, постарается среди своих записок засунуть чужую, написанную корявым почерком; если заступиться, Роза не дрогнет.

Администрация старалась смотреть сквозь пальцы на то, что у арестованной Люксембург большая переписка.

День за днем росла стопка листков, которые она

постепенно пересылала на волю. Вместе, глава за главой, они составили книгу.

В ней были подобраны примеры, как вела себя пресса социал-демократов в первые дни войны, каким позором покрыла себя, равняясь в своем усердии на монархическую печать. Деятельность Форштанда, его постепенное перерождение, отход от идеалов Бебеля и Вильгельма Либкнехта, бюргерское благодушие и благонамеренность — из прежних, давних ошибок с неизбежностью возникало предательство.

Арестованная, с любовью следившая за побегом цветка, размышлявшая о законах природы или проблемах искусства, работала над своей полемически страстной книгой сосредоточенно и горячо.

Ее посадили в тюрьму в феврале. Работа «Кризис социал-демократии» была готова уже в апреле. По кусочкам она пересылалась на волю и попадала в надежные руки. Автор пожелал скрыться под псевдонимом Юниус.

Понадобился почти целый год, прежде чем удалось переправить рукопись в Швейцарию и там издать.

Как «нет» Либкнехта, разнесшееся по Европе, восстанавливало честь немецкой социал-демократии, так и работа Розы Люксембург содействовала тому же.

В. И. Ленин горячо приветствовал книгу. Доброжелательно проанализировав то, что составляло ее силу и говорило о революционных позициях автора, он в то же время остро подметил опасность уклонов.

V

Рядового Либкнехта пришлось отпустить в Берлин. Командование не решилось задержать его, когда были объявлены очередные сессии ландтага и рейхстага.

После окопов и грязи дорог весенний Берлин показался особенно оживленным. Убирали его не так тщательно,

и все же он сохранял пока привлекательный облик сто лицы.

Дома Либкнехт появился неожиданно для Сони: она ахнула, увидев его на пороге — усталого, с рюкзаком за плечами, озябшего, проведшего ночь без сна.

— Бог мой, ты?! И не предупредил?!

Он отстегивал лямки, стягивал рюкзак с плеч, снимал шинель и не заметил, как на пороге появилась Верочка.

Она смотрела с недоумением и словно не узнавала отца. В ту ночь, когда он отправлялся из дому, Вера спала и не успела с ним попрощаться. Теперь перед нею стоял какой-то другой человек — потемневший, обросший, то ли больной, то ли раздраженный.

И только когда он привлек Соню к себе и она прижалась к нему, когда Верочка увидела его огрубевшие, но сохранившие тонкость очертания руки, гладившие голову Сони, она вновь ощутила свою близость к приехавшему и забегала по квартире, доставая для него то одно, то другое.

— Вот полотенце, которое ты, папа, любишь... И горячая вода есть. И у нас еще есть кусок душистого мыла.

— Сейчас, сейчас, побреюсь и верну себе человеческий вид.

Обе хлопотали, жена и дочь, и в этих хлопотах возвращалось к ним все большее ощущение близости, нежности, любви к Карлу.

— Я думал, какой подарок вам привезти. Ну, для мальчиков компасы, мне подарили товарищи: нашли в окопах. А вам,— и он достал из рюкзака,— вот, вырезали из дерева, тоже мои товарищи... Там есть способные мастера.— И поставил на стол две фигурки — грустящей, опечаленной женщины и козочки, которая опустила голову и словно бы прислушивается к чему-то боязливо.

В обеих фигурках видна была тоска тех, кто вырезывал их, по жизни, от которой они насильственно отторгнуты.

Соня долго рассматривала фигурки.

— Много чувства вложено в них... И вкуса много.

— Я знал, что тебе понравится. Я рассказал им, что жена у меня хорошо понимает искусство, вот и подарили...

Через полчаса, когда он, выбритый, переоделся в штатское, перед ними предстал прежний Карл, такой же бодрый и энергичный, но исхудавший.

За короткое время он выкурил одну за другой три папиросы.

— Не слишком ли много, Карл? Не оттого ли ты так исхудал?

— Я окреп, наоборот: все время на воздухе, физический труд... А не курить невозможно, без этого нервы пришли бы в негодность.

И он считает, что нервы у него в хорошем состоянии?! Бедный, бедный...

И все же, наблюдая его в эти минуты, Соня вновь ощутила, сколько в нем стойкости. Его оптимизм не казался наигранным или показным. Карл был полон такой душевной энергии, так целеустремлен, что рядом с ним она почувствовала себя вновь под защитой.

— Тедель о вас заботился? Я ведь ему поручил, и он обещал.

— Твой брат рыцарь,— сказала Соня,— он делает для нас очень много. Но мы тоже не вешали носа на квинту, не думай. Мы живем умело, экономно и, главное, дружно.

Карл посмотрел на нее с пристальной задумчивостью: как будто поглощен был мыслями и о ней, и о чем-то ином.

— И с Верочкой у тебя все ладно?

Она уловила в вопросе деликатную неуверенность и ответила горячо:

— За это можешь быть спокоен. У нас с детьми доверие полное.

— Если бы ты знала, как это меня утешает! Я там чувствовал себя несравненно тверже, думая об этом.

— Видишь, она убежала? Она стала моей помощницей и делает все так ловко и с такой охотой, что я просто радуюсь.

Многое нужно было обсудить вдвоем. Но еще больше дел требовало его немедленного присутствия и вмешательства за пределами дома.

Либкнехт представлял себе завтрашнее заседание ландтага: собрание откормленных пруссаков, перед которыми он произнесет свою речь. Ведь не только для того он вырвался на короткое время в Берлин, чтобы насладиться семейным покоем или, дождавшись, когда придут Гельми и Боб, расспросить их обо всем, что произошло без него. Это все подразумевалось само собой. Но вот собрание ландтага... Он говорил с Соней, а в голове складывалась завтрашняя речь.

Речь меньше всего предназначалась для господ депутатов. Цепь информации, оборвавшаяся в начале войны, понемногу восстанавливалась. Пускай социал-демократическая печать находилась в руках правых и печатала черт знает что: газеты Хемница, Веймара, Магдебурга, Дортмунда состязались друг с другом в выражении услужливого патриотизма. Пускай они продолжали расписывать на все лады, как Германия побеждает на фронтах и как по праву и справедливости присоединит себе часть захваченных ею земель,— цепь, проложенная нелегально, передавала информацию тем, кто требовал правды и готовился действовать против режима кайзера.

Обдумывая свою речь, Либкнехт знал, что́ его ожидает. Теперь он отверженный, почти что изгнанный из рядов фракции. Ему ли заблуждаться и воображать, что депутаты ландтага спокойно выслушают его!

— Что ты задумал, Карл? Что ты собираешься завтра сделать? — с опаской спросила Соня, когда несколько мыслей из завтрашнего его выступления прорвались наружу.

С тревогой своей она не в силах была совладать. Но она уже понимала, что это неотвратимо: Карл идет путем, с которого не свернет. И что бы с ним ни случилось, это станет частью ее существования.

Да она и не хотела бы ничего менять. Когда с детьми возникал разговор об отце, Соня всем своим существом понимала, что они им гордятся. Как ни горько им приходилось, они находили высокое удовлетворение в том, что они дети человека, бросившего лжецам и отравителям умов смелый вызов.

В минуты, когда Соня ловила себя на душевной слабости, она искала поддержки у детей. Но чаще сама заводила разговор о Карле, который с такой отвагой выступает против сильных мира сего и предателей интернационального рабочего дела.

— Но что же ты собираешься завтра сделать?! — повторила Соня с беспокойством в голосе.

И он сказал:

— Ты же понимаешь, что приехал я сюда не только потому, что мечтал вас увидеть. Это подарок, награда, но главное — там... — Он указал на окно и простиравшийся за окном тесный и хмурый мир.

На следующее утро, проводив детей, попрощавшись с каждым отдельно, Карл стал собираться сам. Соня молча помогала ему. Она так заботливо снаряжала его, точно от этого зависела его готовность к схватке.

— Ну, прощай, хорошая моя,— сказал он, прижимая ее к себе. И, уловив тревогу во взгляде, добавил весело: — А я думал, ты привыкла... Ну, ничего, привыкнешь.

Соня кивнула, как будто обещая ему непременно привыкнуть к той жизни, какая ее ожидает.

VI

Еще до того, как Либкнехт был отправлен на фронт, несколько человек, относившихся к событиям так же, как он, собрались однажды, чтобы разработать план действий. Пришли Роза Люксембург, Франц Меринг, молодой рабочий Вильгельм Пик, Лео Иогихес, еще кое-кто. Порешили, что всего важнее наладить издание, распространение журнала, листовок — способ публикации трудно было пока предусмотреть,— которые говорили бы о недовольстве рабочего человека, о протестах, отказах от повиновения властям, обо всех случаях осуждения самой войны, ее зачинщиков и защитников.

Уже вчера, повидав кое-кого из тех, с кем он установил прежде связь, Либкнехт убедился, что линию информации, словно невидимый подземный кабель, удалось проложить. Гуго Фриммель, с которым у него было несколько встреч в начале зимы, на этот раз выглядел более бодрым. Он заговорил сам, и не без охоты, что нужный пропагандистский материал, с которым им, активистам, легче работать, в последнее время появился.

— Много ли у вас активистов?

— Ты меня извини, Карл, но даже тебе я не могу сообщить точных цифр. Скажу только, что с тех пор, как мы виделись, количество возросло сильно.

— А профсоюзные функционеры продолжают попрежнему жать на вас?

— Это их должность, их хлеб. Но мы времени не теряем тоже.

Поговорили более или менее обстоятельно, хотя Карл торопился, и это было заметно, и Фриммель остался этим недоволен.

— Ради бога, прости меня,— сказал напоследок Либкнехт,— но я должен держать речь в ландтаге, а у меня не все сведения в руках.

— До нас твоя речь дойдет?

— Думаю, да; не сразу, конечно... Газеты если и упомянут, то двумя-тремя словами, притом самого скверного свойства. И все же дойдет, очень на это надеюсь.

— Важно, чтобы доходило все. Рабочему надоело читать то, что он видит в газетах. Он начинает шевелить мозгами сам, и ему надо знать, что происходит на самом деле. Победа, победа... О победе не перестают писать, а он видит только лишения. Одно стало хуже, другое, третье... Ему объясняют, что это неизбежное следствие войны. Но он стал сомневаться: а на какого лешего война, которая тянется, тянется и которой не видно конца? Если уже теперь стало настолько хуже, что же будет, думает он, через год или два? Вот тут и нужен агитационный материал.

— Я тебя понимаю,— сказал Карл,— и поверь, все будет делаться, чтобы он до вас доходил.

С ощущением того, как важна любая речь, направленная против войны, он подходил к парадному зданию ландтага — парламента Пруссии.

Социал-демократическая фракция была здесь малочисленна и не играла той роли, как в рейхстаге. Он был и тут одинок, союзников у него не было.

Он быстро прошел к трибуне. Как концертмейстер в оркестре, направив взор на дирижера, ждет первого взмаха, так Либкнехт, потребовав слова, ждал той минуты, когда можно будет начать. Поблескивая пенсне, выбрасывая вперед правую руку, он стал кидать в зал слова страстного обличения.

Перед владельцами тучного свиного поголовья, хорошо раздоенных коров и крепких рысистых лошадей Либкнехт клеймил пруссачество и немецкую буржуазию, их готовность лить кровь во имя собственного благополучия.

— Вы, господа, всегда были верны себе. Говоря о счастье народа, имели в виду прежде всего себя. Ваше

благополучие народ обязан был всегда принимать за собственное. Он гнет спину, отдает свои жизни, а доходы со всего снимаете вы!

Депутаты были ошарашены. В то время как их сыновья и зятья сражаются на фронте, водя батальоны и роты в атаку, этот адвокатишка, которого выше, чем на солдатскую работу, не взяли,— этот крикун твердит о бессмысленности бойни!

Речь Либкнехта звучала неслыханно дерзко. Они начали колотить по пюпитрам, орать и топать.

— Изменник! К суду военного трибунала! Долой!

А он с той горячностью, которая от пребывания на фронте стала еще горячее, требовал прекратить ложь гнусных захватнических притязаний, прикрытых словами о защите отечества.

Домой Либкнехт вернулся измученный еще больше, чем на фронте, будто ему пришлось перетаскивать на себе бог знает какие тяжести.

Но *эта* тяжесть была по нем, соответствовала его душевным силам, и он готов был обрушить ее на противника, рассчитав направление удара.

Такой же крепкий удар Либкнехт намерен был нанести на очередном заседании рейхстага. Предстояло утверждение новых кредитов, и Либкнехт готов был вновь произнести свое «нет!». Оно, разумеется, не прозвучало бы столь оглушительно, как в первый раз, но свое дело должно было сделать. Тем более, что заседание фракции показало, что у него наконец появился союзник; депутат Отто Рюле тоже решил поднять руку против военных кредитов. А большая группа членов фракции, не осмелившаяся выступить открыто, предупредила, что покинет зал в ту минуту, когда начнут голосовать.

VII

Фронт социал-демократов давал первые трещины. Во время той же сессии, на заседании фракции, депутат Гаазе выступил с едкой речью. Он даже не заикнулся о самообороне, о которой без конца твердили социалисты с начала войны. Да и уместно ли было говорить о ней, если немцы захватили столько чужих земель! Правительство и не думало возвращать эти земли обратно: наоборот, все чаще говорилось о праве пересмотреть прежние границы.

Крен Гаазе влево настораживал. В том, что Либкнехт громит руководство, ничего нового не было. По отношению к нему меры были уже приняты, поэтому его и держали подальше в окопах, и отпускали в Берлин в крайних случаях. Так молчаливо порешили и в имперском кабинете, и во фракции социал-демократов. Но Гаазе надо было деликатно прибрать к рукам.

Как и в начале войны, Шейдеман вовремя подсказал ход.

— Нужны лишь кое-какие уточнения в духе большинства, тогда ваше выступление можно будет принять за основу.

— Но в том-то и дело, что я вашей точки зрения не разделяю! — возразил Гаазе.

— Вы достаточно дисциплинированны, чтобы посчитаться с большинством. Ведь у нас коренных расхождений нет: крен, небольшой крен... Чуть-чуть выровнять. Мы просим вас внести исправления, вернее сказать, уточнения, и ваши мысли положим в основу платформы фракции.

— Постойте, постойте... — Гаазе тряхнул бородой и, вскочив, запальчиво произнес: — Я утверждаю, что цели, во имя которых Германия вступила в войну, достигнуты. Несмотря на это, борьба продолжается. Значит, одно из

двух: либо появились новые цели, либо война никому не нужна и мы обязаны первыми протянуть руку мира.

— Не обманывайте себя,— сказал Либкнехт, иронически усмехнувшись. — Цели те же, что и вначале: захватнические, империалистические.

Шейдеман нетерпеливо помотал головой, как будто отгоняя муху; затем обернулся к Гаазе:

— Из того, что правительство не огласило декларации о целях войны, нельзя еще делать вывод, будто оно что-то скрывает. Стать на такой путь мы не можем, надо подождать.

— Сложа руки?!

— Готов уточнить, чтобы вам было спокойнее. И может быть, товарищу Либкнехту тоже будет легче проявить хоть каплю выдержки... — Он покосился небрежно на строптивого депутата и продолжал: — Не сложа руки, как вы говорите, а, наоборот, настойчиво требуя, чтобы цели войны были оглашены. Устраивает вас?

Гаазе шумно вздохнул:

— Вы мастер ставить вопросы с ног на голову, знаю!

— Не больше, чем вы. Я ведь не говорю, что у нас с вами не может быть несогласий. Я только утверждаю, что причин для серьезных расхождений *пока* нет.

Эберт сидел хмурый. Выпятив губы, он скучно раскачивал массивное пресс-папье.

— Пустое препирательство,— буркнул он. — И находятся же охотники до словопрений в такое время!

— Ты неправ,— возразил Шейдеман. — Это вопрос большой важности.

Он считал, что Эберт нечуток к тонкостям политической тактики.

Обстановка во фракции таила в себе нечто такое, что надо было вовремя оценить. Даже незначительное сопротивление основной линии грозило расколом. Шейдеман с яростью наблюдал за Либкнехтом, не скрывавшим

удовлетворения, когда один за другим депутаты заявляли, что *за* кредиты голосовать на этот раз не будут.

— Так вы что же, коллеги, намерены последовать пагубному примеру Карла Либкнехта?!

— О нет,— выкрикнул тот,— можете быть спокойны, так далеко они не пойдут! Пока что. Я подчеркиваю — пока!

— Неужели же вы не видите, что вы тут полностью изолированы? — обратился к нему Шейдеман, смотря на него уничижающим взглядом.

— Не полностью, нет,— неожиданно объявил дрезденский депутат Отто Рюле. — Я буду тоже голосовать *против*.

Так, довольно печально для руководства, закончилось заседание фракции. Фридрих Эберт долго ворчал потом, что Шейдеман напрасно миндальничал. Шейдеман же считал, что его совесть чиста: все, что было можно, он сделал; стремясь удержать на наклонной плоскости неустойчивых членов фракции, проявил максимальную выдержку.

VIII

Из тюрьмы Роза Люксембург писала, что каждое выступление Либкнехта означает для правящих классов черный день.

Хотя он понимал, что важнейшим местом борьбы окажется вскоре не рейхстаг и борьба будет перенесена на заводы, в гущу рабочих масс, однако для своих выступлений старался использовать любую возможность.

Надо было позаботиться и о том, как сделать устойчивой связь с недовольными — теми, кто все больше задумывался о положении страны.

На свободе оставалась небольшая, но сильная группа единомышленников — Вильгельм Пик, Юлиан Мархлев-

ский, Лео Иогихес, Кете Дункер и Герман Дункер. Каждый из них недвусмысленно определил отрицательное отношение к войне. За плечами у них были годы партийной работы — у кого больше, у кого меньше, но облик каждого был ясен и политический почерк достаточно четок.

Признанным патриархом группы можно было считать Франца Меринга. Ему было уже под семьдесят. Годы брали свое, он часто хворал и тем не менее принимал живое участие в деятельности левой группы.

Раза два он посетил Люксембург в тюрьме. Седой, бородатый, представительный, профессор с виду, он внушал доверие. Тюремщики принимали его за родственника заключенной и вовсе не знали, сколь он опасный противник режима, который они охраняют.

Присутствуя при свиданиях невысокой, слабой здоровьем женщины и такого солидного старого человека, они меньше всего могли заподозрить его в злом умысле.

Меринг расспрашивал Розу, как она себя чувствует, выходит ли на прогулки, довольна ли книгами, которые получает. О каких-то записках к родственникам упоминалось вскользь.

— Почему они молчат? Я же просила ответить!

— Насколько я знаю, ответ был послан.

— Но я его не получила!

— Кузины Кете и Клара постоянно справляются о твоем здоровье.

— Лучше бы позаботились о моей библиотеке!

— Ни один листок из нее не пропал.

В утомительной для чужого слуха словесной будничной вязи мелькала ниточка одного какого-то тона, которую оба старались не упустить. Когда она вдруг исчезала, Роза с тревогой задавала новый вопрос, который помог бы ей разобраться в запутанном положении.

— Так я жду! — Она протянула ему свою руку.

Он пожал ее с заботливой, почти отеческой неторопливостью, словно хотел удержать тепло руки, запомнить силу ее пожатия.

Уже выйдя за ограду тюрьмы, Меринг, державший руку так, точно, изменив ее положение, потревожил бы память о Розе, осторожно сунул ее во внутренний карман пиджака.

Дело затеялось не вчера, оно велось вот уже две-три недели. Роза напрасно нервничала, опасаясь, что ее усилия принимаются во внимание недостаточно. Наоборот, предпринималось кое-что немаловажное, обещавшее дать плоды в ближайшее время.

Вскоре к Мерингу явился неуловимый Лео Иогихес, самый таинственный человек в их группе — не по тому, как себя вел, а по тому, как умел неожиданно исчезать.

Энергичный, с суровым строгим лицом и металлическим взглядом, Иогихес оказался в нелегальных условиях организатором незаменимым. Истинным его призванием была конспирация. Такой хладнокровный и смелый человек был теперь нужен небольшой группе левых как воздух.

Когда они заперлись в кабинете, Иогихес сказал:

— Кое-что получается. Журнал удастся, кажется, напечатать. Но материалы, где материалы?

— У меня две статьи Розы...

— Ого, даже две?!

— Вторая будет подписана псевдонимом Мортимер.

— Так... А Карл прислал что-нибудь?

— Пока нет. Сделаем все возможное, чтобы получить от него.

— Время не терпит: нельзя упускать благоприятного случая.

— А типография? Удалось договориться?

Они пробовали было связаться со Штутгартом, городом книжников, но Цеткин дала оттуда знать, что власти

шарят повсюду и вряд ли там что удастся. Попробовали и в других местах.

— Типографию я найду,— сказал Иогихес твердо.— Надо, чтобы весь материал был собран. Название для журнала придумано?

— Мы с Розой думали. «Интернационал» подойдет?

— Это удачно, мне нравится. Боюсь только, что, пока будем ждать статью от Карла, сорвется с печатанием.

Иогихес был моложе Меринга лет на двадцать, но тот в каком-то смысле принимал его руководство, признавал в нем твердую волю организатора.

— Есть еще статьи Клары, Кете Дункер... Да и я напишу, разумеется,— сказал Меринг.

Так появился на свет журнал с немыслимо вызывающим названием — «Интернационал» — в стране с осадным положением и разрушенными международными связями.

От Либкнехта материал так и не удалось получить. Наиболее значительными и важными в нем оказались статьи Люксембург и Меринга. Они заключали в себе не только полный идейный разрыв с правой социал-демократией, но и разгром центриста Каутского. Каутский был назван Розой вождем «болота», который готов прибегнуть к любым софизмам, только бы оправдать войну и предательство социал-демократов. В статье же, подписанной Мортимером, Роза Люксембург с бичующей едкостью изобличала попытки Каутского «усовершенствовать» империализм. Она сравнивала их с наивным намерением обрезать когти у тигра и после этого доказывать ему, будто в его же интересах начать питаться овощами и медом.

Меринг вскрыл жалкие увертки правых социал-демократов, которые измену решениям и духу Штутгартского и Базельского конгрессов пытаются оправдать ссылками на позицию Маркса и Энгельса в оценке войн прошлого века.

Выход «Интернационала» весной пятнадцатого года

явился крупнейшим событием в революционном подполье Германии. Ускользнуть от внимания властей он не мог. Как только журнал отпечатали в Дюссельдорфе, за ним началась охота, экземпляры немедленно изымались. Продолжить издание так и не удалось.

Но дело было сделано. В «Интернационале» прозвучала неумолимая правда о происходящем, та правда, какая была возможна на исходе первого года войны.

IX

Первого мая в Вогезах, на Западном фронте, на одной из вышек, уцелевших в зоне военных действий, взвился дразнящий красный флаг. Произошло это не в том батальоне, где служил Либкнехт. Установить, кто это сделал, так и не удалось. Но от опасного солдата все равно решили избавиться.

На Западном фронте шли тяжелые бои, и дух войск подвергался опасному испытанию. А тут еще Либкнехт! На востоке дела обстояли лучше, наступление вели немцы. Надо было переправить его туда.

Прощаться с Либкнехтом собралось множество народа. На дорогу притащили уйму продуктов.

— Да что вы, товарищи, куда мне так много! — говорил он. — Я же не довезу. Сейчас все по-братски разделим.

— Бери, бери, еще неизвестно, что тебя ожидает. А тут остаются друзья, запомни.

Они долго жали ему руку; хотелось, чтобы час расставания сохранился в его памяти крепко.

Ротный, сержанты стояли в стороне и неприязненно наблюдали, как провожают смутьяна. Лучше переждать, чем вмешиваться, рискуя навлечь на себя открытое недовольство. Они были рады, что освобождаются наконец от

опасного человека, и предпочли быть снисходительными.

Потом ротный подозвал его и хмуро сказал:

— Так вот, получите свои документы, Либкнехт. Поедете с сопровождающими.

— Это для какой еще цели?

— И вам будет спокойнее, и нам.

— Какое же беспокойство, если я больше за вами не числюсь?

— Мало ли что вам вздумается в пути!

Возле казармы стояла плотная толпа провожающих. Ротный приказал всем разойтись, а они не расходились. Либкнехт махал им рукой на прощание.

Наконец повозка двинулась. Сопровождающие уселись, один чуть не отдавил Либкнехту ногу.

— Ну, кончился этот спектакль,— заметил он пренебрежительно. — Как только не надоест людям заниматься такой ерундой! Родственник ты им, что ли? Что за проводы!

По их понятиям выходило, что кто не свой, тот чужой. Война подтачивала этот собственнический мир пока еще медленно. Вступать в разговор Либкнехту не хотелось.

— Ладно, не будем ссориться,— миролюбиво сказал он. — Жара какая, расстегнуть, что ли, воротник. — И, обнажив шею, подставил ее ветерку.

Ветерок был слабый, едва ощутимый.

Слушая рассуждения солдат, Либкнехт подумал, что с рабочими чувствует себя легко, а вот когда сталкивается с косностью крестьянина, испытывает какой-то гнет.

Отчего? Оттого ли, что собственничество ему чуждо? Тогда тем более надо смелее вступать в спор, выпускать хотя бы по капелькам гной, накопившийся у него в крови.

Это было очень важно. Его отношение к крестьянству еще не ясно, сказал он себе.

Июльское солнце стояло в небе высоко и палило безо всякого сожаления. Нигде не было видно засеянных

полей, лишь клочки, небольшие участки. Крестьяне были выселены почти все. Война давала знать себя на каждом шагу: снарядные гильзы, разбросанные в траве; сломанные, без днищ двуколки; трупы лошадей, над которыми кружили птицы.

— Сколько же всего пропадает зря, подумать только! — заметил один из сопровождающих.

— А тебе что, жалко? Не наше ведь,— отозвался второй.

— Я скажу так: успех вещь ненадежная; сегодня мы здесь, а завтра нас погонят и бои пойдут на нашей земле.

— Упаси бог!

— Ты что — католик?

— Католик...

Либкнехта чуть-чуть укачало, он слышал разговор сквозь дрему и снова подумал, какое множество закостенелых понятий живет в душе крестьянина. Как одолеть их? Не разрушить сразу, нет, а хотя бы сдвинуть с вековечных оснований?

X

Он прибыл в район Двинска, в Прибалтику. Шло летнее наступление пятнадцатого года. Центральная часть фронта выдвинулась далеко вперед по направлению к Минску, фланги же продвигались мало: русские войска вели себя здесь активно, и немцам после нескольких попыток наступления пришлось перейти к войне позиционной.

Пастельные тона местности успокаивали глаз. Все выглядело более блеклым, чем на западе, без яркой сочности и изобилия, но мягче по краскам. Россия это или еще не совсем Россия? — спросил себя Либкнехт.

У него было проверенное временем прочное тяготе-

ние ко всему русскому: увидеть своими глазами, ощутить колорит и характер жизни, хотя бы немного проникнуть в тот мир, который так давно его привлекал.

Еще в 1905 году Либкнехт убежденно призывал немецких рабочих «стать под знамя русской революции». Спустя несколько лет он начал изучать русский язык: то ли чтобы понять Достоевского и Толстого в их родной языковой стихии, сделать более доступными для себя, как доступны были ему Шекспир, Стерн, Вольтер, Бомарше; то ли чтобы получить доступ к тому, что представляла собой пережившая революцию девятьсот пятого года Россия. С тех пор как он связал свою жизнь с Соней, все русское стало ему еще ближе. В сущности, каждый революционер обязан был знать как можно больше об этой стране, о ее культуре, идеях, народе.

И вот Либкнехт очутился вблизи русских земель. Работая на передовой, можно было слышать голоса с той стороны фронта. Когда лопаты или кирки стучали слишком громко или немцы, забывшись, заговаривали в полный голос, с той стороны начиналась стрельба.

Днем артиллерия и авиация старались уничтожить укрепления противника. А по ночам солдаты рабочих рот восстанавливали то, что было разрушено за день.

Свои окопы и блиндажи русские строили так же тщательно, как и немцы. Артиллерия их била метко. Война вступила в ту фазу методичного истребления, при которой конца ей не предвиделось. То, что на первом ее этапе меньше принималось в расчет — ресурсы металла, людские резервы, моральный дух масс,— получало все большее значение.

Либкнехт на собственном опыте узнал, что такое запущенность, грязь и фронтовая антисанитария. На хуторе, где разместилась рабочая рота, полно было вшей и блох. Солдаты возвращались под утро с передней линии измученные вконец. Они мечтали только поспать, хоть

три-четыре часа. Но насекомые обсыпали все тело, впивались в людей.

Иной раз рота работала под прикрытием высотки, в другой — без всякого укрытия. Стоило чуть высунуть голову, как противник открывал стрельбу.

Однажды им пришлось рыть ночью окопы на старом запущенном кладбище. Ракеты то освещали их участок работ, то гасли, и все погружалось в полный мрак. Стрельба шла совсем близко. Один солдат провалился в могилу: он очутился в яме и с ужасом понял, что под ногами у него разложившийся человеческий труп.

Случалось, в окоп попадал снаряд. Убрав раненых и убитых, солдаты команды опять продолжали работу.

Новые испытания Либкнехт переносил нелегко. Вдобавок над солдатами строительной роты висела угроза, что им прикажут взять ружья и пошлют стрелять. Такой приказ мог последовать в любой час: убыль в людях была большая.

Командир роты любил даже припугнуть:

— Вот пошлю всех, и, как миленькие, начнете палить. Ишь неженки подобрались, скажите!

При этом он поглядывал на солдата в пенсне. Солдат в пенсне был у него бельмом в глазу.

Несколько раз во время ночных работ Либкнехт ухитрялся терять пенсне. Товарищи шарили вместе с ним, пытаясь найти эти чертовы стекла.

— Что еще за порядки?! Вот антимонии какие! А ну, вперед! И быстрее в окопы!

Повторялось то, что Либкнехт успел пережить на Западном фронте, но в еще более тягостном виде.

Он твердо решил, что стрелять не будет ни при каких обстоятельствах.

Однажды ротный услышал это и, озадаченный, переспросил:

— Что, что? То есть как не будешь?

— Это противно моим убеждениям.

— Как?! — заорал ротный. — У тебя есть свои убеждения?! А зачем они мне? Что я буду с ними делать?

— Дело ваше, не знаю. Но стрелять я не буду.

Командир, расставив ноги пошире, пытал взглядом берлинского сумасшедшего: понимает он или нет, что здесь существует приказ и ничего больше? Приказ, и никаких других штучек?

Ротный мог бы унизить берлинца при всех, обозвать трусом. Но он знал уже, что номер не пройдет — никто его не поддержит. Этого чудака любят все, его уважают и берегут.

— Ладно,— сказал он,— иди. Авось без твоих пуль обойдусь. Но если понадобится, не взыщи.

Либкнехт не поддавался тяготам и продолжал свое дело даже в этих условиях. За короткий час передышки или урывая время от сна, он писал очередное обращение. По первому знаку тревоги Либкнехт совал листки за пазуху или за подкладку фуражки.

Делать опять приходилось все, вплоть до рытья выгребных ям. Нравы были всюду одни и те же: наблюдать, как депутат, оратор, смутьян копает выгребную яму, доставляло начальству особое удовольствие.

Или, если на фронте случалось затишье, ему приказывали переносить с места на место навоз. Широкой лопатой, шауфелем, он накладывал его на тачку. Нагруженная доверху, как этого требовал старший, она делалась невероятно тяжелой.

Останавливался капитан. Левой рукой он поглаживал усы, не позволяя им слишком топорщиться. Он знал, кто этот человек в пенсне, со щекой, которая иногда дергается.

— Как работенка? Ничего, а?

Сочувствие в его голосе не должно было вводить в заблуждение: оттенок издевки присутствовал тоже.

— Все бы ничего,— отвечал Либкнехт с солдатским добродушием, усвоенным на фронте,— если бы мир поскорее пришел.

— Вот, значит, как... — Капитан задумчиво оттягивал свой ус. — Выходит, пока мира нет, работенка не по сердцу? Был бы мир, вам не пришлось бы возиться с дерьмом?

— Не совсем так, господин капитан. Я хотел сказать, что делал бы это с бо́льшим удовольствием, не будь войны.

Как, как? Смотрите, этот Либкнехт имеет в виду дерьмо другого рода! Но черт с ним, оставим пока без внимания.

— А то, что происходит сейчас, вам не нравится?

— Кажется просто отвратительным, господин капитан!

— Гм, странный, я сказал бы, солдат, надо будет вами заняться.

— Мною уже занимаются.

Еще раз буркнув: «Гм, любопытный случай», капитан отходил. Конечно, он знал, что солдатом занимаются.

XI

Да и могло ли остаться в секрете, что после того, как Либкнехта перевели сюда, его навестили несколько старших офицеров?

Каждый делал вид, будто в расположение роты забрел случайно; разговор заводил ненароком, щурясь и смотря вдаль.

— Интересно все же, что вы думаете о текущих событиях.

Поднявшись, Либкнехт в свою очередь переспрашивал:

— Вам угодно знать мое мнение о войне?

— Что думает наш брат, ясно: у немецкого офицера колебаний нет. А вот интеллигент, в прошлом левых убеждений...

— С убеждениями не расстаются так легко, господин майор.

— Если они ошибочны, лучше расстаться. Разве не так?

Иные офицеры, разговаривая с ним, не скрывали собственных тревог и сомнений.

— Вот вы, человек глубоко просвещенный, как вы себе представляете ход войны?

Либкнехт обычно ссылался на то, что высказал все с трибуны рейхстага.

— В газетах не было ничего, странно. Да и прошло столько времени, что положение могло измениться.

— Оно кажется мне одинаково бесперспективным и для Германии, и для ее противников.

— Но если *одинаково*, то сторона, у которой нервы окажутся крепче, получит преимущество?

— Разве начальство в силах управлять нервами солдат?

— До некоторой степени да...

— Ну, допустим, с солдатами оно справится. А продовольствия, угля, металла все равно же не хватит. Отсюда неминуем вывод, что, начав войну, Германия пустилась в авантюру.

— Мы принуждены были воевать в порядке самозащиты!

— Вряд ли я сумею убедить вас, но империализм и самозащита вещи противоположные.

— А вас, господин Либкнехт, переубедить разве нельзя?

— Смею уверить вас — нет!

Разговор все же продолжался. Собеседнику хотелось выпытать мнение солдата: чем же кончится, черт возьми,

эта катавасия? Неужто, если война сделалась затяжной, исход ее предрешен?

Однажды побеседовать с ним пожелал один из отпрысков дома Гогенцоллернов. Он попросил разрешения у командира удалиться с Либкнехтом.

Несколько раз он повторил, что ведет разговор не с солдатом, а с широко известным деятелем. Но рядом шли сутулый солдат в помятой фуражке и сношенных башмаках и принц в гвардейской форме полковника, в новых коричневых крагах. Всем, кто бы ни встретился, было видно, какая пропасть их разделяет. Почтительно козыряя полковнику, они с удивлением думали, о чем тот может беседовать с солдатом.

Выслушав суждение Либкнехта, принц крови помолчал.

— Согласиться с вами я не могу, вы понимаете сами. Но в нашей системе многое не по душе и мне. Ваша партия заняла, по-моему, позицию верную: защищая интересы своего класса, она показала, что остается партией немецкой.

— Я давно не разделяю ее взглядов.

— А не идете ли вы против интересов нации?

— Эти-то интересы и требуют бороться против войны. Вы видите сами, сколько жертв она уже унесла, хотя ни на йоту не приблизила немцев к мировому господству. Только обогатила тех, кто в ней заинтересован.

— Но сколько же офицеров из лучших фамилий погибло!

— Понятия чести и храбрости существуют, я не спорю; особенно в офицерском корпусе. Но в целом на войне наживаются буржуазия и землевладельцы. Новые территории, колонии в других частях мира нужны только им.

— А разве положение рабочих не стало бы лучше?

— Кое-что им уделили бы, да: крохи, с какими вы-



годно расстаться, чтобы остальное спокойно положить себе в карман.

— Такой чисто утилитарный взгляд таит в себе много порочного, господин Либкнехт,— заметил полковник.

— Он позволяет разглядеть существо явлений.

— Ведь признаете же вы искусство, литературу, все изящное!

— Да, но они не стали всеобщим достоянием, ими владеет ничтожное меньшинство.

— И чтобы все это стало всеобщим, надо выйти из игры, прекратить военные действия?!

— Прежде всего надо изменить общественный строй.

Такие случайные встречи не меняли положения Либкнехта. Он по-прежнему оставался солдатом, которого заставляли рыть траншеи, грузить тачки и копать нужники.

Грязь, насекомые, холод, пришедший вместе с осенью, ночные обстрелы, трупы лошадей и еще больше человеческих трупов... Война унесла уже, по подсчетам статистиков, полтора миллиона жертв. Но до развязки было еще далеко.

XII

Двадцать восьмого мая Бетман-Гольвег в ответ на требование объявить немецкие цели войны сделал заявление в рейхстаге. Перед тем он долго совещался с представителями фракций.

Согласовать все и со всеми было почти невозможно. Ставка настаивала на одном, земельные магнаты — на другом, промышленники — на третьем, а социал-демократы, с которыми приходилось считаться все больше,— на своем, четвертом.

Помня, какие споры вспыхивали уже во фракции, Шейдеман предостерегал канцлера: декларация должна

быть составлена так, чтобы не вызвать протеста социалистов. Германия начинала войну как страна, спасающая свое достояние, а продолжает ее на чужих территориях. Все хотят знать, чего она добивается.

— Правительство, господин Шейдеман, принуждено считаться со всеми классами общества. На мир без некоторых важных для нас приобретений промышленники ни за что не согласятся.

— Точнее: без каких именно?

— Скажем, бельгийские рудники... Или некоторые весьма перспективные колонии французов и англичан в Африке.

— Это не пройдет, социалисты этого не поддержат!

— Но я ищу формулировки, с которыми вы могли бы согласиться.

Торг, медленный и упорный, продолжался немалое время.

Положение Бетман-Гольвега осложнялось и с другой стороны. Император уже несколько раз заявлял ему, что жертвы народа, храбрость солдат, искусство его генералов дают право Германии на самое полное возмещение.

— Они намерены были перехитрить меня и продиктовать свои условия, но условия диктуем сегодня мы!

— Ваше величество, переговоры еще не начались, а ресурсы наши уже истощаются.

— Так надо пополнить их — из областей, где стоят наши армии. Не напрасно же я жертвовал жизнью моих подданных!

Канцлер продолжал с терпеливой настойчивостью:

— В марте к зданию рейхстага во время сессии подошла женская демонстрация, кричали: «Верните нам наших мужей!», требовали хлеба и окончания войны.

— Вы могли бы не говорить мне об этом,— недовольно сказал Вильгельм; встал и энергично прошелся по кабинету,— я это знаю. А кроме того,— и он повернулся к

Бетману,— я добр, но не сентиментален. Я не был бы властителем своих подданных, если бы из-за сердоболия позволил лишить мой народ его достояния. Мне войну навязали, и я доведу ее до конца!

— Война будет доведена до победы, я в этом тоже уверен, но не в интересах трона натягивать тетиву до предела.

Остановившись в глубине кабинета, Вильгельм пристально посмотрел на седого высокого человека с утомленным лицом и мешками под глазами. Бетман стоял, полный решимости.

— Что вы понимаете под натягиванием тетивы?

— По донесениям министерства внутренних дел, демонстрации недовольства произошли не только в Берлине. Народ устал.

— А я вижу в этом происки социалистов. В бараний рог надо было их согнуть, и я готов был пойти на это, но вы уверили меня в их преданности и патриотических чувствах.

— Их чувства именно таковы, ваше величество.

— Если так, то подсчитывать жертвы сейчас не время! — Он вернулся к столу и продолжал спокойнее: — Побыли бы вы, мой милый Бетман, в ставке, окунулись бы в атмосферу, которая там царит!

— Вы счастливым образом, государь, возглавляете наши армии, и вам равно доступно обозрение фронта и тыла. Тут и там жертвуют собой во имя блага империи ваши преданные сыны.

Вильгельм разгладил усы и прищурился: куда клонит этот хитрый старик? Но он не из тех, кто позволит обвести себя вокруг пальца.

— Одним словом, я хотел бы, чтобы в декларации нашли свое выражение высшие идеалы нации. Народ, проявивший такой героизм, имеет право на возмещение понесенных им жертв.

Канцлер покинул дворец подавленный. Требования ставки были еще жестче, он знал. Нажим правых партий он испытывал ежечасно, а с социалистами приходилось ладить.

Поэтому переговоры с Шейдеманом и Эбертом велись с большой осторожностью. Кое-что лучше было припрятать до поры до времени.

Когда в мае собрался рейхстаг и пришло время огласить декларацию, канцлер, утомленный, но подтянутый, как всегда, приступил к своему щекотливому делу. Лишь по тому, как он перекладывал листы на кафедре, можно было догадаться о его беспокойстве.

Атмосфера заседаний за последние месяцы изменилась. Трудно было скрыть налет скуки на лицах, а многие и не скрывали. Ясно было, что все диктуется положением на фронтах. Но странно: благоприятное положение не приближало развязки. Приходилось все чаще и все педантичнее подсчитывать ресурсы страны.

Когда Бетман-Гольвег заявил, что Германия не требует ни земельных приобретений, ни возмещения всех своих потерь, Шейдеман с удовлетворением оглянулся, ища взглядом Гаазе и его неугомонного союзника, старого Ледебура. Как? Теперь успокоились? Но, продолжал канцлер, нация, ввергнутая в испытания не по своей вине, вправе вернуть хотя бы в малой степени то, что она потеряла.

Депутаты насторожились, задвигались в креслах: так все-таки, с аннексиями или без? Станет Бельгия вновь самостоятельной? Эльзас придется отдать Франции?

Правые, ловившие каждое слово декларации, откинулись назад, явно неудовлетворенные. Социалисты переглядывались, не решив, оставить ли эти скользкие формулы без внимания или нет.

Шейдеман послал записку Эберту и, поглядывая на него, ждал ответа. Во взгляде Эберта были недоумение

и подозрительность. Он не любил давать ответы сразу, не подумав как следует. Вообще-то он согласился бы с любой декларацией: самое важное сохранить блок, превративший социалистов из партии оппозиции в конструктивную часть рейхстага.

Но Шейдеман настойчиво ждал ответа.

Эберт неровно нацарапал: «Не вижу оснований для беспокойства; по-моему, все обстоит нормально».

Шейдеман долго изучал записку, вопросительно подняв брови, затем методично разорвал ее на мелкие кусочки. Нет, подумал он, требованиям момента Эберт не отвечает: негибок, слишком, если хотите, простоват. А между тем сегодняшняя декларация рано или поздно взорвет единство социал-демократов. Такие последствия умный политик обязан предвидеть.

Он вздохнул и уставился на оратора. Главное было сказано, и то, что говорил канцлер теперь, значения не имело.

Как-то незаметно в зал проник слух о демонстрации перед рейхстагом. Узнав об этом, некоторые скучно кивнули, словно привыкли, что берлинцы выражают свое недовольство. На то они и чернь, чтобы протестовать и чего-то требовать.

Позже по рядам депутатов словно шелест прошел: толпа собралась очень большая, и народ все прибывает. Шум на площади усиливался. Надо было выслать кого-нибудь с успокоительным заявлением. Эберта? Нет, лучше, пожалуй, Шейдемана.

К нему поползла по рукам записка. Коллеги просили его выйти и обратиться с балкона к демонстрантам. «Ты ведь это умеешь, тебя слушают хорошо».

Он только повел бровями, будто хотел сказать: прямой надобности нет, но что поделаешь, он слуга партии и от неприятных поручений не уходит.

Но Шейдеман не торопился. Только когда председа-

тель рейхстага переправил ему записку с такой же просьбой, он, качнув с укором головой, стал пробираться к выходу.

В фойе гул толпы стал слышен явственно. Особенно резко доносились высокие женские голоса, повторявшие одно и то же.

Шейдеман подошел к двери и отодвинул немного штору.

Толпа стояла густой, словно спекшейся массой и в то же время вся находилась в движении: ее клонило то влево, то вправо. Сколько же тут человек — тысячи две? А может, и больше? Возбужденные лица, на которых написана жажда действия. Из толпы поднималось множество рук: женщины готовы были, казалось, подпрыгнуть, достать до высоких окон, чтобы на них обратили внимание. Но что они выкрикивали?

Он дотянулся до форточки и приоткрыл ее. Крики ворвались сюда, точно для них распахнули широкий проход.

Толпа, оказывается, требовала Либкнехта: «Пускай выйдет к нам! Дайте нам Либкнехта!» Хорошо, что он отсутствовал.

Шейдеман словно попал под действие некоего магнитного поля: голова его была повернута навстречу голосам, но всем своим существом он сопротивлялся тому, что сюда доходило.

На короткое время пошатнулось высокомерное отношение к Либкнехту: сила, вознесшая его, показалась слишком серьезной. Она особенно выросла после того, как социалисты помогли властям избавиться от него, услать из Берлина и подставить под пули. А толпа перенесла на него свои ожидания и надежды: имя Либкнехта стало ее знаменем.

Наконец Шейдеман захлопнул форточку. Ярость уличных выкриков стала глуше. О том, чтобы после такой

встряски вернуться в зал, не могло быть и речи. Шейдеман дошел по фойе до широкой лестницы и спустился вниз. Швейцар предупредительно протянул ему шляпу. По привычке Шейдеман насадил ее на кулак, подровнял и надел. Затем поспешно направился к боковому выходу. Он ни за что не согласился бы оказаться лицом к лицу с этими крикунами.

XIII

Необходимо было обсудить все с Эбертом. Главари партии и без того чувствовали себя без вины виноватыми, а после сегодняшней декларации Бетмана к ним привесят, пожалуй, еще один ярлычок.

Эберт пришел к нему вспотевший и раздраженный.

— Жарко, совсем как летом...— Тяжело дыша, он вытер лоб и прошел с Шейдеманом в кабинет.— Что тебе попритчилось, Филипп? — недовольно спросил он.

— Ты эти толпы видел?

— А, пустое! Я не из тех, кто впадает в истерику.

— Если намек на меня,— сухо, но с фальцетными нотками в голосе произнес Шейдеман,— то он бьет мимо цели.

— Нет, тебя я в виду не имел.— Усаживаясь, он снова отер невысокий лоб.— Декларация Бетмана меня в общем удовлетворила, не скрою.

Глаза его, помещавшиеся в глубине слишком крупного лица, вели оттуда сторожкое наблюдение. Шейдеман нередко чувствовал, что этот взгляд ему неприятен.

— Речь вовсе не о том, согласны ли мы с декларацией. Заявление канцлера дает право заподозрить, что Германия воюет во имя аннексий. Социалисты не могут этого поддержать.

— А я тут вижу, Филипп, одно только политиканство,— хмуро ответил Эберт.— Армия отважно дерется,

страна терпит лишения... Какой патриот осмелится требовать, чтобы она сама отдала плоды своих побед?!

— Пойми же, декларация дает противникам лишние козыри в руки!

Переубедить Эберта надо было во что бы то ни стало.

Поговорив по телефону кое с кем из коллег, они в конце концов решили потребовать от канцлера разъяснений: имел он в виду аннексии или не имел?

Бетман-Гольвег принял руководителей социал-демократов и дал те самые, пускай и расплывчатые, разъяснения, которые так нужны были Шейдеману.

Когда покинули его кабинет и плотной группой зашагали по коридору, Шейдеман обратился ко всем:

— Как вы считаете, а? Выходит, нападать на правительство у нас нет пока оснований?

Да, согласились они, оснований в настоящее время нет.

— Именно это я и утверждал! — произнес Эберт.— От того, что мы будем ставить палки в колеса, ничего хорошего не получится.

— Вы же были согласны с канцлером, еще когда шли сюда! — заметил язвительно Гаазе.— Прямо жаждали, чтобы он вас убедил.

— А вас он не убедил?

— Разумеется, нет.

— Тогда надо было так и заявить!

— Нет, я слишком хорошо знаю механику нашей работы, чтобы засовывать руку в жернов.

— Такую демагогию пора прекратить,— произнес в раздражении Эберт.— Надо поставить все точки над «i»!

— Неужто же возобновим дискуссию здесь?! — вполголоса сказал Шейдеман.— Ведь все согласились: повода для возражений пока нет... А тебе, Фридрих, следовало бы выступить.

— Да, да,— подхватил депутат Давид,— я тоже хотел предложить: пускай Фридрих выскажет свое мнение

с трибуны рейхстага. Оно у него наиболее последовательное и цельное.

— И выскажу, с удовольствием выскажу! Вовсе я не намерен скрывать свое мнение!

На том и порешили.

XIV

В некотором отношении фигура Эберта устраивала в партии всех. То есть всех тех, кто предпочитал умеренность и полюбовное соглашение политике крайностей. Разве что в властичности можно было ему отказать или в оригинальных идеях. Но как олицетворение твердости и лояльности он подходил вполне. Он неплохо проводил до сих пор равнодействующую между разными течениями в партии. Хотя в последнее время заметно поправел.

Когда Эберт направился к трибуне, Шейдеман подумал, что сумел бы изложить позицию социалистов осмотрительнее и осторожнее, чем Фридрих. Тут важны оттенки, тончайшие блики, а Фридрих в тонкостях не силен.

На трибуне Эберт не выглядел представительным. Налет бюргерского плебейства лежал на его облике. Не случайно лидеры других партий тянулись к нему, Шейдеману, больше, чем, скажем, к Эберту или Носке.

В сущности, социал-демократы вели теперь большую игру. Кто-кто, а Шейдеман понимал это. Война с ее бременем, необходимость единства, зависимость даже правых партий от социалистов — все укрепляло их влияние. Война расшатывала могущество тех, кто стоял у власти, а значение бывшей оппозиции поднимала.

Правые партии рассчитывали перехитрить социал-демократов и после нескольких лет сотрудничества оттолкнуть от себя, вернуть на прежнее место. Но и у тех был

свой план: подбираясь все ближе к власти, прибрать ее рано или поздно к рукам.

Иной раз Шейдеману делалось жаль, что коллеги в своей недальновидности не вполне сознают, сколь важная роль предназначена социал-демократии.

Об этом он думал и теперь, слушая Эберта. В какой-то нерасполагающей к себе манере, напыщенно и в то же время немного угодливо выступал тот. Хотелось поправить его, высказать то же, но несколько по-иному. Увы, что говорилось, то говорилось.

Из слов Эберта вновь вытекало, что рабочие — верные сыны Германии и терпеливо будут нести тяготы, легшие на их плечи.

Подперев рукой голову, Шейдеман слушал. Опять не оберешься хлопот. Опять несогласные подымут вой: посыплются обвинения в угодничестве, пособничестве, отказе от классовых целей... Сколько будет с ними еще возни — с Ледебуром, Гаазе, Каутским!

Хорошо еще, что партия имеет мощную опору в профсоюзах, которые честно проводят политику классового мира.

Со скрытой неприязнью Шейдеман дослушивал малоинтересное и отнюдь не прозорливое выступление своего коллеги.

XV

Хотя немецкий солдат дрался с тем же упорством, что и в начале кампании, моральное состояние войск стало хуже. Скрытое недовольство войной возрастало. То, что прежде было видно немногим, теперь на опыте постигали тысячи.

Листовки, проникавшие на фронт, делали свое дело. Когда солдат читал в них осуждение войне, ему казалось, что кто-то вернул ему его мысли в более энергичном виде.

Листовки прятали под рубаху, в башмак, прочитывали тайком, не догадываясь, кто мог подсунуть их, зато хорошо зная, кто может дознаться и чтó из этого произойдет.

Своим человеком, к которому легко было обратиться за разъяснениями, был Карл Либкнехт. Так обстояло дело и на участке, куда его забросила судьба.

— Странное, понимаешь ли, дело,— заговорил с ним немолодой солдат Штанц, человек основательный.— Воюешь, воюешь, а тут штафирка, который и ружья сам не держал, пробует тебе доказать, что дерется наш брат понапрасну.

— Дельное что-нибудь в листовке есть?

— В том-то и дело, понимаешь ли...

— У тебя же собственная голова должна быть,— сказал Либкнехт.

Один из сидевших рядом солдат заметил:

— Наше дело драться, а рассуждать поменьше.

— Кто же будет за тебя рассуждать?

— Начальство, а то кто?

— У него свои интересы,— возразил Либкнехт,— жизнь солдата оно нисколько не ценит.

Он пояснил, что дело не в злой или доброй воле начальников: война по сути своей такова, что в жертву ей приносятся миллионы жизней. А толку все равно никакого, и слова о святых целях одна только болтовня.

Выходило, что листовки ближе к истине, чем то, что вдалбливали им командиры.

— Стало быть,— сказал Штанц,— воткнуть ружья в землю и разойтись по домам?!

— Если каждый в отдельности так поступит,— объяснил Либкнехт,— его ожидает расстрел. Если же побросает оружие вся армия, война станет невозможной.

— Но тогда враг захватит немецкие земли? — заме-

тил солдат Холендо, порядочный зубоскал и шутник.— И снимет с нас штаны?

— Не забывай, что на той стороне фронта такие же обманутые, как и мы с тобой. Должен же кто-то начать!

— Эх, лучше бы поскорее добиться победы, тогда и разобрались бы во всем,— сказал Холендо.

— Нет,— возразил Либкнехт,— победа только позволит правительству натянуть вожжи крепче.

— Значит, ты, Карл, за поражение? Или как?

— Такие вещи не зависят от воли одного человека. Но выиграть войну Германия все равно не в силах.

Он стал объяснять, почему игра обречена; рассказал, что еще старый Бисмарк заклинал немцев не начинать войны на западе и на востоке одновременно. Прежние планы военных, при всей их жестокости, были хотя бы разумнее. Теперешние сторонники захватов так близоруки, что заранее обрекли страну на разгром.

— Вы думаете, в ставке не понимают, что средств у противника больше? Сначала на запад кинулись, пока русские были неготовы, теперь ведут наступление на востоке. Русские отступают, но драться способны долго. Что́ в таких условиях делает ставка? Бросает массы войск то в одном направлении, то в другом, выбирая участок удара. Это всегда приводит к огромным потерям. Для генералов — массированный удар, а для солдат — цепь сплошных смертей. При малейшей надежде на успех генералы не пожалеют сотен тысяч жизней.

— Но это же бойня! — с негодованием сказал Штанц.— Хуже, чем скот, убивают!

— Так и есть,— сказал Либкнехт.— Именно бойня.

— Хорошо, я, допустим, подохну, но семье, детям станет от этого легче?

— Нет, нисколько.

— Тогда какая же сволочь гонит меня на верную смерть?!

— Тот, кто требует от народа жертв, а сам наживается.

Разговор взволновал солдат. Расходясь, они долго еще толковали о том, что делать: не воткнешь же в землю винтовку и не скажешь: «Довольно, я кончил!»

А Либкнехт, видя, как глубоко задевают солдат листовки, с увлечением думал, какие новые мысли надо вложить в очередную свою работу и какие новые лозунги выдвинуть.

XVI

После того как рядового Кнорре выписали из лазарета, он попал в тыловую часть. Раненая нога не позволила отправить его на фронт.

У Кнорре оказался четкий разборчивый почерк, и он умел толково составлять донесения. Когда в части узнали об этом, а Кнорре постарался сам, чтобы узнали, командир решил:

— Оставлю тебя при себе, будешь бумаги разные составлять.

Вскоре, присмотревшись ближе к делам своего начальника, Кнорре убедился, что ворует тот без зазрения совести. Это было на руку писарю, который все чаще домогался увольнительных записок.

— Почему так часто? — спросил капитан Унгер.

— Надо...

— То есть как «надо»?! Ты в гостях у меня, что ли? Я тебя, в случае чего, ближе к фронту переправлю, к линии огня.

— Вам, господин капитан, невыгодно.

— Как, как? Почему такое?

Привыкнув в условиях подпольной работы к риску, Кнорре хладнокровно объяснил, что перед тем, как от-

быть на фронт, он успеет вывести на чистую воду проделки своего начальника.

Побушевав сколько нужно, Унгер пришел к выводу, что грех в самом деле придется делить пополам. Парень толковый: раз уж такая история вышла, лучше оставить его при себе. Только пускай держит язык за зубами.

— Получай увольнительную, черт с тобой! Но помни, в случае чего...

— Можете на меня положиться.

Ведя дела исправнейшим образом, Кнорре получил возможность проводить вечера там, где ему было необходимо. А позже стал прятать гектографические оттиски листовок, часть типографского шрифта и другие, не менее опасные вещи в несгораемом ящике начальника, ключ от которого держал всегда при себе.

Разумеется, риск был немалый. Один раз в батальон явилась комиссия проверять солдатское имущество. Видно, кое-какие подозрения у властей возникли.

Застигнутый врасплох, Кнорре, когда вошли к нему в канцелярию, вскочил, вытянул руки по швам и замер, ожидая, чем кончится история.

Они стали придирчиво осматривать все. Если сейчас направятся влево к несгораемому ящику, он пропал.

Капитан Унгер, видя, что члены комиссии направились влево, сообразил, что надо спасать себя: он знал, что в несгораемом ящике писарь кое-что прячет.

— Там дальше мое личное, не солдатское,— сказал он.

— Тогда не будем просматривать? Или как? — Член комиссии вопросительно посмотрел на коллег.

Обыск был приостановлен. Кнорре, стоявший навытяжку, вздохнул с облегчением. На этот раз пронесло.

Как раз в тот вечер предстояла встреча в трактирчике возле Шпрее, в маленькой пивнушке. У него была надежда увидеть там не простого связного, а товарища повыше.

Когда он опять попросил увольнительную, Унгер метнул в его сторону гневный взгляд.

— Я б тебя застрелил, ей-богу!

— Что поделаешь, господин капитан. Зато постараюсь быть вам еще более полезным.

Унгер ничего не ответил. Он подписал увольнительную и протянул писарю, не глядя на него.

В потрепанной шинели и старых башмаках Кнорре был похож на сотни таких же солдат на берлинских улицах. Они примелькались, никто не обращал на них внимания.

В пивной он спросил кружку пива и, постукивая пальцами по столу, стал ожидать условного знака.

Наконец, сурового вида, невысокий, с очень выразительным, энергичным лицом человек, пробиравшийся между столиками, обратился к нему:

— Пиво сегодня какое? Дерьмо или можно пить?

— Привык,— сказал Кнорре.— На хорошее рассчитывать не приходится.

Тогда человек сел, не обращая внимания на соседа. Разговор завязывался как бы случайно и уж, во всяком случае, был незначителен. Суровый товарищ (это был Иогихес, Кнорре готов был дать голову на отсечение) смотрел рассеянно по сторонам и недовольно щурился. Словно все ему было тут неприятно, в этой приречной пивнушке.

— Теперь еще Италия, черт ее побери,— заметил Иогихес брюзгливо.— Тоже пошла войной против нас.

— Да, стерва порядочная,— согласился Кнорре.

Позже Иогихес, уже попивая свое пиво, спросил, не глядя:

— Говорят, на вас можно положиться?

— Я надеюсь.

— Странный ответ... Что значит «надеюсь»? Нужна уверенность.

Он порылся в кармане и достал мундштук. Затем выцул курительную бумагу, предложил соседу — пускай закурит тоже.

В общем, в руках у Кнорре оказался довольно важный материал, который он не спеша сунул в карман.

— Мне надо иметь тысячу экземпляров, не меньше. Лучше, если больше.

— Постараюсь,— сказал Кнорре.

— Тут насчет стервы Италии. И еще одной стервы.

— Я понимаю,— сказал Кнорре.

При всей нелепости разговора у него осталось ощущение встречи со значительным человеком. Он не мог себе объяснить почему.

Каждый заплатил за свое пиво сам. Покинули пивнушку в разное время, даже не кивнув друг другу. Мало ли кто может сесть за ваш столик...

Ночью, когда в казарме все спали, Кнорре, добившийся права на собственный огарок, переписывал при свече листовку. В случае чего он бы ее сжег. Но нет, все складывалось благоприятно.

Она называлась «Главный враг в собственной стране». Лишь много позже он узнал, что написана она была самим Либкнехтом.

Целью листовки было показать, кто истинный виновник происходящего.

Кнорре читал с увлечением:

«Народные массы воюющих стран начинают освобождаться от сетей официозной лжи... Безумное заблуждение о «священных» целях войны все более и более рассеивается, военный пыл исчезает; как в народе, так и в армии растет, укрепляется воля к миру...

Мы спрашиваем: кого благодарить германскому народу за продолжение кошмарной войны?.. Кого же еще, как не ответственных, но по существу безответственных деятелей в собственной стране!

...Безрассудный лозунг «держаться во что бы то ни стало», который все глубже ввергает народы в пучину взаимного истребления, теперь опозорен. Исторический момент властно диктует социалистическую задачу дня — интернациональная пролетарская классовая борьба против кровавого истребления народов империалистами!

Главный враг каждого народа — в собственной стране.

Главный враг германского народа находится в Германии: это германский империализм, германская военная партия, германская тайная дипломатия».

Всю ночь Кнорре готовил экземпляр листовки, чтобы можно было в следующую ночь ее размножить: писал особыми чернилами, которые он держал в укромном месте.

...Паренек, развозивший белье из прачечной по домам, мог и не подозревать, что в каждую пачку засунута опасная листовка. Ребятишки-смельчаки ухитрялись тайком совать листовки в пивных, харчевнях, где рабочий человек проводил часок-другой в надежде забыться от гнета военного существования. Листки расклеивали на телефонных столбах или засовывали в почтовые ящики.

Действовали какие-то тайные группы, и полиция не способна была представить себе, насколько они сильны. То казалось, что пресечь их деятельность невозможно, то после удачно проведенной акции возникала у полиции надежда в недалеком будущем подавить незримое сопротивление в стране.

XVII

Канцлеру доносили, конечно, о подпольной работе левых. Прощаясь с депутатами-социалистами, он после любезных слов как бы невзначай спрашивал: как это совместить с позицией, которую они занимают в рейхстаге?

Эберт резко говорил, что социалисты тут ни при чем: виноваты разные отщепенцы. Ведь он уже заявил недву-

смысленно, что социал-демократы верны взятым на себя обязательствам.

Шейдеман старался использовать колкости канцлера в своих интересах. При той политике, которую продолжает правительство несмотря ни на что, говорил он, недовольство не может не расти. Народ, несущий такие тяготы, вправе требовать доверия к себе и забот о своих насущнейших нуждах.

Канцлер понимающе кивал.

— Если бы вы знали, с какими препятствиями приходится сталкиваться даже мне! Но я готов сделать все, что можно.

— А то ведь трудно поручиться за завтрашний день.

Оставить такую угрозу без ответа было нельзя.

— Господин Шейдеман, я ценю ваши предостережения, но надо смотреть в завтрашний день с большей верой. Наше внутреннее равновесие достаточно прочно.

После такой пикировки они дружелюбно расходились. Не мог же Шейдеман посвятить канцлера в борьбу, которую руководство выдерживает внутри своей фракции.

Против безоговорочно соглашательской политики руководства выступало все больше депутатов. Опыт говорил им, что с этой политикой надо кончать и, чем скорее, тем лучше. То Гаазе, то Каутский, то Ледебур предостерегали партию от курса, которым она идет: чтобы не потерять доверия масс окончательно, необходим был маневр.

Со строптивыми депутатами пока еще удавалось ладить. Один только Либкнехт, стоило ему появиться в Берлине, доставлял им всякий раз неприятности.

Несколько позже представители фракций решили, впрочем, устные запросы допускать лишь в тех случаях, когда их поддерживают не менее пятнадцати человек. Тем самым они надеялись парализовать открытую дея-

тельность Либкнехта в рейхстаге. Оставались, правда, запросы в письменном виде. Председатель Кемпф не оглашал их и старался даже не приобщать к стенограмме. Зато их можно было напечатать в виде листовок и довести до народа.

Но самим своим присутствием Либкнехт мешал представительности заседаний, нарушал их плавный ход, а случалось, и портил всю игру.

Двадцатого августа статс-секретарь, то есть министр иностранных дел, фон Ягов должен был сделать в рейхстаге очередное заявление о целях Германии в войне. Он подошел к трибуне и собирался начать свою речь. Именно в тот момент, когда тишина достигла высшей точки, Либкнехт вскочил и выкрикнул на весь зал:

— Хватит пустых слов! Страна жаждет мира! Дайте наконец мир Германии!

Поднялся страшный шум, со всех концов понеслись протесты. С большим трудом председатель восстановил тишину. Затем строго произнес, что накладывает на депутата Либкнехта взыскание.

Фон Ягов побелел от ярости: эффект его выступления был испорчен, и тени торжественности не осталось в зале. А Либкнехт, выслушав председателя, поклонился с иронической усмешкой.

Через несколько дней он направил фракции социал-демократов письмо и в нем заявил, что так называемые социалистические цели войны, о которых шейдемановцы столько кричат, есть чистейший обман. Не гражданский мир, который они предательски защищают, а борьба рабочих против капиталистов есть настоящая цель каждого честного социалиста.

Так впервые была названа задача, которой посвятили себя революционные силы Германии.

Выполнив множество неотложных дел, Либкнехт возвращался на фронт. В помятой фуражке, в сбитой,

насквозь промокавшей обуви, с киркой за плечами опять уходил на работы — чинил дороги, копал рвы и с упорством человека, сломить которого невозможно, продолжал свое дело.

XVIII

В сентябре в швейцарской деревушке Циммервальд, впервые с начала войны, собралась социалистическая конференция представителей ряда европейских стран. Необходимо было сблизить вновь тех, кто не поддался идее мнимого оборончества.

Большевики добивались участия делегатов левых революционных групп. В. И. Ленин обосновал позицию своей партии в работе «Социализм и война». Ближайшее будущее, писал он, покажет, назрели ли условия для создания нового Интернационала. Если созрели, большевики с радостью вступят в очищенный от оппортунизма III Интернационал. Если нет, то для этой очистки потребуется время.

Устроители конференции пригласили, главным образом, центристов из разных стран. В результате лишь немногие из приехавших оказались на позиции полного отрицания войны. Большая же часть, отойдя от правых или порвав с ними, готова была лишь к компромиссам и соглашениям.

Ни Либкнехта, ни Люксембург в германской делегации, разумеется, не было. Она представляла собой довольно пеструю группу, в которой преобладали центристы во главе с Ледебуром; их было семь человек. Левых же всего трое — Берта Тальгеймер, Эрнст Мейер и Юлиан Борхард.

Свои усилия центристы, защищая позицию Каутского, направили главным образом на получение поддержки делегатов других стран. С кем они воевали в Циммер-

вальде? В первую очередь с Либкнехтом. Это он внес раскол в германскую социал-демократию и вместо поисков соглашения с социалистами воюющих стран выдвинул задачу борьбы внутри собственной партии.

— Ну и верно, и правильно! — подал с места голос Владимир Ильич Ленин.

Прищурившись, он до пронзительности остро посмотрел на оратора, как будто просвечивал его нутро. Немец Гофман пытался доказать, что только сплочение внутренних сил может привести народы к примирению.

— Стало быть, вы, товарищи из Германии, против братания солдат на фронтах? — спросил Ленин.

— Мы считаем, что время для этого не пришло. Надо добиваться, чтобы яд шовинизма действовал не так сильно. Но то, что им сегодня отравлены почти все, отрицать невозможно.

— Это предательство! — выкрикнул Борхард, самый левый из немецких делегатов.— Шовинизм — дело ваших рук. И вы заявляете, будто готовы бороться с ним?! Нет, вы и тут предпочтете политику сделок с правительством!

— А вы только тем и занимаетесь, что раскалываете рабочий класс! — запальчиво возразил ему Гофман.

— Мы открываем ему глаза на предателей и ренегатов!

В выступлениях представителей других стран было тоже много путаницы и двойственности. Необходимость совместных действий они признавали, но наличие революционной ситуации отрицали.

— Надо звать к революции, искать конкретные средства борьбы за нее в каждой стране, не теряя ни дня! — убежденно произнес Ленин.

Циммервальд стал местом упорной борьбы большевиков за новый Интернационал. Они старались отвоевать каждый голос, поддерживали каждое сколько-нибудь

справедливое мнение. Им удалось сплотить так называемую Циммервальдскую левую группу. Из немцев один только Борхард голосовал с большевиками.

С берегов Двины, издалека, донесся голос Карла Либкнехта. Сам он приехать, конечно, не смог, но приветствие свое и свою программу сумел прислать: не гражданский мир, а гражданская война, повсеместная борьба за мир, против классовой псевдопатриотической гармонии!

— Гражданская война, это великолепно! — воскликнул Ленин, когда приветствие было прочитано.

«Я в плену у милитаризма, я в оковах,— писал Либкнехт.— Поэтому я не могу явиться к вам, но мое сердце, мои мысли, все мое существо вместе с вами». Рассчитаться наконец с изменниками и перебежчиками Интернационала — вот на чем он настаивал.

Левые на конференции требовали борьбы с социал-империализмом, мобилизации пролетариата для завоевания политической власти. Их резолюция предлагала социалистам всех стран бороться против военных кредитов, разоблачать захватнический характер войны, выходить из состава буржуазных правительств. И конечно, лозунг гражданской войны вместо гражданского мира был господствующим.

Большинство же, центристское большинство предлагало нечто гораздо более расплывчатое, лишенное революционной четкости. Шаг за шагом, внося поправки, Ленин старался улучшить их резолюцию. И он во многом достиг своего.

Обращение участников Циммервальда прозвучало с меньшей силой, чем этого добивались большевики. Но, даже ослабленное оговорками, недостаточно устремленное в завтрашний день, оно вновь «через границы, через дымящиеся поля битв, через разрушенные города и деревни» бросило в мир прежний попранный лозунг: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!»

Как с ним потом ни боролись центристы, обращенно проникло и в Германию. За короткое время там было распространено около шестисот тысяч нелегальных листовок: в них рассказывалось, как рабочие повсюду ведут борьбу против войны. Брошюра Ленина «Социализм и война», переведенная на немецкий язык, тоже проникла в революционное подполье.

XIX

А Либкнехт, притулившись в углу сарая, озябший, при колеблющемся свете огарка, надрываясь от усталости после изнурительного рабочего дня, писал свои гневные обращения.

В письмах к жене он умолял: «Пришли, ради бога, свечи, это важнее даже папирос!»

Все способен был он одолеть, только не кромешную темень осенних ночей. Свечи необходимы были как воздух, без них нельзя было работать. Письма к боевым товарищам, приветствие циммервальдцам, письмо штутгартским левым — не пришло ли время прибегать к забастовкам для борьбы с войной, статья «Антимилитаризм» и многое другое шло из фронтового барака по разным направлениям.

Становилось все холоднее, особенно по вечерам. Дожди то лили непрерывно, и все пропитывалось сыростью, то возвращались ясные, но еще более холодные дни.

Выводя закоченевшими пальцами, на которые он время от времени дул, строку за строкой, Либкнехт жил жизнью борца.

Он выходил наружу размяться. Зрелище неба, простор и тишина оттесняли все будничное и заурядное. Орудийный гул врывался вдруг в эту тишину и напоминал о трагедии, в которой участвуют его современники.

А с утра опять начиналась работа.

Земля сделалась вязкой и очень тяжелой, требовалось все больше усилий, чтобы набирать ее на лопату.

...Возле него остановился дотошный и въедливый лейтенант.

— Дела идут? А? Работой довольны?

Сделав несколько тяжелых бросков, Либкнехт воткнул в землю лопату и оперся на нее.

— Можно ли быть довольным работой в условиях бессмысленной бойни!

— Подальше бы вы, господин адвокат, прятали ваши взгляды, ни к чему хорошему они не приведут.

Он сумрачно посмотрел на солдата и медленно отошел. Не так уж много он мог — еще раз сообщить о нем начальству. Слишком цацкаются с этим субъектом, а мер не принимают.

Мало того, что Либкнехт откровенно высказывался против войны, так еще позволял себе отзываться насмешливо о религии. Лейтенант застал как-то оживленный спор в бараке: солдаты больше смеялись, чем возражали Либкнехту. Да и не справиться было им с таким спорщиком. А он, говоря о религии, подтачивал веру в непререкаемый авторитет высших сил.

Пришлось доложить о нем в батальоне, в который уже раз.

— Могу ли я отвечать за солдат, если у меня такой тип орудует! — сказал лейтенант.

— Да, да,— скучным голосом отозвался командир.

Он тоже носил очки, поэтому у ротного было к нему мало доверия. Когда офицер близорук, какой же он офицер!

Ротный ушел недовольный. Дисциплина падает: наверху не видно, но он-то знает, какое пополнение присылают ему: совсем не то, что в начале войны, и сравнения нет!

Вскоре Либкнехт был вызван в батальон для новых внушений.

— Так вы, оказывается, и против религии выступаете?

Командир снял очки и стал неторопливо протирать стекла желтой замшевой тряпочкой.

— Когда товарищи спрашивают, я стараюсь ответить им, а специальной агитации не веду.

— И вы думаете, что фронт — то место, где можно разрушать исконные представления людей?!

— Пребывание на фронте делает их более сознательными. Ну, скажем, они сравнивают то, что бог должен был сделать, с тем, что вытворяет. На поверку выходит, что он из рук вон плох и придуман больше для отвода глаз.

Майор насадил очки. Он рассматривал стоявшего перед ним солдата с недобрым вниманием.

— Возможно, в ваших словах есть резон. И потолковать с вами любопытно. Но дискуссия на религиозную тему в моем батальоне... Не роскошь ли? — И он продолжал изучать Либкнехта.— Я уже, кажется, предостерегал вас от заблуждения, будто вас окружают одни друзья. Люди есть люди, надо понять психологию собственника-крестьянина. Послушать вас ему интересно, но по природе своей он консервативен. Он посмеется вместе с вами, а потом станет думать, как бы не навлечь на себя недовольство.

Впрочем, майор не склонен был долго рассуждать.

— Усвойте, прошу вас, что подобные выходки на фронте не могут пройти безнаказанно. Не балансируйте на острие меча — мой вам совет.

Был октябрьский пасмурный день, когда Либкнехт вышел из теплого помещения. Пастельные краски природы поблекли. За пеленой тумана все представлялось тусклым, поля лежали печальные, людей не было видно.

Вначале он не ощутил пронизывающей сырости. Но чем ближе к бараку, тем ему делалось все больше не по себе.

Он вообще чувствовал себя плохо, хотя и не признавался в этом: начинало знобить, темнело в глазах и казалось, что он сейчас потеряет сознание.

Впереди двигалось небольшое подразделение. Солдаты шли не в ногу, сбиваясь с шага; сутулые спины, походка, облик — все мало походило на армию победителей.

Какой линии держаться дальше? Очередное предостережение получил, но бесед с солдатами он не прекратит. А вот долго ли он будет в состоянии вести такую жизнь?

Ответить себе Либкнехт не сумел и ничего хорошего впереди не видел.

Обстоятельствам было угодно избавить его от самостоятельного ответа.

XX

В конце октября во время рубки леса Либкнехт, собираясь ударить по стволу, не успел сделать взмах топором и упал.

— Э-э, так не годится,— сказал работавший с ним Штанц.— Ну, чего ты? Вставай, а то неприятности будут.

Он поднял его пенсне и посмотрел, не разбились ли стекла.

— Слушай, Карл, надо вставать, ничего не поделаешь.

Подошел другой солдат и наклонился.

— Да он не слышит, что́ ты ему говоришь!

Либкнехт в самом деле не слышал. Прошло минут двадцать, прежде чем он пришел в себя. Товарищи поддержали его, и он привстал.

— Ничего, пройдет.

— Может, батальонному фельдшеру доложить?

— Вы же знаете, какой он у нас грамотей: облатку даст, а толку не будет.

Через несколько дней обморок повторился. На этот раз Либкнехт долго не приходил в сознание. Товарищи встревожились не на шутку.

— Такой был выносливый... Что же это такое?

— Всему приходит конец. Не выдержал, значит...

Он лежал на холодной земле бледный, без кровинки в лице. Солдаты раздобыли подстилку и осторожно перенесли его.

Подошел лейтенант.

— Что такое? Почему не работаете?

— Человек потерял сознание.

Он приблизился: а-а, Либкнехт... старый приятель, давно пора бы ему в тираж.

Он потер ему уши, как будто имел дело с нетрезвым, ткнул пальцем в одно место, в другое. Может, так было бы лучше для всех — кончился человек, и все! Слишком много хлопот с ним. Потом лейтенант подумал: еще комиссия нагрянет, чего доброго, как да что? Неприятностей не оберешься.

— Вот каких героев стали держать! Им в сортире сидеть, а не воевать... Несите его.

Солдаты хмуро посмотрели на лейтенанта.

— Куда нести-то? Ему врач нужен.

— В батальон, к чертям собачьим, пускай там и возятся с ним.

На подстилке Либкнехта донесли до опушки леса. Там стояла ротная повозка. Когда его укладывали, он открыл глаза.

— Куда вы меня, товарищи?

— Лежи, ладно: привезем, куда надо.

Ему подумалось: жаль будет, если увезут далеко; товарищи в общем хорошие, и он к ним привык.

Дорога потянулась неровная, лежать было неудобно. Стоило прикрыть глаза, как все начинало вертеться; словно бы не вперед ехали, а кружили на месте. Никак не удавалось вернуть себе устойчивость. Глаза от слабости закрывались, и опять все начинало кружиться.

На меднункте Либкнехта сдали дежурной сестре. Прощаясь, товарищи похлопали его по плечу и наказали, чтобы он возвращался, как только поправится.

— Все будет хорошо, Карл. Леса повалим с тобой еще столько, что хватит на целый фронт.

На медпункте тянулась своя жизнь. Сестра бесстрастно опросила его и объявила, что надо ждать врача.

Комната была большая, в три окна, но свет с улицы проникал скупо. Октябрьский день с плотными низкими облаками был сумрачный. Вдоль стен стояли выкрашенные охрой скамьи. Старательные руки латышей прежде убирали помещение; портреты на стенах, вышитые полотняные занавески, добротный стол были из другой, прошлой жизни. Из медицинского оборудования тут стоял только белый больничный столик и аптечка с застекленными дверцами.

Появился врач; скользнул безразличным взглядом по немолодому, сидевшему в бессильной позе солдату.

— Что с вами приключилось?

Сестра доложила.

— Либкнехт? Карл Либкнехт? — Он внимательно посмотрел на солдата.— Вы разве в нашей части?

— С самого лета, доктор.

— Тот самый Либкнехт, депутат рейхстага? Не думал, что вас могут загнать в такую дыру!

Слабое подобие улыбки мелькнуло на лице солдата.

— Жизнь, доктор, подносит сюрпризы почище.

Доктор сказал:

— Ну что ж, послушаем.

Выслушивал он внимательно — внимательнее, чем

если бы перед ним был рядовой солдат. Потом засунул стетоскоп в футляр, что-то соображая.

— Что же мне с вами делать?

— Дать сердечные капли и отправить обратно в часть.

— Вы больны серьезнее, чем вам кажется.

— Я был болен и тогда, когда меня взяли в армию,— заметил было Либкнехт.

— Прежнее меня не касается,— сухо остановил его доктор.— Я могу говорить лишь о том, что констатирую сам.

Он подошел к столику. Сестра подложила лист с данными о больном, и доктор стоя начал что-то писать. Потом подколол к листу.

— Эвакуировать,— распорядился он,— и, по возможности, поскорее.

Уже выходя, он бросил в сторону Либкнехта:

— Предпочел бы познакомиться с вами при обстоятельствах более благоприятных.

Итак, в судьбу его, как чаще всего на войне, вторглась случайность. Еще недавно на батальонном медпункте был невежественный и ко всему безразличный фельдшер. Он, конечно, вернул бы Либкнехта в часть. А доктор посмотрел на дело по-иному.

Новая страница открылась в жизни Либкнехта. Трудно было сказать, что сулит она ему впереди.

XXI

Дальше все потянулось, как в неправдоподобном сне. То ли в Шавлях, то ли в Митаве — эвакопункт, где царил откровенный разврат, молчаливо узаконенный всеми. Развратничали открыто, словно бы напоказ, с озлобленностью и полным неуважением друг к другу. В утехах распущенности искали хотя бы временного забвения.

Либкнехта продержали там недолго. Перед госпиталем он прошел санитарную обработку и впервые за долгое время почувствовал себя человеком, а не полуживотным.

В госпитале установили, что он болен воспалением нервных окончаний при полном истощении нервной системы. Лечиться предстояло долго, и его решили переправить в Берлин.

Так, совсем для себя неожиданно, он оказался опять вблизи своих.

В столичном госпитале было опрятно и чисто, порядки ничем не напоминали фронтовые. Либкнехту заботливо предлагали то лучшую лампу, то второе одеяло.

Стояло начало ноября. Берлин был свинцово-серый, из окна виднелись хмурое небо и двор, загороженный высокими корпусами. Раненых и больных привозили по нескольку раз на день, страждущих в палатах лежало достаточно. Тем не менее картина забот, царивших в госпитале, как бы демонстрировала гуманный облик столицы в дни войны. А ужасы фронта были закрыты от населения плотной завесой.

Лежа на удобной койке с чистым бельем, читая книгу, Либкнехт то и дело возвращался к мыслям о фронте. Еще настоятельнее, чем прежде, он сознавал себя обязанным сказать, что творится в мире, от лица тех, кто знает правду войны.

Соня навестила его на следующий день. То, что она рядом, держит его руку в своей, а другой поправляет подушку, ненароком касаясь лица, казалось неправдоподобным. Только теперь он понял, до чего же был одинок и как оторван от всего, что ему дорого.

Как дети? Успокоился ли немного Гельми или все терзается в поисках идеалов жизни? Есть ли вести от Клары? Как поскорее сообщить товарищам, что он здесь?

— Карл, родной, тебе нужен покой, пойми. Рано заниматься этим.

— Но я лучше врачей знаю, от чего мне будет спокойнее. Вот ты со мною, и мне уже хорошо...

— Так я буду приходить к тебе каждый день.

— Но мне и других необходимо повидать.— И, видя, что она расстроилась, пояснил: — Как долго меня тут продержат, неизвестно; приходится торопиться. Надо многое успеть.

— Отдохни, ведь ты болен. Я говорила с врачами: тебе очень нужен покой.

— Но голова не подчиняется уговорам. Много чего предстоит решить...

Он был возбужден и очень неспокоен. Соня старалась отвлечь его от волнующих разговоров, а Карл то и дело возвращался к тому, что его тревожило.

— Да, Сонюшка, делают ли передачи Розе? Поручено ли кому-либо заботиться о ней?

— А что? — спросила она.

— Но ты знаешь сама, какая Роза слабая. Тюрьма может ее подточить.

Она, сама нежно любившая Розу, заметила, словно протестуя:

— А ты не слабый? О тебе не надо разве заботиться?!

— Я пришел к заключению, что у меня железный организм. Человек вообще способен вынести бог знает сколько. Мы сами не представляем пределов своей выносливости. Это во все времена использовали эксплуататоры.

Держа на коленях бумагу, Карл принялся нацарапывать коротенькие записки, которые надо было вручить разным людям.

Не только друзья, которых она знала, но какие-то люди с заводов Даймлера, Шварцкопфа, Сименса должны были узнать непременно, что он в Берлине, и увидеться с ним.

С того дня, как Карл оказался в Берлине, беготня по

его поручениям, передача записок, поиски то одного, то другого не оставляли Соне ни минуты свободной. Прося ее о чем-либо, Карл добавлял:

— Если это тебя не затруднит... Извини, что я так тебя загружаю, но совершенно необходимо повидаться с этим человеком.

— Да, да, понимаю... Я сделаю, не беспокойся, все сделаю.

Соня ездила по городу, по нескольку раз заходила в один и тот же дом, чтобы записка Карла, упаси бог, не попала в ненадежные руки. Еще настойчивее, чем до сих пор, добивалась свидания с Розой, потому что об этом просил Карл.

Больной Либкнехт, попав в Берлин, еще теснее сплотил всех, кого можно было сплотить. В часы посещений к нему обязательно кто-нибудь приходил.

Вот открылась дверь в палату. Представительный, с красивой, холеной бородой Франц Меринг еще издали улыбнулся и, направляясь к нему, помахал рукой.

То, что говорилось затем возле койки Либкнехта, носило секретный характер и до соседей не доходило.

— Как дела? — спросил Меринг.— Выглядишь ты гораздо лучше.

— Работать надо было бы, а не валяться здесь.

— Уж так ты соскучился по двинским болотам?

— По работе сильно соскучился.

Разговор стал еще тише: скорее по движению губ можно было понять друг друга.

Роза, оказывается, развернула энергичную деятельность и наладила связь с друзьями на воле. Она настаивает на скорейшем объединении всех левых сил.

Карл обрадовался:

— Мы с нею не сговаривались, а думаем одинаково! Это очень важно. Значит, сама жизнь подсказала.

Он сообщил о своем письме штутгартским товарищам,



в котором высказал мысль, что настала пора переходить к массовым выступлениям.

— Действия нужны энергичные, широкого плана: надо настойчиво подтачивать механизм райха.

Меринг кивал, соглашался, добавлял что-то от себя. Появился врач. При виде осанистого посетителя у постели Либкнехта он подошел.

— Как самочувствие? — И прикоснулся к руке больного.— Понемногу дело идет на лад?

Посетитель профессорского вида спросил:

— И вы намерены его вскорости выписать?

— Но отчего же вскорости? — Врач даже брови вскинул.— Наоборот, придется его задержать. А после госпиталя хорошо бы подумать о курорте для него. Больной отказывается. Может, вы на него повлияете?

— Согласитесь сами,— с живостью вставил Либкнехт.— Человек объявил себя убежденным противником войны, борется против нее всеми средствами, а сам появляется на курорте!

— Болезнь ваша не имеет отношения к вашим взглядам,— возразил врач.

Из другого конца палаты донесся раздраженный голос:

— А позволительно ли, хотел бы я знать, высказывать пацифистские взгляды в военном госпитале?

— Очень просил бы, господин майор, не затевать в палате дискуссий, это всех нервирует.

Больной, подавший голос, считал себя ущемленным в своих офицерских чувствах и привилегиях: мало того, что сюда поместили солдата, сославшись на то, что он депутат рейхстага, так он еще позволяет себе высказывать противозаконные мысли. Причем не стесняется и не таится. Правда, сам не вступает в споры, но и не уклоняется, если с ним заговаривают. Как человек Либкнехт внушал скорее расположение своей скромностью и

простотой. Но взгляды его представляли, конечно, опасность.

Врач удалился, Меринг вплотную придвинулся к койке и продолжил свой тихий разговор.

Сама эта таинственность раздражала майора, лежавшего в другом углу палаты. Особенно беспокоили его посетители простого звания. И откуда они только появлялись! По тому, как они старательно вытирали ноги о коврик, лежавший у двери, майор чувствовал в них людей самого невысокого положения. А Либкнехт беседовал с ними, как с добрыми друзьями, запросто, и смеялся, и тоже переходил на шепот, и расспрашивал о других друзьях.

С появлением в палате Либкнехта майор оказался со всех сторон окружен людьми совершенно чуждыми, из иного мира. Он подумывал было, не попроситься ли ему в другую палату, чтобы не раздражаться постоянно. Но что-то удерживало его — возможно, мысли, которые возбуждали эти люди. Они были независимы, у них была особая воля к жизни, и они, кажется, считали себя нисколько не ниже тех, кто, в силу законов истории, поставлен над ними, правит ими, обязан держать их в подчинении.

Особенно вывел его из себя некий Крейнц из Штутгарта, который приехал сюда чуть не со специальным поручением от товарищей навестить Либкнехта. Этот был и вовсе увалень, нескладный, тяжеловесный, с огромными ручищами. Он ввалился в палату и бесцеремонно оглядел больных. Только когда взгляд его остановился на Либкнехте, лицо оживилось.

Он притащил с собой две тяжелые корзины со снедью. Либкнехт стал всячески отказываться и протестовать:

— Что вы еще вздумали... Какие там приношения, когда все сидят без еды!

Крейнц обращался с ним, как с ребенком, которого надо побаловать.

— Специально для вас. Со строгим наказом, чтобы съели все до последней крошки. Теперь вы наша надежда и гордость, и мы должны о вас заботиться.

Он ужасно басил, и ему трудно было переходить на шепот. Даже в его шепоте можно было разобрать половину слов.

Майор лежал весь напряженный, и, чем дольше затягивался визит, тем больше охватывала его враждебность. Пока возле Либкнехта сидел тот, профессорского вида, визитера еще можно было терпеть. Но тут тяжелый мужлан, не иначе как молотобоец, вел разговор на равных с человеком образованным. В этом была какая-то аномалия, нарушение тех основ неравенства, на которых только и зиждется социальный порядок.

А Либкнехт вспоминал прошлое, которое, видно, связывало обоих, редактора газеты, руководителей каких-то групп. Про письмо свое к ним вспомнил. Словом, у них оказался целый короб общих переживаний. И майор фон Пальм с брезгливостью думал, до каких низких ступеней может пасть интеллигентный человек, вообразивший себя слугой так называемой демократии, этих в общем примитивных существ.

Когда Крейнц ушел наконец, Либкнехт стал как-то без интереса ковыряться в пакетах, которые тот оставил.

— Ну уж тут столько, что если на всю нашу палату разделить, и то получится чуть не по пакету на каждого.

Все лежавшие проявили интерес к содержимому.

Один только майор лежал окаменевший.

Позже он процедил сквозь зубы:

— Вы бы лучше жене своей предложили, чем целый госпиталь одарять.

— Жене ее доля достанется... И еще одной замечательной женщине, которая сидит за решеткой.

Фон Пальм хотел было заметить, что замечательные женщины за решетками не сидят: наверно, какая-нибудь нарушительница законов, женщина легкого поведения... Но счел унизительным вступать в объяснения.

Он провел плохую ночь, размышляя о пакостных людях, наводняющих Германию.

XXII

На курорт Либкнехт так и не поехал, решительно отказался. Пробыв месяц с лишним в госпитале, он выписался и был оставлен на время в Берлине.

Рейхстаг как место полемики терял постепенно свое значение. Либкнехт посещал заседания декабрьской сессии с единственной целью — посылать запросы председателю, хотя бы в письменном виде.

Теперь он уже твердо знал, что слова его, непроизнесенные выступления, запросы, листовки, которые он составлял, не пропадают. Разговор с Крейнцем убедил его в этом особенно. Выступления и обращения Либкнехта делали свое дело, помогали сплочению левых сил. Вот почему, заняв депутатское место вновь, он стал еще энергичнее применять свою тактику.

Четырнадцатого декабря Либкнехт направил один за другим шесть запросов.

В первом требовал объяснений, почему Бетман-Гольвег не сообщил рейхстагу четвертого августа прямо, что Германия попрала бельгийский нейтралитет.

Во втором спрашивал, готово ли правительство предъявить народу документы, связанные с предысторией австрийского ультиматума и нарушения бельгийского нейтралитета; согласно ли оно на создание комиссии, которая выявила бы истинных виновников возникновения войны.

В третьем осведомлялся, известно ли правительству,

что немецкий народ требует широкой гласности взамен тайной дипломатии.

В четвертом настаивал, чтобы немецкие власти уточнили свое отношение к попыткам посредничества нейтральных стран.

В пятом добивался, чтобы пущенное в обиход понятие «новой ориентации во внутренней политике» было уточнено.

Наконец, в шестом выяснял, известно ли властям, в какое тяжелое положение поставлен народ из-за войны, хищничества капиталистов и несостоятельности самой власти.

На заседании одиннадцатого января он сделал два запроса.

Знает ли канцлер, каким страданиям подвергают армянское население турки, воюющие в союзе с Германией?

Речь шла о зверской резне, которую турецкие власти учинили над армянами.

В то же время он требовал, чтобы рейхстагу были представлены все материалы о положении жителей тех земель, которые захватила во время войны Германия.

Председатель рейхстага подкладывал в свою папку эти запросы, надеясь, что они будут в ней похоронены. А Либкнехт посылал их и посылал. Он включил их позже в свою книгу. Она называлась «Классовая борьба против войны».

Книга эта вышла нелегально в 1916 году, на втором году мировой войны.

XXIII

Но перед ним стояла задача еще более важная — объединить революционные силы страны; воспользоваться тем, что он в Берлине, и созвать всех деятелей немец-

кого подполья, рассеянных по стране и остававшихся еще на свободе.

Где было собраться? На квартире у Либкнехтов не годилось — за нею продолжали следить. Квартира Франца Меринга тоже не подходила. Остановились на том, чтобы, встречая будто бы Новый год, собраться в адвокатской конторе на Шоссештрассе.

За полтора года войны она пришла в запустение. Прежде братья тщательно следили за ее внутренним видом. Теодору было не до того теперь. И все же оказаться после долгих мытарств вновь в этом милом сердцу помещении было приятно.

Уборщицу отпустили. Соня сама вместе с приятельницей пришла утром убрать комнаты. Накануне раздобыли кое-какую еду. Дело было, конечно, не в угощении, да и берлинцам приходилось затягивать пояса все туже. Под видом новогодней встречи можно было обсудить назревшие коренные вопросы подполья.

Роза Люксембург сумела переправить из тюрьмы свои тезисы. В них был определен характер мировой войны, устанавливалось, какое влияние она оказала на пролетариат и на официальную социал-демократию. II Интернационал объявлялся «взорванным», доказавшим полную свою неспособность и банкротство. Неизменной задачей пролетариата, и в мирное время и в периоды войн, провозглашалась борьба за социалистические идеалы. Сейчас основным лозунгом было «война войне». Важнейшая же задача состояла в том, чтобы сплотить пролетариат всех стран, сделав его главной силой в политической жизни мира.

Либкнехт много думал над тезисами и с основными формулировками Розы согласился. Было ясно, что сплочение левых сил совершенно необходимо.

Даже в самой фракции социал-демократов прорвалось наружу недовольство политикой большинства. Три-

надцатого декабря, когда вопрос о кредитах встал в рейхстаге в пятый раз, сорок четыре депутата на заседании фракции объявили, что будут голосовать против. С большим трудом шейдемановцам удалось часть из них уломать. Но двадцать человек остались верны своему решению — они проголосовали против военных кредитов. Такого еще не бывало.

Словом, все толкало левых к созданию самостоятельной независимой группы.

...Либкнехт расхаживал из комнаты в комнату, поджидая гостей. Тарелки, блюда, рюмки, взятые из хозяйства брата, были расставлены в строгом порядке. Вокруг стола, составленного из трех рабочих столов, хлопотала Соня.

Послышался первый звонок.

— Не ходи, Сонюшка,— сказал Карл.— Я открою.

— Нет, лучше я.

Со светской улыбкой Соня ввела в комнату женщину лет сорока с лишним, одетую скромно, но не без изящества, с подвитыми волосами.

— Кете? Какая вы сегодня нарядная! — сказал Либкнехт.

— Ну как же, праздник.— Она сощурила глаза и немного поджала губы.— О-о, тут все предусмотрено...

— Располагайтесь удобнее. Остальные, я думаю, не заставят себя ждать.

Кете Дункер относилась к той группе левых, которые с первых дней войны восстали против политики соглашательства. Вместе с Кларой Цеткин она участвовала в социалистической конференции в Берне. Она же приняла участие в создании журнала «Интернационал».

Один за другим приходили другие: Георг Шуман, Иоганн Книф, Берта Тальгеймер... Каждого человека Либкнехт мысленно относил к городу, который он представлял: Лейпциг, Штутгарт, Бремен, Брауншвейг...

Несомненно, движение расширилось, налицо сильная группа убежденных противников войны и капитализма, группа подлинных социалистов. И всего полнее представлен, конечно, Берлин.

Последним пришел Франц Меринг. Оглядев всех, он заметил вполголоса:

— Двух женщин не хватает, очень нам не хватает сегодня... Но будем считать, что они с нами.

— Тем более, что тезисы Розы явятся основным материалом,— добавил Либкнехт.

— Ты все-таки очень бледен, Карл,— сказал Меринг.

— А ты хотел бы, чтобы они излечили меня от всего? За такое короткое время? Я писал Кларе: хорошо бы я выглядел, если бы отправился долечиваться на курорт! Славную пищу дал бы противникам: Либкнехт, проводящий свои дни на курорте!

— Но врачи другого мнения.

— Врачи, Франц, живут вне политики, не как мы с тобой.

С первых минут Либкнехт оказался в центре внимания: его расспрашивали о настроениях в армии, вспоминали его отлично составленные листовки, говорили, сколько неприятностей он причиняет рейхстагу и его председателю.

— Выходит, так: вы их или они вас,— заметила Берта Тальгеймер, участница циммервальдской встречи.

— Тут сомнения не может быть,— решительно заявил бременец Иоганн Книф: — Конечно, Либкнехт их.

Соня незаметно исчезла. Минут за двадцать до ухода она увела его в коридор и печально сказала:

— Новый год врозь... Боже, как грустно!

Нелепость расставания вдруг дошла до него. Но он щепетильно подумал о правилах конспирации и нерешительно произнес:

— А может, все же останешься?

— Нет, нет...

— Ты могла бы побыть в соседней комнате, а в двенадцать сели бы все за стол.

— Нет, надо к детям, я обещала.

Нежно, с чувством вины перед нею он сжал ей руку.

В эти последние часы уходящего пятнадцатого года Карл не принадлежал ей. Но что сулит год наступающий? Какие новые бури? — спросила Соня себя. Новый год встретят врозь... Ей стало очень грустно.

...Либкнехт посмотрел на часы.

— Времени в нашем распоряжении достаточно. Интересно, успеем ли мы заложить основы единства еще в этом году?

Расселись за длинным столом, придвинули к себе тарелки и даже салат разложили. Разговор начался со вступительного слова Либкнехта.

Они были очень разные, эти люди. Одни прибыли с убеждением, что берлинские левые недостаточно энергичны по отношению к соглашателям. Другие считали, что время для разрыва с ними еще не пришло.

В тезисах Люксембург многое было сказано достаточно определенно и резко. Важнейшей задачей международного социализма объявлялось обеспечение всеобщего мира. Для выполнения этой задачи необходима революционная воля пролетариата, его готовность бросить всю свою мощь на чашу весов. Необходим новый Интернационал, новый центр классовой организации пролетариата. Но в тезисах не было требования порвать с соглашателями и создать отдельную партию.

Иоганн Книф решительно возразил:

— Нечего больше церемониться с соглашателями. Чем скорее мы их отбросим, тем лучше.

— Погодите, товарищи,— сказала Кете Дункер, озабоченно тронув рукою лоб.— Сначала надо решить основ-

ной вопрос: парламентский путь борьбы или внепарламентский?

— Я думаю, это ясно,— ответил Меринг.— Как использовать парламент, об этом лучше всего говорят запросы и реплики Карла. Но ясно и то, что необходим второй путь: листовки наши, номер «Интернационала» убеждают в этом. Но выход их должен стать регулярным.

— Слишком многое вы в своих листовках смягчаете, товарищи,— возразил Книф.— Пора наконец решить, с кем рабочему классу по пути и кого он должен со своего пути сбросить.

— Для полного размежевания с правыми потребуется еще время,— заметил Меринг.— Наша группа для этого еще не созрела.

— А по-моему, размежеваться надо сейчас!

Вообще бременцы и гамбуржцы придерживались более радикальных взглядов и требовали решительных действий. Но и они признавали, что в политическом воспитании масс листовки левой группы играют важную роль.

Лицо Либкнехта выражало крайнее напряжение, оно стало еще бледнее. Не слишком ли велики разногласия? — с тревогой подумал он. Когда закладываются основы сильной и спаянной организации, надо выделить самое важное.

— Давайте еще раз прочитаем тезисы,— предложил он.— После нашего разговора легче будет кое-что в них уточнить.

Все придвинулись к нему теснее. Читал он негромко, почти без выражения, только выделял всякий раз смысловые опоры.

Некоторое время молчали. Салат, разложенный по тарелкам, так и лежал нетронутый. Кете Дункер спохватилась первая:

— Хороша маскировка, даже ничего не отведали! Соня столько трудилась, а мы и внимания не обратили.

— А ее разве нет? — вспомнил Меринг.

— К детям ушла,— ответил коротко Карл.

Занялись едой. Кете Дункер усиленно потчевала всех.

Постепенно у них отлегло от сердца. Как будто стало понятно, что именно сейчас, за этим столом, при всех разногласиях, которые — ничего не поделаешь — остаются, создается сплоченная революционная группа. Что война прекратится лишь после того, как оружие трудящихся будет повернуто против правительств, и что работу необходимо вести в нелегальных условиях, признавали ведь все.

Не все, впрочем, сознавали, чего в принятых тезисах нет.

То, что русские предлагали в Циммервальде, получило в программе созданной в ту ночь группы менее четкое определения. Требований гранитной сплоченности партии, которая одна только в силах была раздробить старое общество, и окончательного разрыва с центристами вроде Гаазе и Каутского в платформе новой группы не было.

Гамбуржцы и бременцы настаивали на более радикальных формулировках. Они оговорили свое право самостоятельных выступлений, однако к платформе присоединились. Так что единство, при всех несогласиях, было достигнуто. Едва ли не важнейшим его результатом было то, что решили издавать «политические письма». Была заложена основа революционной организации, противостоявшей соглашателям.

Из темноты ночи глядел уже новый, шестнадцатый год. Никто не мог бы сказать, каким он себя покажет. Одно лишь можно было предвидеть наверняка: он будет богат событиями.

Наступила такая минута, когда доброта и привязанность, идущие от самого сердца, овладели всеми: захоте-

лось высказать товарищам по опасностям и испытаниям что-то хорошее.

— А знаете, Карл,— заметила Кете Дункер, и голос у нее потеплел,— что молодежь ловит каждое ваше слово? Вы стали для нее образцом и примером.

— Да? — усмехнулся он.— Лукавить не буду, мне приятно.

— В Лейпциге у нас тоже,— подтвердил Георг Шуман.— Картина примерно такая же. Вы для всех образец стойкости.

Либкнехт приподнял голову, как будто смотря вдаль, и, чувствуя неловкость от того, что оказался в центре внимания, постарался перевести разговор.

Контору покидали небольшими группами. В коридоре, надевая пальто, разговаривали вполголоса.

На улице было очень холодно. Длинный ряд фонарей уходил вдаль. Фыркая и чихая проносился автомобиль, с характерным цоканьем проезжал франтовской экипаж.

Карл стоял у полуоткрытой двери и смотрел вслед ушедшим. Потом вернулся в комнату и взглянул на массу тарелок, пустые блюдца, рюмки. Приняться за уборку?

Он прошел в комнату, где до войны принимал клиентов. Старый клеенчатый диван поблескивал в темноте. Растянуться на нем, накрывшись своим пальто, или вернуться к Соне?

Тут он заметил, что на диване кто-то лежит подтянув ноги, почти свернувшись калачиком.

— Сонюшка, ты?! Как ты здесь очутилась?!

Оказывается, она встретила Новый год с детьми и вернулась, чтобы быть ближе к нему.

Не раскрывая глаз, она подвинулась, освобождая для него место. Осторожно, заботливо, стараясь не вывести ее из полусонного состояния, Карл стал устраиваться рядом.

XXIV

Итак, первый день нового года принес создание группы. Письма, подписанные именем Спартака, размноженные на гектографе, в типографиях, проникали на фабрики и в окопы. По этим письмам группа получила название «Спартак». Некоторые письма печатались на оберточной желтой бумаге, чтобы, раскиданные возле заводских ворот, не бросались ночью в глаза полиции. Утром, когда приходила новая смена, чьи-то руки заботливо подбирали их и после прочтения передавали дальше. «Писем» ждали, их прочитывали с увлечением и тайной надеждой.

А Либкнехт, стремясь оправдать недолгую свою свободу, продолжал работать, не щадя себя.

В рейхстаге он по-прежнему прибегал к тактике «малых запросов». Шейдемановцы только и думали, как бы от него избавиться. Двенадцатого января социал-демократическая фракция шестьюдесятью голосами против двадцати пяти постановила вывести его из своего состава. Это решение окончательно изолировало его от шейдемановцев: с ними было покончено.

Но оно не могло остановить расслоения, происходившего в самой фракции. После того как группа Гаазе — Ледебура проголосовала против кредитов, голосовавшие испытали на себе неумолимое действие партийной нетерпимости.

Они создали свою фракцию, более или менее умеренную, но все же оппозиционную по отношению к шейдемановцам, и назвали ее «Трудовым содружеством».

А Либкнехт, шла ли речь о народном просвещении или о самоуправстве полиции, о военных займах или обнищании масс, громил и правительство и соглашателей. Шейдемановцам было от чего прийти в ярость.

В ответ на их выкрики он как-то заявил:

— Степень вашего возмущения против малых запросов является для меня мерилом их ценности.

Восьмого апреля опять — в который уже раз! — зашла речь о военном займе. Под видом вопроса к порядку дня Либкнехту удалось получить слово.

Он пошел к трибуне, держа предусмотрительно заготовленные листки с записями.

Шаги на ковре были почти неслышны, но зал на минуту замер. Либкнехт лишь заглянул в свои листки и начал:

— Эти займы окрестили в народе словечком «перпетуум мобиле» *. В известном смысле они представляют собой карусель, господа. Ловкая концентрация общественных средств в государственной кассе...

Звонок председателя предостерег оратора. Этого было достаточно — отовсюду послышались возмущенные голоса:

— Просто неслыханно!.. Сколько же можно терпеть?!

— Я имею право критиковать,— возразил громко Либкнехт.— Сколько бы вы ни мешали мне, правду я выскажу.

Опять раздались возмущенные крики протеста. Председатель изо всех сил звонил в колокольчик.

— Я просил бы прекратить крики с мест,— наконец произнес он.— Со своей стороны хочу выразить сожаление, что с этой трибуны немец способен прибегнуть к словам, какие употребил доктор Либкнехт.

— Он не немец! — заорали депутаты.— Какой же он немец?!

— Да, господа,— повысил голос Либкнехт,— различие между нами коренное, и отнюдь не в национальности: вы представляете капитал и его интересы, а я — интернациональный пролетариат...

* — вечное движение (*лат.*).

После нового взрыва выкриков, после возгласов: «Сумасшедший дом!», «Бессмыслица какая-то, чепуха!», «Помешательство!» — Либкнехт, перекрывая всех, прогремел:

— Ваши крики — честь для меня, да будет вам известно... Это...— Дальше нельзя было ничего расслышать из-за дикого шума.

Очередной скандал разразился.

— Ему еще не наскучили эти спектакли,— язвительно бросил Шейдеман соседу.— Старая, надоевшая всем комедия...

Впрочем, большая часть социал-демократов орала изо всех сил наравне с депутатами правых партий.

Ему еще удалось выкрикнуть:

— Почему вы в такой ярости, господа? Неужели на вашей совести много такого, что надо скрывать?!

Шум достиг своего апогея. Либкнехт продолжал обличать, но голоса его не было слышно.

В эту минуту один из разъяренных депутатов подскочил к нему и сильным ударом выбил у него из рук листки. Продолжая говорить, Либкнехт инстинктивно наклонился, чтобы подобрать свои листки, сделал шаг, чтобы дотянуться до них.

— Вы покинули трибуну,— с торжеством произнес председатель,— ваше выступление закончено.

— Нет, я не кончил! — Он поднялся и возмущенно крикнул: — Вы видели сами, как депутат вырвал у меня из рук записи. Это бесчестно, наконец!

— Нет, нет, вы лишили себя слова сами, покинув трибуну.

— Но ведь тут заведомая бесчестность! Можете ли вы оправдать это перед собственной совестью?!

Стараясь унять разбушевавшийся зал, Кемпф звонил и звонил. Наконец ему удалось произнести более или менее внятно:

— Еще раз призываю, господин депутат, к порядку

и за грубое нарушение дисциплины удаляю вас с заседания... Все, господа, все,— торопливо закончил он.— Записавшихся больше нет, прения закончены.

В парламентских сварах Либкнехт был достаточно искушен, и голос был у него достаточно сильный. Но давать повод для новых провокаций он счел ненужным: «письма Спартака» все равно донесут его речь до рабочих.

На место он возвращался, яростно оглядываясь на расшумевшихся депутатов, испытывая скорее презрение к коллегам, чем негодование.

Он вперял взгляд то в одного, то в другого, словно мерясь с ними силами. В этом зале он один представлял миллионы обманутых и обманываемых. Да и не в рейхстаге решалась теперь судьба страны.

Судьбу ее должны были решить народные массы.

XXV

Весна влилась в улицы города. После первых дождей зелень распустилась чуть не за одну ночь, и серый неуютный Берлин помолодел. Это вечное, из года в год, обновление не в силах было скрыть запущенности и обветшалости, которые кидались в глаза на каждом шагу. Город не ремонтировали и даже убирать стали хуже.

Население недоедало. Стоимость жизни выросла в два раза. Очереди возле лавок росли, а продуктов становилось все меньше. Рабочий день увеличился до десяти — двенадцати часов. Изнывали и рабочие и их жены, принужденные добывать для себя еду всеми правдами и неправдами.

Берлинцы были хмуры и неприветливы и все-таки жили надеждой на победу. Хотя где было думать о победе, если под Верденом гибли сотни тысяч солдат в бесплодных атаках, а на востоке армии зарывались все глуб-

же в землю! Прежние слова о блеске и славе Германии звучали почти насмешкой. Почва для нелегальной работы сама по себе разрыхлялась.

Спартаковцы проникали на заводы, в цеха. Несколько сот доверенных связывали их центр с группами сочувствующих, число которых на заводах все росло. «Письма» их, появлявшиеся не реже раза в неделю, играли очень важную роль. Один из участников событий тех дней писал позже, что «ни одно литературное произведение не читалось в то время в Германии с таким благоговением, не изучалось и не комментировалось с таким усердием, как эти письма, подписанные «Спартаком». Пришло, однако, время действовать. Сигналы из Брауншвейга, Дрездена, Бремена, Лейпцига говорили, что и там недовольство войной растет.

В феврале Роза Люксембург отбыла свой тюремный срок. Ее выпустили на свободу, и она сразу включилась в работу. Либкнехт, которому было запрещено покидать Берлин, сумел нелегально побывать на подпольной конференции пролетарской молодежи в Иене и еще раз убедился, что почва для массовых выступлений созрела и недовольные ждут лишь сигнала.

Приближался день Первого мая. Именно в этот день надо было показать, что дух рабочих силен.

В цехах и мастерских, в столовых и пивных стали появляться листовки с лаконичным призывом: «Хлеб! Свобода! Мир! Тот, кто против войны, явится первого мая в восемь часов вечера на Потсдамерплац!» В других листовках призывы спартаковцев были изложены обстоятельнее: «Первого мая мы призываем от имени многих тысяч: прекратим злодейское преступление, бойню народов! Наш враг — не французский, русский или английский народ, наш враг — немецкие юнкера, немецкие капиталисты и их «исполнительный комитет» — немецкое правительство! Поднимемся на борьбу против этого смер-

тельного врага всякой свободы. Покончим с войной! Мы желаем мира!»

Характер листовок изобличал почерк Либкнехта. Потсдамская площадь должна была стать тем местом, где произойдет проверка протестующих.

Группа Ледебура — Гаазе, с которой спартаковцы попробовали установить связь, по-прежнему утверждала, что борьбу надо вести не на улицах и площадях, а в стенах рейхстага. Не соглашаться, протестовать, голосовать против — вот те средства, какие предлагали центристы.

Некоторые из группы Гаазе, вроде Эмиля Барта, человека с большим апломбом, пытались доказать Либкнехту, что затея спартаковцев пустая и заранее обречена на провал.

— Ничего она не даст, кроме напрасной потери сил.

Либкнехт выслушал Барта с выражением непреклонной убежденности.

— Потеря сил? Допускаю. Но когда тысячи выйдут на площадь в военном Берлине и выскажут осуждение режиму, это будет большая победа.

— Тысячи?! Явятся жалкие горсточки — с одного предприятия, с другого, третьего...

— Стало быть, на площади соберутся?..

— В лучшем случае сто — полтораста человек. Такая, с позволения сказать, толпа оставит самое жалкое впечатление.

Либкнехт нервно пощипывал кончики усов. В нем боролись противоречивые чувства. Разве мог он сказать наперед, как пройдет демонстрация?! Расхолаживающие слова только ожесточали и тиранили душу.

На демонстрации настоял именно он и сознавал свою огромную, небывалую ответственность. Но он знал, что нельзя поддаваться маловерам, так называемым трезвым людям, которые только и делают что расхолаживают умы и разъедают души сомнением.

Нет, отступать спартаковцы не собирались.

И вот ожидаемый многими день наступил. Поначалу он ничем не отличался от прочих весенних дней: яркое солнце, голубое небо и будничный Берлин. Почти до вечера Потсдамская площадь оставалась пустынной. Время от времени ее пересекал отряд полицейских или медленным шагом следовали конные жандармы. Личности в штатском с надвинутыми на глаза шляпами шарили на прилегающих улицах, стараясь ничего не упустить из виду.

Ближе к восьми на улицах, вливавшихся в площадь, появились первые колонны. Они шли организованно, выдерживая твердый шаг. Звучали песни. В передних рядах можно было разглядеть знакомые лица тех, кто всегда бывал на выступлениях Карла Либкнехта, с кем он беседовал, кто не первый уже день работал по заданиям «Спартака».

Потсдамерплац успели опоясать конные и пешие полицейские. Они пытались оттеснить колонны, подходившие вновь, но слишком могуч был поток демонстрантов. Справиться с ними можно было только с помощью оружия.

Вскоре вся площадь кишела народом. Недовольство, гнев и нужда вышли на свою первую организованную демонстрацию.

И вот в гуще толпы появились мужчина в котелке и в пенсне и хромавшая небольшого роста женщина. Когда стоявшие вблизи узнали Либкнехта и Люксембург, точно искровая линия пронеслась по площади, объединив всех. Сознание, что Либкнехт и Роза с ними, сплотило толпу.

Они пробирались все глубже, на ходу кивая старым друзьям и раздавая захваченные с собой листовки и книжки.

По пятам за ними протискивался отряд полицейских. Он уже настигал обоих.

Понимая, что в их распоряжении считанные мгновения, Либкнехт зычно выкрикнул:

— Долой ненавистную всем войну! Долой правительство!

Повторяя свои призывы, он и Роза добрались до возвышения. Отсюда открылось море людей: не горстка, а тысячи готовых жадно впитывать каждое его слово. Сняв шляпу, выбросив вперед правую руку, Либкнехт заговорил.

Но тут настигли его полицейские: вскочили на возвышение и попытались стащить. Отбиваясь от них, Либкнехт продолжал свою речь.

Их было слишком много, и они свое дело знали. Им было приказано ни в коем случае не допускать речей; они и так проморгали, позволив Либкнехту бросить в толпу поджигательские слова.

Совсем непросто было вырвать Либкнехта из клещей толпы: стоявшие плотно цепи людей мешали этому упрямо и ожесточенно. Но он все же был вытащен. За плотным кольцом толпы ждали полицейские машины.

Ему было нестерпимо жарко, лицо было исцарапано, но он торжествовал. Он сознавал себя победителем: это море голов, эти тысячи обращенных к нему взглядов, внимание замершей площади... Что бы ни ожидало его, дело сделано: протестующий Берлин вышел на улицы.

Розу он потерял из виду. Жаль будет, если она опять попадет за решетку. Мысль о ней была острее, чем о семье. Все, что связывало его с обыкновенной жизнью, закрылось почти непроницаемой пеленой.

Даже в полицейской машине, прижатый с обеих сторон, чтобы не посмел шевельнуться, Либкнехт оставался сражающимся солдатом. В котелке и черном пальто, которое в нескольких местах порвали, он был воином — не тем, кто с лопатой шагает в сторону передовой, чтобы рыть окопы полного профиля, а солдатом-воителем той

еще не сложившейся, но уже складывавшейся армии революции, которая сегодня, Первого мая, показала, какие силы таит в себе.

XXVI

Розу тоже доставили в полицейское управление и, допросив, предложили расписаться в протоколе. Держалась она несколько иронически, и чиновник высокого ранга — потому что все до самых высоких чинов были сегодня мобилизованы — удивленно поднял на нее глаза.

— Вы еще находите уместным подтрунивать?

— А почему бы нет? Разве не смешно, что на двоих безоружных кидается рота вышколенных полицейских? Не говоря уже о шпиках.

— А вы ждали снисходительности? Думали, что в центре Берлина вам удастся безнаказанно сеять ваши идеи?

— Мы их посеяли, господа, и вы в этом участвовали сами. Можете быть уверены: о сегодняшнем дне узнает весь мир.

— Мы выполняли свой долг, и больше ничего.— Он показал, где расписаться, и закончил: — Спорить бесполезно, с вами можно разговаривать только на языке принуждения. Но пока что вы, госпожа Люксембург, свободны.

Первым делом она кинулась к Соне Либкнехт. По глазам, в которых были страх и отчаяние, нетрудно было понять, как ждала Соня исхода событий.

Она знала, что сегодня что-то произойдет, хотя Карл рассказал ей не все. Она даже хотела пойти вместе с ним и не приняла в расчет обычного его отшучивания.

— Думаешь, оставаться одной и ждать легче?!

— Ничего не случится,— сказал Карл.— Мы, как вчера и позавчера, поужинаем за нашим столом.

Вот так он умел внушать ей надежду, что все обойдется. Мало разве бывал он в опасных переделках, и обходилось же!

Но как только Карл ушел, ее охватило волнение. Она ходила из комнаты в комнату, перекладывала на его столе вещи, наполнила чернильницы и не знала, что с собой делать. Дети убежали: первое мая, весна, хороший день, надо посмотреть на вечерний Берлин. Они до сих пор не вернулись.

Стоило Соне увидеть Розу, как она поняла: сомнений больше нет, случилась беда.

— Только не волнуйтесь, Сонечка, в ближайшие дни, а то и часы все разъяснится.

Хотелось стереть с лица милой доверчивой женщины следы ужаса. Роза приводила доводы, в которые сама не верила.

Сталкиваясь с бедами близких, она искренне считала, что сама полна неистощимых сил. Этих не прошедших тюремной школы, незакаленных женщин, принимающих на свои слабые плечи такой тяжкий груз, ей было очень жаль. Она относилась к Соне нежно, сочувствовала ей, понимая, сколько еще горестей ожидает ее.

— Как же вы говорите «вернется», раз его забрали!

— Выпустят, выпустят... Еще могут выпустить.

Под нажимом Сони ей пришлось, смягчая, правда, коечто, пересказать весь ход событий.

— Это серьезнее, чем говорите вы,— заметила та.— Это, по-моему, очень, очень серьезно. Что же теперь будет?!

Не умея кривить душой, Роза сказала:

— Сонечка, ведь вы мужественный человек; над головой каждого из нас висит меч. Но мы сильнее тех, кто над нами глумится. Я говорю вовсе не для того, чтобы утешить вас: это мое убеждение, символ веры. А то бы я чувствовала себя на земле просто несчастной...

Отчаяние не уходило из глаз Сони. Ей, жене революционера, давно пора, говорила она себе, научиться владеть собой. Хорошо, что Роза здесь. А может, после ее ухода станет немного легче? Она все обдумает и попробует разобраться сама?

Роза обняла ее на прощанье и, повторив, что теперь они еще ближе друг другу — по судьбе и по духу,— ушла.

Край неба, показавшийся в расщелине между домами, был еще светлый. В Берлине начинался едва ли не лучший месяц, когда весенние запахи особенно опьяняют и теплый дождь кажется особенно упоительным. Прихрамывая, Роза шла домой и удивлялась, как все вокруг непохоже на то, что творится в человеческой жизни.

Не задерживаясь на этом, в общем наивном, сопоставлении, она сказала себе, что и в природе много жестокого, с чем ее ум не желает мириться. Она вспомнила маленькую, испуганную, страдающую Соню, и сердце ее защемило.

XXVII

Либкнехт еще не представлял себе всей серьезности своего положения, однако в первом же письме из Северной берлинской тюрьмы, куда его водворили, попросил, чтобы Соня переслала ему несколько фундаментальных книг. Видно, запасался ими не на один день.

Какое бы дело против него ни затеяли, он будет вести себя так, чтобы оно обернулось против обвинителей. Но одна мысль терзала его. Людские колонны, заполнившие площадь, без сомнения, означали новый этап борьбы. Ведь Берлин такого еще не знал. Сейчас особенно нужно сильное руководство, необходим политический вожак... Но что делать, чего не успел он, выполнят другие. Может быть, Роза останется на свободе, Иогихес...

Расхаживая по камере, заложив руки за спину, Либкнехт старался всесторонне оценить положение. Если против него затеют процесс, надо, чтобы любые допросы, любые его заявления обратились в обвинительный материал. Он добьется того, чтобы любая бумажка передавалась в копии Соне. Защищаться будет сам: нанесет удар такой силы, что отзвуки разнесутся по Европе.

В мрачной камере с высоким окном, до которого нельзя было дотянуться, Либкнехт не чувствовал себя одиноким: камера была населена союзниками, единомышленниками — и врагами, с которыми он сражался. Как человек сильно возбужденный не чувствует иной раз мороза на улице, так Либкнехт в эти первые дни заточения не замечал тюремной обстановки.

На первом свидании с женой он выглядел и возбужденным, и вместе с тем изможденным.

— Милая, дорогая, близкая! Как ты? Как дети? — начал он горячо и тут же с жаром, сжигавшим его, заговорил о том, чего ждет от нее.

Он повторил, что на каждый удар противников ответит своим удесятеренным.

— Вот это в суд берлинской комендатуры, это туда же, а вот третье обращение. Только, пожалуйста, не перепутай, все должно брошюроваться в строжайшем порядке.

— Карл, что ты затеял?!

— Кампанию, которая прозвучит, как удар колокола! Они думают, что, именуя меня в своих бумагах солдатом рабочего батальона, подчинили себе?! Нет, я буду разить их насмерть.

Боже, подумала Соня, если это так, как он говорит, если это не эпизод в его жизни, не очередное мелкое столкновение, а смертельная схватка, как же он сможет один на один пойти против судебной системы?! Ведь они раздавят его!

Свидание было коротким, и Карл напоследок сказал:

— Все будет хорошо, уверяю тебя. Надо сохранить хладнокровие, и мы победим.

На тюремном дворе стояли закрытые «черные вороны» и расхаживала стража; под ее охраной прогуливались арестованные. Соня шла, совершенно раздавленная тем, что увидела. Страшная мысль сверлила ее: машина пруссачества, империализма добралась до ее мужа, только чудо может спасти его.

Но детям надо сказать что-то такое, что поддержало бы в них надежду на скорое возвращение отца.

Гельми, склонный все воспринимать драматически, готов был к худшему. Сумрачно выслушав ее рассказ, он не отозвался ни словом. Соня попробовала смягчить, как могла, ситуацию.

— Ну к чему ты это говоришь? — сказал Гельми.— Его все равно засудят.

— А я думаю, выпустят.

— Нет, заберут в крепость.

— Зачем так говорить! — сказала почти умоляюще Соня.— Ведь делу это не поможет!

— Надо всегда видеть правду,— упрямо ответил Гельми.

И, не чувствуя себя в силах противостоять ему, она отступила.

XXVIII

В заявлениях, адресованных суду берлинской королевской комендатуры, Либкнехт, обвиняемый в государственной измене, писал:

«Государственная измена была всегда привилегией правящих классов... Подлинные государственные изменники сидят... в конторах металлургических заводов... в больших банках, в усадьбах юнкеров-аграриев... Подлинные государственные изменники в Германии — это... чле-

ны германского правительства, бонапартисты с нечистой социальной совестью... Государственные изменники — это те люди, которые... превращают Европу в груду развалин и пустыню и окутывают ее атмосферой лжи и лицемерия».

Достаточно было заглянуть в любое его заявление, чтобы стало ясно: свою энергию Либкнехт направил на изобличение тех, кто стоит у власти. Меньше всего он занимался самозащитой.

«Предлагаю отменить приказ о взятии меня под стражу»,— писал он. Или: «Обвинительный акт, предъявленный мне, представляет собою сборник исторических преданий и ходячих формул». И дальше изобличал самую подготовку войны и связанное с этим лицемерие властей.

«Описание майской демонстрации в донесении полиции достойно Фуше и Штибера,— указал в другом заявлении Либкнехт.— В демонстрации участвовало... по точным данным рейхстага, человек двести, большей частью женщины и подростки... И с этими двумя сотнями... сильный наряд полиции, вместе с военными патрулями, не может справиться в течение двух-трех часов! Возникает необходимость на несколько часов оцепить площадь. Демонстранты разделились на три процессии... Итого, на каждую процессию по шестьдесят человек».

Словом, над теми, в чьих руках оказалась его судьба, он издевался.

«Мне, разумеется, совершенно не хотелось, чтобы полицейские кулаки помешали моему дальнейшему участию в демонстрации».

«Почему обвинение умалчивает о том, что после моего ареста два «патриота», очевидно из учеников фон Ягова, дубасили меня палками по голове, причем один с довольным видом приговаривал: «Давно пора было его сцапать!»»

«Еще раз требую, чтобы обвинение было последова-

тельным и придерживалось хотя бы тех пунктов, какие само предъявило».

Тем временем в городах Германии происходили волнения. Верный себе, Либкнехт касается и этого:

«Об идиллическом настроении немецкого народа свидетельствуют мюнхенские беспорядки 17 июня, серьезность которых полиции хотелось бы опровергнуть на свой излюбленный манер».

«Беспорядки в Мюнхене, как и во многих других городах, возникли из-за недостатка продуктов, жесточайшей нужды и голода, доводящих до отчаяния даже такой терпеливый народ, как немцы... Даже в рейхстаге, послушнейшем изо всех парламентов, недовольство проявляется очень резко. Но обвинение ничего об этом не знает. Зато знают в кварталах, населенных беднотой, у смертного одра сотен тысяч детей... знают и припомнят тем, кто сейчас ничего не хочет знать».

Так вел себя Либкнехт с того дня, когда был схвачен на Потсдамской площади, и вплоть до дня, когда предстал перед судом.

XXIX

Член военного суда Машке, назначенный обвинителем в первой инстанции, отказался поддержать версию измены отечеству, выдвинутую против Либкнехта. Тогда Машке заменили другим, и все пошло гладко. Председатель суда утвердил состав коллегии для слушания дела солдата рабочего батальона Карла Либкнехта.

В небольшом зале народу набилось пропасть, атмосфера была с первых минут накаленная. Не успели прочесть обвинительное заключение, как новый обвинитель обратился к суду с ходатайством о закрытом разборе дела.

— Так и ждал этого бегства от гласности! — саркастически произнес Либкнехт.

Председатель строго остановил его: обвиняемый вправе приводить доводы лишь по существу.

— Но и само предложение об отмене гласности вы намерены разбирать в закрытом порядке?! Предел трусости! Вот так правосудие!

— Прекратите свои выпады,— потребовал председатель.

Публике предложили покинуть зал — чтобы господин Керренсон обосновал свое требование о закрытом характере заседания.

Обвинитель Керренсон сослался на пример рейхстага: одиннадцатого мая там обсуждали вопрос о лишении Либкнехта депутатской неприкосновенности тоже в закрытом порядке.

— Этот самый жалкий изо всех парламентов вы позволили себе назвать «народным представительством»?! — возмутился Либкнехт.— Да он еще более жалок, чем русская Дума! Хорошо представительство!

— Подобные оскорбления я не желаю больше терпеть в суде,— заявил председатель майор Ретер.

— Но имею же я право высказываться! Мне приходится отвечать на тягчайшие политические обвинения, согласитесь!

— Что вам угодно сказать по существу предложения обвинителя? — бесстрастно спросил майор Ретер.

— Бегство от публичности можно было предвидеть. Правительство, на котором лежит вина за разбойничью войну, имеет все основания прятаться. Мне же скрывать нечего. Политика солидарности рабочих всех стран требует публичности. Я требую ее во имя международного социализма!

Суд удалился. На время публику снова впустили в зал. С величайшим нетерпением все ожидали, что порешат.

Затем председатель объявил: публичность во время судоговорения отменяется.

— С такой серьезной победой можно поздравить самого Бетман-Гольвега,— язвительно произнес Либкнехт.— Видно, она должна заменить ему победы в других областях.

Находившийся в публике Теодор Либкнехт обратился к суду с просьбой разрешить присутствие при разборе дела жене обвиняемого и личному и политическому его другу Розе Люксембург.

Майор Ретер спросил, кто еще ходатайствует о разрешении остаться. Ходатайство заявили почти все. Последовал короткий, вполголоса обмен мнениями. Майор Ретер объявил после этого, что остаться могут лишь те, кто должен присутствовать по обязанности своей службы.

— Я все же не понял,— переспросил Теодор Либкнехт.— Жене и мне, брату, остаться разрешено?

— Нет,— сказал Ретер,— решение распространяется на всех, чье присутствие не связано с их должностью.

Громко протестуя, люди двинулись к выходу.

— Посмейтесь как следует над этой комедией! — послал им вдогонку Либкнехт.

В зале осталось всего несколько человек, они пересели на передние скамьи. Председатель спросил, желает ли обвиняемый высказаться по существу того, что ему предъявлено.

— Я изложил все письменно и передаю заявление суду.

— Ну что же, тогда приступим к чтению брошюры солдата рабочего батальона Либкнехта «Идите на майский праздник», листовки, распространявшейся им, а также откликов иностранной печати на демонстрацию и на брошюру.

Слушая выдержки из иностранных отзывов, Либкнехт несколько раз протестовал:

— Все переврано: не французскую республику мы чествовали, а французскую революцию! Сплошная безграмотность!

Чтение продолжалось. Позже председатель спросил у него:

— Замечания у вас еще есть?

— В подробности я входить не стану, но все подобрано настолько тенденциозно, что спорить с вами лишено всякого смысла.

Поднялся обвинитель Керренсон.

— За выбор откликов иностранной прессы несу ответственность я.

— Тем хуже для вас! То, что я адресовал председателю, следует в равной мере отнести и к вам,— сказал Либкнехт.

Майор Ретер спросил, ходатайствует ли обвиняемый о допросе свидетелей.

— Отказываюсь, поскольку в вашей стряпне все ясно и так.

Но Керренсон потребовал прочитать свидетельства о том, как распространялись листовки на площади.

Так велось судебное заседание, от начала и до конца. Когда слово было предоставлено Керренсону, он повторил то, что было в обвинительном заключении, и, считая доказанной попытку военной измены, потребовал присудить Либкнехта к каторжной тюрьме на шесть лет.

Суд удалился. Двери зала были отворены вновь, и толпа, нетерпеливо ждавшая в кулуарах, устремилась сюда. Высокое, темноватое, мрачное помещение огласилось живыми и страстными голосами.

Не успел председатель огласить приговор — два года шесть месяцев каторжной тюрьмы,— как обвинитель потребовал удалить публику снова, на время чтения мотивов приговора.

— Прошу освободить зал,— произнес председатель.

— Даже на собственную цензуру не полагаетесь, господа?! — произнес Либкнехт.— Все равно не удастся спрятаться!

Затем обвинитель объяснил, что им руководит забота о безопасности государства; только потому он и ходатайствует, чтобы мотивы приговора были зачитаны без посторонних.

На этот раз ходатайство удовлетворено не было.

Приговор был мотивирован тем, что за деяния такого рода предусматривается только каторжная тюрьма. А срок судом назначен минимальный, потому что действия обвиняемого отвечали его пагубным взглядам и потому были искренни.

Либкнехта увезли опять в следственную тюрьму. Оттуда он стал вновь писать бичующие заявления.

На процесс, происходивший двадцать восьмого июня, рабочие откликнулись бурно. Уже накануне в Берлине состоялась массовая стачка протеста. В день, когда слушалось дело, в столице бастовало не менее пятидесяти пяти тысяч рабочих. Крупные демонстрации произошли также в Штутгарте, Бремене, Брауншвейге и других городах. Как и в Берлине, они носили бурный характер; это была первая волна политических стачек во время войны.

Июньские выступления, связанные с судебной расправой над Либкнехтом, явились поворотным пунктом в борьбе германских рабочих.

А сам Либкнехт продолжал свою борьбу из тюрьмы. Приговор суда он обжаловал, назвав его безграмотным и нелепым. В свою очередь и обвинитель опротестовал приговор, сочтя его слишком мягким.

Двадцать третьего августа суд кассационной инстанции рассмотрел протесты сторон. Жалобу Либкнехта оставили без последствий, что же до обвинителя, то в его доводах многое было сочтено обоснованным.

«Изображение воюющих как жертв корысти отдельных классов населения, ради которых их заставляют жертвовать своей жизнью, как овец, которых ведут на бойню; утверждение, что истинным врагом немецкого народа является собственное его правительство,— все это ведет к подавлению мужества и воинственности» — так значилось в приговоре.

Обвиняемый действовал, по мнению суда, преднамеренно, и поступки его, подчиненные одной цели, оказали психологическое влияние на немцев, ослабив «веру в справедливый промысел, парализуя радостную готовность каждого жертвовать собой для достижения почетного мира и подрывая дух дисциплины в армии». Мало того, демонстрация на Потсдамской площади могла создать впечатление во враждующем лагере, что Германия «стоит перед большими внутренними трудностями, вследствие усталости от войны значительной части населения. Это способствовало возникновению у враждебных правительств иллюзии, будто германская армия не в состоянии будет продолжать войну... и что в самом народе смертельным врагом считают не население государств, ведущих войну с Германской империей, а само германское правительство».

Срок в два с половиной года каторжной тюрьмы был увеличен до четырех.

Дело и на этот раз слушалось в накаленной обстановке. Либкнехт выступал снова как бесстрашный обвинитель режима. Чем горячее он говорил, тем все большее озлобление охватывало судей.

— Мы с вами относимся к двум различным мирам и говорим на разных языках. Я протестую против того, что вы, принадлежа к лагерю моих врагов, излагаете в собственном, глубоко тенденциозном толковании мои слова!

Ни одного довода судей он не оставил без ответа.

Единственная мысль руководила им: довести *свои* доводы до рабочих Германии. Что же до приговора, то, не щадя себя, Либкнехт независимо бросил:

— Куртку каторжника я буду носить с честью, как ни один генерал не носил еще своего мундира!

Да, свой процесс он полностью сумел подчинить интересам будущей революции.

XXX

Еще до того как приговор вошел в силу, власти снова схватили Розу Люксембург. К этому приложили руку и социал-демократы. Носке в своей газете «Хемницер фольксштимме» травил ее из номера в номер, доказывая, что она государственная преступница.

Арестовали Люксембург, не получив ордера на арест, без предъявления каких-либо убедительных мотивов: просто схватили и увезли.

Либкнехт, узнав об этом, сразу направил обращение в суд берлинской комендатуры:

«Мне сообщили, что 10 июля арестована мой друг Роза Люксембург. Агенты военного сыска посадили ее в тюрьму, где она, при своем слабом здоровье, окончательно захиреет... В феврале 1915 года ее схватили и год продержали в тюрьме. Теперь хотят окончательно уничтожить ее, эту женщину, в тщедушном теле которой живет такая пламенная великая душа, такой смелый, блестящий ум и которая будет жить в истории человеческой культуры...

И эти душители свободы, палачи истины — «Германская империя»! Это они тянутся в нынешнюю войну к скипетру владычества над миром. Победа в *их* руках была бы гибелью для немецкого народа и тяжким испытанием для человечества.

Но сила, которую пытаются одолеть в Розе Люксембург, могущественнее кулачного права осадного положения. Она разрушит стены тюрьмы и восторжествует.

Солдат рабочего батальона *Либкнехт*».

С той же верой в неминуемое торжество своего дела он писал из тюрьмы жене:

«...будь философом! Что такое четыре года! Будь бодрой, и все, даже самое важное, станет пустяком».

«Как можно ходить с поникшей головой, имея Гете, искусство и тысячи разных книг — наших друзей?» — писал он в другом письме.

Разумеется, самое важное не обращалось для него в собрание пустяков. Он жил именно им, проводя томительные дни в тюрьме.

Роза же в свою очередь делала все, что можно, чтобы поддержать исстрадавшуюся Соню.

Из знакомой уже ей тюрьмы на Барнимштрассе она писала:

«Моя милая маленькая Соня!.. Видите, письма идут ко мне дольше, чем в Нью-Йорк. Посланные вами книги прибыли тоже, и я очень вам благодарна за них. Мне больно, что я должна была оставить вас в таком положении... Будьте мужественны и не теряйте бодрости духа. Душою я с вами. Мой привет Карлу и детям. Ваша Роза».

Следующее письмо, уже из тюрьмы во Вронке, было написано ею накануне того, как Либкнехту вынесли приговор вторично:

«Милая Сонечка, почему я не могу быть теперь с вами! Эта минута очень тяжела и для меня. Но не опускайте головы: многое станет в жизни иным, чем нам теперь кажется... Будьте здоровы и веселы, несмотря ни на что. Обнимаю вас. Карлу сердечный привет. Я получила открытки от Гельми и Бобби и была очень им рада».

Спустя три месяца, узнав о новом горе Софьи Либкнехт, она прислала полное сердечности и сочувствия письмо:

«Моя любимая, моя маленькая Сонечка! Я узнала... что ваш брат убит, и потрясена этим постигшим вас новым ударом. Чего только не пришлось пережить вам в последнее время! А меня нет с вами, чтобы обнять вас и приободрить!.. Да, тяжелые теперь времена, в жизнь каждого из нас вписан длинный перечень потерь... Так хотелось послать вам что-нибудь... но, к сожалению, кроме этого маленького пестрого платочка, у меня нет ничего. Не смейтесь над ним — он должен только показать вам, как сильно я вас люблю».

Каждый из трех участников социальной драмы делал все, чтобы хоть немного смягчить страдания близких.

При этом, обладая чертами людей душевно богатых, они отвлекались от гнета текущего и создавали для себя в самых тяжких условиях возвышенный и прекрасный мир.

«Знаете, что мы с вами предпримем после войны, Сонечка? — писала Роза.— Мы отправимся вместе на юг... Я знаю, вы мечтаете о поездке со мною в Италию... я же строю планы, как бы затащить вас на Корсику».

Дальше следовало описание «героической местности со строгими контурами гор и долин», где над миром царит первозданная тишина или гудит ветер в горной расселине — «еще тот ветер, что надувал паруса Одиссея».

Либкнехт был прав: даже в стенах тюрьмы власти были бессильны изолировать эту пламенную душу, этот блестящий ум.

Все живое Роза любила нежно. Перед окном камеры ей удалось чудом высадить на крохотной грядке немного цветов. С любовью она выхаживала свой посев. Или часами наблюдала, как насекомое, повредившее лапку, возвращает себе способность передвигаться по подоконнику.

С полной душевной отдачей она прислушивалась к птицам, появившимся за окном камеры.

С такой же свободой, заточенная в одиночной камере, она пишет об эпопее Голсуорси. При том, что эпопея ей нравится, она склонна осудить ее, как ни странно, за слишком сильно ощутимую в ней тенденцию. «В романе я ищу не тенденцию, а художественную ценность. И в этом свете меня коробит, что Голсуорси... слишком остроумен... это тип писателя вроде Бернарда Шоу или Оскара Уайльда, тип, весьма распространенный сейчас среди английской интеллигенции,— очень умный, утонченный, но ко всему равнодушный человек; на мир он глядит со скептической улыбкой. Тонкие иронические замечания, которые Голсуорси с самым серьезным видом роняет о своих персонажах, заставляют меня часто смеяться. Но люди чуткие или деликатные никогда или почти никогда не издеваются над окружающими, даже видя смешные стороны их; истинный художник никогда не иронизирует над своим созданием».

От того, что окружало ее в тюрьме, она заслонялась своими острыми, проницательными мыслями. Но писать разрешалось всего раз в месяц. В остальное же время были одинокие прогулки, мучительное сознание собственной бездеятельности.

И вдруг,— как вихрь, налетевший издалека,— весть из России, где в бурное движение пришло все вековечное, застоявшееся: там произошла революция.

«Как должен радоваться известиям из России Карл!» — написала Роза Люксембург девятнадцатого апреля семнадцатого года.

Спустя несколько месяцев она убежденно заметила:

«Чем дальше все это продолжается, чем больше низкого и чудовищного, переходящего всякие допустимые границы, совершается каждый день, тем я делаюсь увереннее и спокойнее... Я чувствую: нравственная тина, в

которой мы барахтаемся, огромный сумасшедший дом, в котором мы томимся, однажды внезапно, как по мановению волшебной палочки, может превратиться в великое и героическое — а если война продлится еще несколько лет, то превратится *непременно!*»

Со все большей убежденностью она стала теперь возлагать надежды на неминуемые и великие перемены, которые придут на смену безумию.

XXXI

В Северной берлинской тюрьме Либкнехта держали вплоть до декабря. Седьмого декабря он узнал, что завтра его увезут. В тот день, в четверг, должно было состояться свидание с Соней. Утром ему стало известно, что жена нездорова и не сможет прийти. Предстоял переезд неизвестно куда, перерыв в свиданиях, и без того не частых.

В пятницу в восемь утра, соблюдая величайшую секретность, Либкнехта вывели из тюрьмы. Никто не должен был знать, что его увозят. Опасались демонстраций в городе.

На Ангальтском вокзале его провели под охраной в специальный тюремный вагон. В пути чины охраны стерегли его с такой строгостью, точно Либкнехт мог выброситься из окна.

Скорый поезд доставил его за час пятнадцать минут в Люкау. Над городком главенствовала каторжная тюрьма. Идти было недалеко, минут десять. По пути стража не произнесла ни слова, разве что сообщила название городка.

Промолчав всю дорогу, сопровождающие были рады, что сдали наконец опасного арестанта под расписку тюремным властям.

После обычной процедуры опроса Либкнехта по каменным лестницам и переходам, где шаги отдавались

гулко, привели в камеру. Немалую ее часть занимала печь с холодными изразцами. Он попробовал дотянуться до окна, это ему удалось. Значит, хотя окно и зарешечено, можно будет открывать его? В камере были стол, табурет, умывальник и койка. Даже тарелка и нож нашлись — правда, нож совершенно тупой; вилки и ложки не было — очевидно, не полагалось.

Первое, о чем Либкнехт подумал, это что от Берлина не так уж далеко: выехав утром, Соня успеет вернуться в тот же день домой. Он продолжал еще жить берлинскими связями.

Затем представил себе будущий распорядок: обязательно ходить много по камере, заниматься гимнастикой, не давать мозгу поблажек и работать, работать вовсю.

«Меня приписали к сапожной мастерской, но тружусь я в камере. В первые две недели сдавать ничего не надо, в следующие две надо будет изготовить треть, затем две трети нормы, и, наконец, после шести недель ученичества я должен буду производить целую норму».

В первый же день Либкнехт установил, что двор для прогулок просторный, а по ту сторону стены, огораживающей тюрьму, видны деревья и кирпичная готическая церковь с гигантской базиликой. На самом же дворе оказались грушевое дерево и огородик.

Тысяча четыреста шестьдесят дней назначены ему как мера его неволи, он уже сосчитал. Тридцать восемь из них он отбыл, почти тридцать восьмую часть, сообщил Либкнехт Соне в одном из писем. Такие подсчеты несколько скрашивали томительное время.

Когда он узнал, что свидание с родными разрешено в первой половине января, все следующие дни были подчинены ожиданию встречи.

Сидя на перевернутом табурете, Либкнехт старательно сучил дратву и прокалывал шилом отверстия для про-

шивки. Отбирать обрезки кожи и набивать каблуки он уже научился.

Свидание произошло десятого января. Либкнехт побрился еще накануне, а с рассвета стал нервно ходить по камере, чтобы лицо не выглядело таким бледным.

Стража повела его длинными переходами; через большое с каменными сводами помещение его привели в другое такое же и предложили ждать. Потом ввели в зарешеченную большую комнату. Соня и дети стояли за второй решеткой.

Либкнехт растерялся, первых его слов они не расслышали. Приходилось говорить, насилуя себя, гораздо громче обыкновенного. Он обращался то к Соне, то к детям, то говорил всем сразу:

— Как вы? Я надеюсь, у вас все хорошо?

Это было так неестественно, что он впал в отчаяние, расстроился окончательно. Даже Соня, так хорошо умевшая владеть собой, растерянно смотрела на мужа и на его вопросы отвечала искусственно, чересчур громко.

Свидание, о котором он столько мечтал, прошло невыносимо тягостно. Все было ненастоящим, искаженным, как в карикатурном злобном представлении. Либкнехт даже почувствовал облегчение, когда объявили, что оно окончено.

«Вы так испугались, в особенности ты, когда я показался за решеткой...— написал он Соне.— Но я надеюсь, что теперь вы успокоились. Не надо тревожиться. Все вы, и ты, моя милая, не должны волноваться из-за таких пустяков. Что страшного в решетке? И чем может она повредить нам — мне, тебе, детям? Какая разница между нею и моей тюремной одеждой или стриженой головой?»

Роза Люксембург, получившая право посылать письма раз в месяц, написала Софье Либкнехт:

«Краткий рассказ... о вашем свидании с Карлом произвел на меня потрясающее впечатление. Видеть его за ре-

шеткой, как это было вам тяжело! Почему же вы умолчали об этом? Ведь я имею право участвовать в ваших горестях и сокращать мои владения не позволю!

Рассказ... живо напомнил мне первых посетителей в варшавской крепости, где я сидела десять лет назад. Там... в большой клетке свободно помещалась меньшая, и разговаривать приходилось через две мерцающие сетки. К тому же шестидневная наша голодовка закончилась только накануне, и ротмистр, комендант крепости, почти внес меня в приемную. Я держалась за проволоку обеими руками, это еще больше подчеркивало сходство с диким зверем в зоологическом саду. Клетка стояла в полутемном углу комнаты. «Где ты?» — спрашивал брат, прильнув лицом к решетке, и вытирал со стекол пенсне слезы, мешавшие ему видеть. С какой радостью я сидела бы теперь вместо Карла в такой же клетке в Люкау!»

А Карл, освоившийся уже с новыми условиями свиданий, писал вскоре совсем о другом:

«Ты не должна на меня сердиться, если в понедельник я был немного не в духе... Если я и был не совсем доволен ходом работы по размещению материала, то извини меня, моя дорогая, и пойми, что думать об этом я не перестану, пока не узнаю, что все готово... Я, право, не хочу тебя мучить, но, мне кажется, завершение этого дела успокоит и тебя».

О каком же деле помышлял день и ночь Либкнехт, находясь в тюрьме?

Все, что имело отношение к его процессу, надо было привести в порядок и как можно скорее опубликовать. Весь ход разбирательства, обвинения, которые он бросал в лицо судьям, все собранное вместе, должно было стать прямым изобличением режима.

Страна задыхалась во лжи, какою ее оплели, и жаждала истины. Либкнехт решил рассказать, как расправляются с инакомыслящими в Германии.

Будущую книгу он называл в письмах то «материалом», то «библиотекой». Мысль, что подготовка книги важна для общего дела, придавала ему настойчивости.

Но не это одно поглощало его: находясь в крепости, он задался целью изучить условия развития «так называемых идеологий». Это требовало огромного подготовительного труда, и Либкнехт просил Соню добыть для него то одну, то другую книгу.

Детям он писал отдельно и с каждым установил особые отношения. Роберт, например, увлекался бабочками. Отец выражал надежду, что мальчик обращается с ними заботливо и, когда потеплеет, займется разведением куколок.

Верочке в день ее рождения слал такое количество пожеланий, что, по его словам, уместиться на листе бумаги им было просто невозможно.

С Гельми переписка носила характер морально-философский: отец, смягчая и уравновешивая нравственные искания сына, советовал исходить из того, что человек представляет собой высший тип животного: и слабости, и хорошие свойства его натуры следует оценивать с естественнонаучной точки зрения, привыкая рассматривать их широко.

Всем детям одновременно он написал однажды:

«Вы услышите «Страсти господни» (И.-С. Баха.— *О. Ч.*) в классическом исполнении. Это одна из замечательнейших вещей... Во время моего пребывания в военной тюрьме у меня были эти ноты». Отец просил, чтобы дети ознакомились с ними еще до концерта. «Понять их нелегко — контрапункт и фуга... Но когда волшебная ткань становится ясной, испытываешь высшее блаженство. Музыка не знает ничего более тонкого, нежного и трогательного, а в народных сценах ничего более величественного».

Он сообщал, что морозы в Люкау доходят до двадцати трех градусов, но беспокоиться о нем не нужно, потому что его спасают гимнастические упражнения.

Несмотря на холод и невзгоды, работа над будущей книгой продвигалась вперед. Либкнехт читал очень много, хотя иной раз сознавался, что сильно устает.

Судя по письмам, жизнь его выглядела так, точно она вся наполнена живыми многосторонними интересами.

Можно было, казалось, забыть, что все это пишет арестант, каторжник, человек, по многу часов в день сучащий дратву и тачающий сапоги, одетый в арестантскую одежду, с головой, остриженной наголо.

Чудо превращения заключенного в свободную, стоящую выше трудностей и лишений личность происходило в его камере каждый день.

Либкнехт размышлял о мире, о судьбах Германии и ее путях в ближайшие годы.

И в эту камеру, которую администрация хотела бы замуровать и от всех изолировать, тоже ворвался бурный вихрь русской революции.

КНИГА ТРЕТЬЯ

ЛИБКНЕХТ В ТЮРЬМЕ. ПРАВЫЕ МАНЕВРИРУЮТ

I

Времени размышлять и сопоставлять прошлое с настоящим было в тюремных условиях достаточно. Либкнехт на разные лады рисовал себе ход грядущих боев, подсчитывая силы армии революции. В его думы о будущем то и дело вторгались воспоминания. Сидя на опрокинутом табурете, занятый работой, он иной раз целиком подпадал под их власть.

Орудуя коротким, с широким закруглением на конце сапожным ножом, Либкнехт заготовлял обрезки кожи и набивал их на стоптанные каблуки. Нож был вручен ему с большими предосторожностями: арестанта строго предупредили, что если он, упаси бог, попробует причинить себе вред, то сапожным делом ему больше не заниматься и поставят его на работу почти непосильную.

От набоек Либкнехт перешел к операции более сложной — начал делать новые каблуки. Прибив куски кожи, обреза́л их по краям плавным полукружием; затем обрезал снова, с еще большим тщанием, сообщая кривизне законченный вид, и натирал воском. Занятие если не увлекало, то, во всяком случае, и не отвращало.

И вот, выполняя дневной урок, Либкнехт следил вместе с тем за движением своей мысли. Почти неминуемо мысль влекла за собой воспоминания.

Установленный им самим распорядок дня включал двух-трехчасовое хождение. Случалось, впрочем, что

шагать по камере заставляли бурно нахлынувшие на него ощущения и идеи.

...Он снял брезентовый фартук, положил на табурет и начал ходить из угла в угол. Как случилось, что он, от природы неспособный обидеть других, стал с годами таким непримиримым? Когда это произошло, в какую пору его жизни?

В годы, когда он отбывал военную службу? Когда соприкоснулся с тупостью муштры и казарменного угнетения, с мерзостью прусской солдатчины? Нет, после службы к нему, как будто, вернулось врожденное миролюбие.

Или когда была опубликована его книга «Милитаризм и антимилитаризм», наделавшая так много шуму? Книгу конфисковали, над ним учинили расправу, его присудили к полутора годам крепости. Но даже и в крепости он сохранил свое миролюбие. В главной башне Глаца, на высоком валу, за сверхтолстыми стенами, было вовсе не комфортабельно. Соне, учившейся тогда в Гейдельберге, он написал, что в камере, разумеется, не так благоустроенно, как в гейдельбергской «Астории» или «Гранд-отеле». Он предпочитал шутить и, успокаивая Соню, утверждал, что комендант — человек прекрасный, да и остальные господа корректны с ним. А семилетний карапуз с льняными волосами, сынишка фельдфебеля, навещающий его время от времени,— существо очень милое.

Так он переносил полуторагодичное, начиная с тысяча девятьсот седьмого года, заточение.

За два года до войны во время выборов в рейхстаг он, Либкнехт, не окончательно еще разуверился в обещаниях, расточаемых социал-демократами. Они клялись в приверженности идеалам рабочего братства. Клялись повернуть в случае войны оружие рабочих против зачинщиков. Немецкие рабочие были так хорошо организованы и так послушно следовали за вожаками — как было не поверить?..

В воображении возникли грандиозные шествия, митинги, горячие выступления. Казалось бесспорным: будущее — за рабочим классом; в легальной борьбе социалисты завоевали тогда сто десять мест в рейхстаге, а в ближайшие годы, имея миллион членов партии, рассчитывали повести за собой большинство народа.

Но была какая-то червоточина в душе вожаков, налет самодовольства, ненавистный Либкнехту. Сколько немецкие социал-демократы ни распинались на Базельском конгрессе Интернационала в своей приверженности миру, он и верил им, и не верил.

В том же 1912 году, в котором проходил конгресс в Базеле, фирма Круппа отметила свой столетний юбилей. Прибывший в Эссен на торжества кайзер произнес пылкую речь в честь крупповских пушек. Газеты стали превозносить фирму на все лады, видя в ней чуть ли не национальную гордость Германии. И тогда же он, Либкнехт, решил не давать потачки пушечным королям и в удобный момент обрушить на них свой удар.

Год спустя Бетман-Гольвег потребовал от рейхстага огромных сумм на военные нужды. Либкнехт добыл неопровержимые доказательства — документы, из которых явствовало, что фирма Круппа еще накануне войны с Францией готова была вооружить ее артиллерию *против* немцев; что она не раз продавала оружие иностранным державам по ценам более низким, чем военному министерству Германии; что в самом этом министерстве она содержит платных агентов, доносящих ей о любой сделке с другими фирмами.

...Он увидел себя произносящим речь с трибуны рейхстага. Лицо Бетман-Гольвега дергалось от нервного напряжения. Военный министр Геринген сидел весь багровый от ярости. Уж он-то знал, какой дикий скандал разразится завтра, прямо всеевропейский; придется пожертвовать кое-кем из полезных людей...

Так можно ли было, сталкиваясь с темными делами имперской клики, сохранять миролюбие? Не изобличать мошенников, щеголяющих любовью к родине и торгующих ее интересами?!

Крупповская панама, раскрытая им тогда, действительно наделала много шуму в Европе. В канун мировой войны она показала, чего стоит патриотизм пушечных королей.

И теперь, остриженный наголо, в арестантской шапочке, в фартуке и с сапожным ножом, Либкнехт с тайным удовлетворением как бы рассматривал свою непримиримость со стороны. Если она нужна была прежде, то тем более необходима сейчас, когда короли пушек играют судьбой народов.

На столике в жестяной баночке тлела недокуренная папироса. Сейчас он протянет руку к окурку и сделает медленную затяжку. Эту радость он отодвигал сколь возможно.

Воспоминания о борьбе, которую он вел в предвоенные годы, вернули Либкнехту ощущение силы. В тускло освещенной камере, посреди разбросанных старых сапог он вновь почувствовал себя — право же, не только для Сони, чтобы утешить ее,— борцом, жизнь которого полна до краев и идет от схватки к схватке.

II

В замочную скважину вставили ключ. Начальник сапожного цеха, решил Либкнехт: надзиратель имел обыкновение сначала смотреть в глазок, а потом уже открывал дверь.

Шульц, тоже из арестантов, находился в тюрьме давно и пользовался некоторыми льготами. Это был человек пожилой, с хорошо отшлифованной лысиной, коротким

носом и плоским лбом, почти без морщин. Очки он носил в стальной оправе. К Либкнехту обращался на «ты» и нисколько не любопытствовал, за какую провинность тот угодил сюда.

— Ну, много чего наработал? — Он окинул опытным взглядом лежавшие на полу сапоги и ботинки.

Шульц почти никогда не хвалил Либкнехта, хотя тот в работе был исполнителен до щепетильности, и чаще отделывался словами «ну что же», «гм», «ладно».

Искоса взглянув на колодку, на которую была натянута кожа для задника, он ворчливо заметил:

— Не умеешь сшивать... И двух недель носки не выдержит! — И, отстранив Либкнехта, занял его табурет.— Смотри и соображай... Надо сказать, чтобы настоящий табурет дали, круглый, как положено. Сволочи, не позаботятся сами!

Эта впервые прорвавшаяся неприязнь к тюремным властям немного приблизила его к Либкнехту.

Шульц приладился кое-как к табурету и принялся за дело: вбил еще несколько гвоздиков в кожу, прикрепив ее лучше к колодке, и стал показывать, как две иглы свободно расходятся в стороны, стягивая левую и правую половинки задника. Руки у него были умелые, ровные стежки радовали глаз, Либкнехт не прочь был бы работать так же ловко.

И тут мелькнула острая мысль: а нельзя ли Шульца использовать в своих интересах, сделать связным, что ли?..

Сегодняшнее утро было полно для Либкнехта важных событий: после поверки и полагавшейся всем баланды стали разносить по камерам передачи с воли. Допускались они не часто, дни, когда их раздавали, были для заключенных совершенно особыми.

Либкнехт получил сухари, пачку чаю, папиросы, цельный батон колбасы, немного сахару... Вместе с передачей

вливалась почти физическая близость семьи. Он представил себе Соню, укладывающую все одно к одному, заворачивающую в бумагу, чтобы не попортилось, и к сердцу его прихлынула нежность. Боже, как много он дал бы, чтобы оказаться с нею, увидеть ее возле себя!

Держа в руке колбасу, Либкнехт провел пальцами по шершавой коже и вдруг нащупал какую-то шероховатость, аккуратно заделанный надрез, какой бывает в рваном пиджаке, хорошо заштукованном.

В камере было пасмурно, из окна вверху лился слишком скупой свет. Подойдя к окну ближе, Либкнехт стал тщательно рассматривать крохотный шрам, обнаруженный им. Да, несомненно: умелые руки произвели тончайшую манипуляцию, вложив что-то в колбасу.

Ушло немало времени, прежде чем он с осторожностью извлек скатанную узким валиком тонюсенькую бумажку, которая даже не промаслилась: она была особого свойства.

Вести с воли... Он стал разбирать их, фразу за фразой. Выходит, его имя участвует в той борьбе, какая ведется в Германии? И стало знаменем недовольных? Тех, кто противостоит режиму кайзера? Или это друзья решили подбодрить его? Но не стали бы они выдумывать небылицы; приводили ведь только факты.

Трудно даже передать, какое сильное потрясение пережил Либкнехт в то утро.

И вот Шульц, поднявший очки на лоб, чтобы как следует рассмотреть сделанные им швы, натолкнул его на дерзкую мысль: а не использовать ли его для связи с волей? Не попытаться ли?

Пока с этим следовало, во всяком случае, повременить. Не один разговор вскользь предстоял еще, прежде чем Либкнехт решился бы на такой рискованный шаг. Долгие месяцы испытаний приучили его к выдержке.

Шульц опустил очки и бросил колодку на пол. Подымаясь, он ржавым голосом пожилого, ничего не ждущего для себя человека проскрипел:

— Когда шьешь иглой, нужно много внимания, чтобы ветер не гулял в голове и чтобы руками водила старательность. Все эти финти-минти, речи разные надо забыть, тогда пойдет дело лучше.— И вышел, заперев дверь на два оборота.

Слова его показали, что Шульц не так уж неосведомлен в политическом прошлом Либкнехта.

Так о чем поведала тонюсенькая записочка, вложенная в колбасу? Его делу — аресту, процессу над ним — посвящено много листовок: «За что боролся Либкнехт?..», «Два с половиной года каторжной тюрьмы», «Что с Либкнехтом?», «Собачья политика», «Голод»... Имя его сделалось знаменем нарастающего протеста. Право, стоило угодить в крепость, если твой поступок стал вехой в борьбе тысяч!

Полиция, видно, усиленно гоняется за подпольщиками. В одном месте, в другом, третьем осуждают людей за распространение листовок. Но весточка с воли показывала, что подпольное движение не подавить. Отдельные провалы ничего не меняют. Вот в багажном отделении лейпцигского вокзала обнаружили тысячи листовок с призывом «Рабочие, протестуйте!», а найти организаторов так и не удалось.

Либкнехт говорил себе, правда, что обольщаться успехами рано и главные трудности впереди. Но никто не видел ведь, как он в своей камере радовался этой крохотной весточке.

В тот день он урока по сапожному делу не выполнил, дал себе такую поблажку: слишком острым оказалось чувство связи с соратниками и друзьями, со всеми, кто продолжал борьбу против войны и ее вдохновителей.

III

Еще до того, как Либкнехта заточили в крепость, двадцать первого сентября, социал-демократы созвали общегерманскую конференцию партии. Необходимо было навести порядок в рядах, приостановить брожение.

Из трехсот с лишним делегатов около ста являлись депутатами рейхстага: восемнадцать от группы отколовшихся — «Трудового содружества» и восемьдесят три от большинства. Большая часть делегатов состояла из посланных на конференцию партийных и профсоюзных чиновников. Группу «Спартак» представляло всего несколько человек.

Златоуст партии Шейдеман использовал свой опыт пропагандиста, чтобы еще раз доказать правоту «четвертого августа» — политики соглашения с буржуазией. Разве опасность, нависшая над Германией, устранена? Разве, доказывал он, положение упрочилось от того, что немецкие войска стоят на чужих территориях? Страна, защищая себя, терпит нужду во всем и несет тяжелые жертвы. Разве кровопролитие вызвали социал-демократы? Они требуют лишь, чтобы за немцами было признано право на обеспеченное существование.

— А что вы считаете формой обеспечения? — раздались голоса.— Зависимость Бельгии от нас? Так называемые исправленные границы?

Шейдеман оглядел ряды: вопросы исходили от спартаковцев и членов «Трудового содружества». Противников было тут явное меньшинство.

— Говорить о деталях мирных предложений сейчас не время. Важно создать условия, при которых воюющие сели бы за стол переговоров. Что мы не аннексионисты, понимает каждый здравомыслящий человек.

— Но и пацифистов из себя не стройте! — крикнула

спартаковка Кете Дункер.— Никто вам все равно не поверит!

— Советовал бы товарищам, несогласным с нами, осмотрительнее выбирать слова,— заметил неприязненно Шейдеман.

Он сорвал аплодисменты сторонников, которых было в зале достаточно.

Выступивший после него Эберт задался целью показать, какой вред приносят спартаковцы. Используя трудное положение страны, они наводняют ее потоком низкопробных листовок: сеют смуту, клевещут на тех, кто годами руководит профсоюзами, призывают рабочих к стачкам. Досталось и членам «Трудового содружества».

Их лидер Гаазе стал доказывать, что «Содружество» вовсе не ищет мира любой ценой и не призывает рабочих к стачкам. Оно настаивает лишь на политике, менее зависимой от правительства. Члены «Содружества» и не сторонники подполья, насильственных методов или, боже упаси, революции: они требуют лишь большей независимости в рейхстаге. Спору нет, парламентский путь остается важнейшим, но нельзя плестись в хвосте имперской политики.

— Это мы-то в хвосте?! — иронически переспросил Шейдеман.— Далеко же вы смотрите! Хороши стратеги, нечего сказать!

Сколько обе группы ни препирались, громкие слова о защите родины заслоняли вопрос о подлинном положении рабочих. Одна лишь Кете Дункер заговорила, что рабочие недоедают в тылу и гибнут на фронте, они сражаются не за кровное свое дело, а за интересы германского капитала.

— Вы, лидеры большинства, начиная с первого дня войны ведете себя недостойно: всякий раз голосуете за то, что нужно не рабочему классу, а капиталистам. Вы тут толковали много о единстве действий, но оно же возмож-

но только тогда, когда есть единство во взглядах. У «Спартака» оценка событий отлична от вашей в корне. Мы за братство народов, а вы на позиции социал-шовинизма. Мы против этой грабительской войны, а вы ее защищаете. Туман первых недель рассеялся, миллионы видят ее чудовищные последствия. Поэтому мы, как и вся сознательная часть рабочего класса, требуем прекратить политику соглашательства!

Казалось, при таком расхождении во взглядах нельзя было спартаковцам оставаться в одной партии с шейдемановцами. Но Дункер не сделала этого вывода. Да и в самом «Спартаке», обескровленном арестами руководителей, пока нелегко было решить вопрос о разрыве с правыми и о создании собственной партии.

Итоги конференции были ясны заранее, ведь ее целью было осудить несогласных, изолировать их. Из трехсот девятнадцати делегатов двести пятьдесят поддержали Шейдемана и Эберта.

Несогласные покинули зал, не дожидаясь голосования. Тут делать им было больше нечего. Поддержку своим взглядам им надо было искать на заводах, в цехах, на улице, но не здесь.

IV

Командующий войсками Восточного фронта генерал Гинденбург находился в Бресте, когда из ставки в Плессе пришло срочное предписание: ему вместе с помощником незамедлительно прибыть туда. Вызывал Вильгельм II.

Телефонный разговор произошел в час дня, а уже в четыре оба, он и генерал Людендорф, сидели в специальном поезде, который мчал их на запад, в верхнесилезский городок Плесс.

Вильгельм принял генералов в своем замке. Он был чрезвычайно любезен с ними и за завтраком сообщил, как

о чем-то решенном, что Гинденбург назначается начальником генерального штаба, а Людендорф — генерал-квартирмейстером, то есть ближайшим его помощником.

— Но это слишком тяжелая миссия, ваше величество! И потом генерал Фалькенгайн столь авторитетен на своем посту...

— Нет, нет, я не жду от вас возражений. Новая обстановка требует новых людей. Я принял решение передать всю ответственность за военные действия вам и убежден в полном соответствии вашей личности новому делу.

Возражать дальше было бы неуместно. Гинденбург был старый испытанный монархист и вырос в традициях безусловного подчинения императорской власти. Эрих фон Людендорф тоже.

Завтрак прошел в обстановке сердечности, которую выказывал Вильгельм приглашенным к столу генералам. Императрица была тоже подчеркнуто ласкова, показывая, что избранники мужа милы и ей.

В тихом и чистеньком городке ритму штабной работы подчинялось все. Высшие офицеры работали напряженно по многу часов. Голубоглазый, высокий, с отличной выправкой, генерал Людендорф, на редкость трудоспособный сам, с первых же дней сумел подчинить все и всех распорядку, установленному им. Гинденбург и он отлично сработались еще на Восточном фронте и понимали друг друга с первого слова. От армии оба требовали не только безоговорочной дисциплины, но и того, что называлось «радостной готовностью» пожертвовать собой во имя победы. От страны же требовалось прежде всего единство.

Разговоры о жертвах, которые немцы приносят, замирали на пороге штабных помещений. Считалось понятным само собой, что во время войны неизбежны любые жертвы.

Взгляды руководителей ставки не отличались в этом

вопросе от взглядов кайзера. Фронт вправе был ждать от тыла всего, в чем нуждался. Между тем в стране то не хватало угля для военных заводов, то из-за плохого снабжения рабочие угрожали забастовками, то вдруг обнаруживалась большая нехватка рабочих рук. В ответе за это было правительство, и только оно.

Каждое утро Людендорф докладывал шефу о событиях на фронтах и нет-нет да задевал при этом дела гражданские.

— Когда чуть не каждый день сталкиваешься с недостатком амуниции, ружей, снарядов, поневоле спрашиваешь себя: может ли ставка выполнить свой долг перед троном, если тыл не на высоте?

После нескольких таких тревожных донесений Гинденбург спросил:

— А у вас какие-либо предложения на этот счет есть?

— Да, ваше высокопревосходительство,— помедлив, сказал Людендорф.— Я много думал и вижу выход лишь во всеобщей мобилизации мужского населения.

— Мы призвали уже почти все возрасты,— заметил с сомнением Гинденбург.

— Я имею в виду всеобщую трудовую повинность.

— А рейхстаг? Придется ведь проводить через него?

— Иного пути, ваше высокопревосходительство, у нас нет.

— Если бы вы знали, как надоела мне эта говорильня! — сознался Гинденбург.— Пока они помогали фронту единодушно, их еще можно было терпеть. Но теперь, на третьем году войны, работа там ведется со скрипом, с ненужной затратой времени. Любые дискуссии только вредят... Так вы все же думаете, что проект всеобщей мобилизации удастся провести?

— Либо рейхстаг и правительство пойдут нам навстречу, либо же, полагаю я, нам придется вступить с ними в конфликт.

— Да, это так...— Гинденбург посмотрел в окно: цветы были давно срезаны, кроме астр, которые еще не увяли; опрятные клумбы радовали глаз своей симметричностью.— Хорошо, генерал, подготовьте свои предложения.

Проект «вспомогательной службы отечеству», предложенный Людендорфом, стал называться позже программой Гинденбурга. Он обязывал немцев от семнадцати до шестидесяти лет отбывать трудовую повинность там, где это будет признано нужным. Уходить с предприятия или отказываться от работы запрещалось. Под видом повинности он узаконивал рабство для немецких рабочих.

После изнурительного согласования в комиссиях рейхстага на исходе года, второго декабря, закон был утвержден. Социал-демократы не решились голосовать против него.

Но закон этот развязал Гинденбургу руки совсем ненадолго и внутренних трудностей не разрешил.

Что немцы сильно недоедают, отрицать было невозможно. Блокада, которую проводили французский и английский флот, делала положение в стране все более сложным. Нужны были новые и едва ли не крайние меры.

Первого февраля 1917 года Германия в ответ на блокаду французов и англичан объявила неограниченную морскую войну. Ее подводные лодки получили приказ топить любые суда противника без разбора.

Этот акт узаконенного пиратства не только вызвал взрыв негодования повсюду — он послужил последним толчком для вступления Соединенных Штатов Америки в войну на стороне Антанты. Причины лежали, конечно, глубже: речь шла о том, ктó после победы захватит в мире ведущее место. Уступать его Англии Америка не собиралась.

Но теперь уже немцы все, без различия взглядов, обязаны были признать, что страна их сражается одна против целого мира, ведь союзники ее мало чего стоили. Перед непреложностью этого положения должны были затихнуть внутренние разногласия, споры и распри.

Так полагали кайзер и ставка. Так полагали все националисты, представители правых партий и любых буржуазных течений.

V

Но вовсе не так думали рядовые рабочие и в особенности руководители революционного их крыла, спартаковцы.

Да тут еще одно из ряда вон выходящее событие преподнесла история. Оно ворвалось в ход европейских событий, смешав все карты: в России произошла революция. Хотя поначалу она не сулила особенных перемен в расстановке сил, последствия ее были неизмеримы.

Немецкие генералы уверяли, что Россия царя рухнула под ударами их войск. Шейдемановцы напоминали свои призывы в начале войны защищать Европу от казаков и ингушей. Значит, раз царский режим уступил место новым, народным силам, политика самообороны оправдала себя.

Но Февральская революция принесла с собой и на фронт небывалые веяния: в разных пунктах Восточного фронта началось братание. Из русских окопов поднимали красные флаги, плакаты или просто кричали: «Пора кончить войну! Давайте мириться! К чему убивать друг друга?!»

Немцы слушали, изумленные. Эти простые, понятные всем слова произносил на той стороне фронта одетый в серую шинель трудовой человек, земледелец или рабочий. Но эти русские все же оставались врагами.

Кто в ответ на призывы молчал, кто усмехался, а кто начинал поговаривать: «А что, в самом деле, ведь правда пора кончать! Сколько же можно тянуть волынку!»

Первые признаки намечавшегося брожения офицеры старались пресечь всеми средствами. Они угрожали наказаниями вплоть до расстрела. Они понимали, чем это может кончиться для империи кайзера. Группы русских солдат, поднимавших над головой красное полотнище, они обстреливали из пулеметов.

Но дух брожения стлался, подобно туману, полз и полз, передвигаясь с восточной стороны на западную. Так прежде, совсем еще недавно, ползли отравляющие газы в ту сторону, куда дует ветер. Как ни противились немецкие офицеры, остановить это медленное движение было невозможно. Находились среди немцев сознательные пролетарии, те, кого за разлагающую работу в тылу погнали на фронт. Находились такие, кто читал листовки, распространяемые «Спартаком», кто знал о деятельности Либкнехта и Люксембург.

И вот показываются на той стороне солдаты. Они перелезают через бруствер. Нет, это не атака, артиллерия не бьет по окопам немцев. Солдаты кричат: «Не стреляйте, и мы не будем стрелять! Мы идем к вам со словами мира и братства». И слово «товарищи» слышно на ничейной полосе. И как ни свирепствует лейтенант в немецком окопе, никто не стреляет. С затаенным интересом ждут, во что это выльется. Наконец, видя свое бессилие, офицер не препятствует больше, и несколько солдат выбираются из окопа, готовые выслушать русских: может, они предлагают перемирие на данном участке фронта? Пускай изложат свои условия.

Иной раз, сметая запреты, из немецких окопов тоже выбегали солдаты навстречу, и вместо стрельбы начинался торопливый разговор. Если среди русских находился кто-то, владевший немецким, разговор приобретал

страстный характер. А офицер, высунувшись из окопа, смотрел в бинокль, презрительно усмехаясь; затем начинал кричать: «Zurück! Zurück! Ich schiesse!» * И русские и германские солдаты нехотя расходились.

Начальство понимало, что веяния с востока полны для немцев опасных последствий. Оно рассылало приказы, требуя пресечь попытки братания.

В ставке Гинденбурга порешили заткнуть без промедления все щели, через которые идеи русских могли бы просочиться к немцам. Следовало использовать те возможности, которые сулила немцам русская революция, но не допускать ничего тлетворного и зловредного.

Так в Германии считали многие, если не большинство. Одни лишь спартаковцы поняли, что в цепи империализма выпало важное звено. Работа, которую они вели в труднейших условиях, должна была получить теперь еще больший размах. Любым способом, легальным или нелегальным, устным или письменным, следовало довести до рабочих, солдат, всех, кто жаждал правды, что в ходе войны началась новая полоса.

Уже в апреле в письме «Спартака» под названием «Революция в России» утверждалось, что движущей ее силой является рабочий класс. Газета дуисбургских левых «Кампф» приблизительно в это же время заявила, что, судя по всему, в России на смену Временному правительству буржуазии может прийти власть пролетариев.

А когда в апреле 1917 года Владимир Ильич Ленин проехал из эмиграции на родину через Германию и началась свистопляска газет, в том числе социал-демократических, немецкие левые заявили в стокгольмской печати самый решительный протест по поводу травли, которая ведется против вождя большевиков.

Сколько ни громила полиция нелегальные группы

* — Назад! Назад! Стрелять буду! (*нем.*)

«Спартака», они упорно продолжали распространять правду о том, что происходит в России, и давали событиям правильное истолкование.

VI

В своей одиночной камере Карл Либкнехт воспринял русскую революцию как событие величайшей важности. Он, как и Роза, вправе был считать, что событие это воздействует на него подобно эликсиру жизни.

В большое будущее России он верил всегда. Февральский переворот открывал путь для огромных социальных преобразований. В свете этого следовало вновь и вновь продумать тактику «Спартака».

То, что в социал-демократической фракции произошел раскол, обещало скорее всего возникновение еще одной партии. Партия Гаазе — что она могла дать? Новые маневры? Новые компромиссы? Что предпочтительнее — влиться в нее, оговорив свою независимость, или создать еще одну партию, третью? Но «Спартак» — и это приходилось признать — не достиг еще той силы и зрелости, при которых можно смело идти на раскол.

Либкнехту не хватало сведений, фактов, которые стекались бы отовсюду. К нему проникло очень немногое. Чудом попало письмо штутгартца Фрица Рюкка, воодушевившее Либкнехта на короткое время. Рюкк был чудесный парень, из тех, кого испытания войны сделали зрелым и закалили. Он получил на фронте ранение, прошел огонь, воды и медные трубы и, вернувшись в Штутгарт после госпиталя, развернул большую работу. Но одного его письма было мало, чтобы долго поддерживать Либкнехта в его метаниях в тюрьме. Много бы он дал за то, чтобы свидеться, пусть ненадолго, с Розой, Мерингом, Пиком, Иогихесом! Господа эти, канцлер, шейдемановцы, судьи, знали, что делают, когда упрятывали его сюда. Но

они не догадывались, какие силы пробудят, заварив мировую кашу. И вот силы протеста, негодования, жажда отплаты за содеянное — все выходит одно за другим на свет и грозит вдохновителям мировой свалки.

...Вот уже второй час Либкнехт шагал по камере. Коридорный заглядывал несколько раз в глазок, и Либкнехт поневоле умерял шаги. Хоть бы этот дьявол Шульц появился!

Надзиратель знал, когда Либкнехт шагает, выполняя свои обычные упражнения, и когда начинает в тревоге метаться по камере.

Приоткрыв дверь, он сурово сказал:

— Тише вы, арестант... Сколько уж раз говорили вам, что так ходить в тюрьме не положено!

— А я вам много раз говорил, что в этом помещении вправе распоряжаться собою сам!

— В карцер, что ли, захотелось? Ага, не хочется? Так извольте соблюдать правила распорядка! — И запер дверь, не желая выслушивать ответ заключенного.

Либкнехт, собственно, и не собирался вступать с ним в спор. Дух строптивости, владевший им, когда он сталкивался с сильными мира сего, вовсе не владел им здесь, в тюрьме. Глупо было бы тратить силы на борьбу с маленькими служителями режима.

Кроме того, он был в их власти: они могли запретить переписку, лишить его свиданий.

Но мысль о России внесла смятение в душу и перевернула в нем все. Вскоре, забыв о смотрителе, он опять стал ходить по камере, несколько умеряя свои шаги. Странные чувства наполняли его: в душе вдруг зазвучала музыка, и страстная, и напряженная. Он не сразу понял, что́ именно слышит. Это была бетховенская соната, последняя, опус сто одиннадцать. Всю ее страсть и бурю он словно пропускал сквозь свое сердце, вслушиваясь в ее пламенное течение и участвуя в нем всем своим суще-

ством. Не было ни прямой параллели с тем, что он думал, ни прямой связи. Но, слушая звучавшую в нем музыку, он ни на мгновение не порывал с тем бурным чувством, которое вызвала мысль о событиях в России. Казалось, что-то в самом деле прекрасное налетело с востока, перед чем никто не устоит: что-то такое же мощное, как эта музыка.

Наверно, его счастье в том, что, находясь в заточении, оторванный от всего, он несет в себе полный и насыщенный чувством мир...

Но где же этот дьявол Шульц?! И что он скажет, если увидит завтра, что урок не выполнен?

Шульц явился на следующий день, когда Либкнехт, нагнувшись над колодкой, в фартуке, занимался обычным сапожным делом.

Между ними установилось в последнее время подобие доверия. Интеллигент, возившийся с набойками и каблуками, головками и подметками, рассматривавший их сквозь пенсне, работал старательно и добросовестно и сумел завоевать расположение пожилого сапожного мастера, которого судьба упрятала сюда надолго. Какого лешего понадобилось Либкнехту выступать против властей, Шульц не знал, да и не желал знать. Но в одном из закоулков его мозга сложилось убеждение, что Либкнехт страдает не за свою вину.

Либкнехт как-то раз обратился к нему:

— Тут письмецо надо бы мне переправить... Пока они заберут его, пройдет месяц.

Шульц наморщил лицо, выражая крайнее неудовольствие. На его лысине выступили капельки пота.

— К жене, что ли? — выдавил он из себя.

— Ну, к ней, само собой... Разрешают переписку в аптечных дозах: жди целый месяц...

Шульц рассматривал рыжий измятый ботинок, лежавший на цементном полу, потом оттолкнул его ногой с вели-

чайшей небрежностью, но ничего не ответил, как будто просьбы и не было. И только собравшись уходить, пробурчал:

— Давай твою писанину... Но если попадусь, плохо придется и мне, и тебе.

С того дня с его помощью наладилась кое-какая связь. Помимо писем, посылаемых обычным путем, некоторые Либкнехт переправлял через него.

Необходимо было уяснить себе положение в организации. Категорически высказывать свою точку зрения на то, каким должно быть спартаковское движение теперь, он не решался: слишком мало знал о внешней жизни. Ни страстные его размышления, ни наметки тактики и стратегии не давали, казалось, права предлагать что-то свое. Письма на волю, которые Либкнехт пересылал тайком, должны были связать его вновь с подпольным движением и помочь понять наконец, в какую сторону оно устремляется.

VII

Между тем именно теперь надо было решить самый важный вопрос: станет ли в ближайшее время «Спартак» самостоятельной партией, работающей в нелегальных условиях, или же объединится с «Трудовым содружеством» и вместе с ним образует партию, хотя и оппозиционную шейдемановцам, но легальную.

На многих заводах усилилась тяга к отколовшимся. Там не особенно различали, кто спартаковцы, а кто члены «Трудового содружества». Важнее было, что те и другие критикуют тактику большинства. Тактика шейдемановцев становилась все менее популярной.

Шестого апреля в Готе назначена была конференция левых оппозиционных организаций, превратившаяся в учредительный съезд «Независимой социал-демократической партии».

Накануне там же должны были обсудить вопрос о будущем своей группы спартаковцы.

Лео Иогихес разослал во все спартаковские группы запрос: что правильнее — слияние или размежевание?

Соблюдая правила конспирации, он стал негласно появляться то на одном заводе, то на другом. Больше всего его интересовали собрания отклонившихся, тех, кто последовал за группой Гаазе.

Спартаковцы, выступавшие на собраниях, горячо доказывали, что «Содружество» ушло от шейдемановцев недалеко: те же методы, та же легальность, настоящей классовой политики оно не проводит.

Среди членов «Содружества» были тоже умеренные и более радикальные. К последним относились депутаты Дитман и особенно Ледебур. Ледебур всегда выступал горячо, с пафосом, и готов был, казалось, разнести шейдемановцев в пух и прах. На аудиторию он действовал зажигающе.

Послушав жаркие споры в одном месте, в другом, третьем, Иогихес пришел к выводу, что в обилии политических оттенков таится опасность немалая: рядовой рабочий не очень в них разбирается. Если различие между шейдемановцами и их противниками ясно большинству, то споры между членами «Трудового содружества» и спартаковцами смущают и раздражают.

— Чего вы все ссоритесь и поносите друг друга? — говорили изредка рабочие. — Надо, чтобы была одна сильная партия, которая будет проводить нашу политику.

Можно ли доказать им, что «Спартак» и есть эта партия, спрашивал себя Иогихес. Или лучше до поры, до времени связей с «Содружеством» не порывать?

Да тут еще Розе удалось переслать свое мнение на волю. Обдумав все, она пришла к выводу, что покров легальности пригодится «Спартаку». Если будет создана

партия оппозиции, обособляться от нее не следует. Пока что не следует.

Такая позиция Розы укрепила Иогихеса в его собственном мнении. От Либкнехта же не удалось получить ничего. А срок для решений пришел.

Итак, пятого апреля все левые, примыкавшие к «Спартаку» или настроенные еще более радикально, провели свою конференцию.

Как и год с лишним назад, когда сложился «Спартак», гамбуржцы и бременцы держались крайних взглядов. Отделиться, решительно отделиться!

Да, но легальность, возможность вести работу в цехах, среди широких масс? — возражали Мейер, Дункер и другие. Их было явное большинство, и они знали уже, какой позиции держатся Люксембург и Иогихес.

— Это свинцовые гири на наших ногах! — громыхал Иоганн Книф, бременский руководитель.— Противоестественно надевать их по собственной воле! Раздувать революционное пламя в условиях легальности — это же чепуха!

Конференция проходила в спешке, нервы у всех были напряжены. Когда стало казаться, что мнение сторонников полного отделения начинает влиять на колеблющихся, слово взял Иогихес.

Положение «Спартака» он знал, как никто. Все нити движения были у него в руках. Он знал и стойкость групп и их раздробленность; знал, какие потери понес «Спартак» за последние месяцы, как за каждым его шагом следят шпики. В сущности, любой смелый работник, все активисты живут под угрозой ареста. После удачно проведенной акции новые потери в рядах «Спартака» почти неминуемы. Ширма легальности позволит вести работу смелее и вовлечь в нее больше людей. Кто, как не он, железный конспиратор, понимал всю важность единой в своем устремлении группы! Но тактика диктует сейчас

другое. И он, Иогихес, за то, чтобы с «Трудовым содружеством» до поры до времени не порывать.

Гамбуржцы и бременцы слушали хмуро, они были убеждены в правильности своей позиции. Большинство же участников конференции склонялось в пользу легальности.

С нелегким чувством шли на следующий день спартаковцы на встречу с «Содружеством»: многое оставалось неясным, но выводы были предрешены.

Готский съезд был в общем достаточно представителен: прибыли делегаты Берлина, Магдебурга, Тюрингии, Саксонии, рейнских городов — кто легально, кто нелегально. Раскол в шейдемановской партии зашел так далеко, что тут была представлена четвертая часть социал-демократических организаций.

Из ста сорока участников шестьдесят заявили себя сторонниками «Спартака». Прояви они независимость и сплоченность, их вес оказался бы очень большим. Но гаазовцы поступили хитро: в комиссии и во все органы конференции они вводили своих сторонников, опираясь на большинство. Принцип пропорциональности не был соблюден.

Докладчики, тоже из членов «Содружества», применили все способы уговора, чтобы доказать спартаковцам, что раскол невозможен. Партия, которая будет создана, возродит лучшие традиции германского социализма. Старая социал-демократия потерпела моральный крах.

— Не вы ли, товарищ Гаазе, огласили в рейхстаге декларацию четвертого августа? — послышался вдруг вопрос с места.— Выходит, как раз вы и содействовали моральному краху партии.

Поднялся сильный шум: крики протеста и голоса поддержки смешались. Гаазе помолчал, подбирая слова для ответа. Он поглаживал бороду, благообразный и сдержанный.

— Говорить об ошибках прошлого не хотелось бы. Но пускай те, кто меня упрекает, заодно припомнят ошибку товарища Либкнехта. Разве это мешает нам чтить его имя сегодня?!

Шум поднялся невообразимый. Многие повскакали с мест, крича, что не позволят делать имя Либкнехта предметом недобросовестной спекуляции.

— Я же подчеркнул, что все чтут его высоко, особенно в этом зале. Но речь сегодня не о политике четвертого августа, а о весне семнадцатого года, освещенной всполохами русских событий.

Речь Гаазе, да и других докладчиков, подтвердила, что в программе «Содружества» меньше всего революционности. Расплывчатую формулу свобод перемежали угрозами в адрес правительства Бетман-Гольвега, и этим намерены были привлечь на свою сторону большинство.

Штутгартовец Фриц Рюкк выступил от лица спартаковцев, он взял, что называется, быка за рога.

— Раз уж тут о парламенте толковали и об оппозиции в нем, я скажу так: наша группа знает только одного деятеля, по которому должны равняться в парламенте все,— Карла Либкнехта!

Зал ответил бурными аплодисментами. Даже гаазовцам пришлось аплодировать, так велик был авторитет этого имени.

— Говорили также о русской революции. Да, мы готовы взять ее себе за образец, но ведь вы продолжаете толковать о каком-то справедливом мире и соглашении между воюющими. Что это, как не реформизм в чистом виде? Мира жаждут все: империалисты и те нуждаются в нем. Но достичь его можно при одном условии: если пролетарии воюющих стран объединятся против войны и против капитализма. На какие традиции социал-демократии вы ссылаетесь? Для нас, левых, есть маяки, видные всем: это Циммервальд и его решения, это брошюра

товарища Юниуса. Готовы ли вы руководствоваться ими?

Его выступление еще резче разъединило участников: одни тянули влево, в сторону революции, другие же в сторону реформизма.

Фриц Геккерт из Хемница решительно поддержал Рюкка.

— О роли партии, которую хотят тут создать, сказано было немало,— заявил он.— Но истинная революционность требует прежде всего дела, а вы склонны продолжать споры в парламенте. Уж если так, то перед нами пример Карла Либкнехта и большевиков в русской Думе: в обоих случаях трибуна парламента использовалась во имя революции. Ни репрессий, ни гонений не побоялись большевики, клеймя царизм. А вы?! Разве наметили вы путь борьбы с реакцией?!

Атмосфера накалялась. Да тут еще в разгар споров пришла телеграмма от Клары Цеткин. Больная, из тюремной камеры, она пожелала съезду, чтобы решения его получили реальное воплощение. «Ваш съезд проходит в пламенные дни революции в России... Мы учимся у великого исторического учителя всех времен и народов — у революции».

Размежевание, казалось, должно было пойти еще энергичнее. Но за спиной у спартаковцев стояли вчерашние решения: доводы благоразумия, соображения тактики были против раскола.

Единственное, что спартаковцы твердо оговорили,— это свобода действий внутри будущей партии. На этом они стояли непоколебимо, как ни противилось большинство.

Так в апреле семнадцатого года была создана Независимая социал-демократическая партия Германии. В нее вошла и группа «Спартак». Она продолжала энергично вербовать рабочих в свои ряды. Но, как показали события,

легальность оказалась стеснительной для «Спартака» и лишь помешала, а в дальнейшем сыграла печальную, если не роковую, роль в его судьбе.

VIII

А Либкнехт, как он ни стремился к выдержке, жил в своей камере жизнью смятенной и мучительно напряженной.

Русская революция потрясла его глубоко, он не переставал размышлять о ее последствиях для всех стран. Но высказываться о ней в письмах было почти невозможно — рука тюремной цензуры неумолима. Приходилось взвешивать и обдумывать каждое слово.

«По поводу того, что ты сообщаешь о России,— писал он Соне,— (как ты в этом права!), я, к сожалению, не могу ничего написать; но ты знаешь, что́ я мог бы сказать».

Надо было скрыть от близких свое душевное состояние. Поэтому, когда весной семнадцатого года «Берлинер тагеблат» сообщила читателям, будто Карл Либкнехт, не выдержав испытаний каторжного режима, тяжело заболел, он отозвался успокоительным заверением: пускай Соня запомнит — такого сорта заметка есть лучшее предзнаменование, что жить ему назначено долго.

Но боже мой! Как жить сейчас, отсчитывая дни и часы неволи, мечтая о борьбе и не имея возможности в ней участвовать! Даже не зная путем всего, что происходит в мире!

Один только раз Либкнехт не выдержал характера. Он сознался в письме, что находится «в положении чижа в клетке, рыбы в аквариуме, охотничьего сокола на цепочке —словом, существа, которому... хочется на волю, на настоящую охоту, на борьбу».

Насильственно прикованный к столику, склонявшийся по многу часов над грязными сапогами, он, стоило ему

подняться и начать ходить, испытывал необузданную жажду деятельности. Ничто не способно было ее утишить: ни гимнастические упражнения, которые он назначил себе и которые проводил неуклонно по нескольку раз в день; ни призывы к благоразумию; ни настойчивый счет дням, который он вел,— сто пятьдесят первый день неволи, сто девяносто третий, двести одиннадцатый...

Необузданность его натуры, неуемный темперамент сказались, как ни странно, с особенной силой именно в неволе. Какие пожирающие душу воспоминания охватывали его, какие мысли приходили в голову, какие мелодии владели им и какие яркие образы вставали в воображении!

Вдруг до мельчайших подробностей припоминались поездки с Соней: ночная темнота, высокий лес по сторонам несущейся машины и острое ощущение близости, связавшее его с нею. Припоминались разговоры, мысли ее об искусстве, их совместное чтение и тот восторг, который вызывал в его душе человеческий гений, воплощенный в слове.

Он вспомнил, как однажды из Гляца написал ей, что слова, слова вообще, кажутся ему плоскими и вялыми, «как мясо, трижды вываренное в супе». Бог мой, какие слова рождались теперь в душе, полные высокого смысла и нежности!

И все это должно было остаться при нем, не могло лечь на бумагу. Стоило вспомнить, что холодный глаз цензора придирчиво изучает каждую его строчку, как те, пламенные, слова заглушались, уступали место другим, более взвешенным.

Но, к великому счастью для него, оставалась музыка. Случалось, она заполняла его всего. Он всегда любил музыку, но не думал, что она способна до такой степени утолять страдающее сердце. Вдруг аккорд какой-нибудь возникал в памяти. Либкнехт не сразу вспоминал, откуда

он; затем аккорд разворачивался в звучащие фразы. И симфония Гайдна или Бетховена, оратория Генделя или фуга Баха торжественно и полнозвучно проходили в сознании, и он, арестант, лишенный всего, что составляет достояние свободного человека, ощущал свою духовную независимость.

Когда же придет то поистине великое время, когда сокровища музыки станут всеобщим благом?!

Мир, в котором жил Либкнехт короткие полчаса, не отрывал его от широких мыслей и страстного стремления окунуться вновь в стихию борьбы.

Но об этом он писал Соне скупо. Проще было отчитываться перед нею в прочитанном. Способность его к поглощению книг была необъятна. Гердер, Лессинг, Клопшток, Шиллер, Гете, Виргилий, Гораций, Софокл, Платон, Гегель, Клейст, Смайлс прочитаны были за короткое время. Тюремная администрация не препятствовала ему в этом, тут Либкнехт был не опасен.

«Я считаю для себя очень ценным... более близкое знакомство с Виллибальдом и Фонтаном, этими истинно прусскими, даже бранденбургскими поэтами 19-го века... Оба не бранденбуржцы, не пруссаки и не немцы, а французы, потомки эмигрировавших из южной Франции семейств. Это горькая пилюля для идиотов-националистов и для расовых фанатиков, которых Фонтан превосходно изображает в романе «Перед бурей»: не только в жилах княжеских родов, говорит он, течет кровь всех европейских и нескольких азиатских народов, но и население Бранденбурга, этого «сердца Пруссии», равно как и Восточной Эльбы и Саксонии, почти чисто славянское (вендское), и притом снизу доверху, вплоть до высшей аристократии».

Так еще в 1917 году из крепости Люкау донесся предостерегающий голос против расового помешательства, охватившего позже Германию.

Потомственный интеллигент Карл Либкнехт гордился своим прошлым. Он ненавидел пруссачество с его расовым чванством, но высоко ценил демократические традиции своей семьи. Сыну Бобу, собиравшемуся побывать во Франкфурте, он написал: «...из достопримечательностей, кроме дома Гете, не забудь посмотреть там еще собор св. Павла, где заседал в 1848 году *первый немецкий парламент*. Отец вашей бабушки (придворный адвокат Карл Ре, портрет которого находится у дяди Теделя в конторе) был там *депутатом* и даже *президентом*. Пусть покажут тебе его кресло».

Так, соблюдая границы внешней уравновешенности, Либкнехт писал родным об историках и философах, о романтизме, который может возродиться после войны, следил за умственным ростом детей, за здоровьем и настроением Сони и уверял ее, что будущее принадлежит тем, кто твердо верит в него. Мятежные его чувства прорывались редко.

И только в июньском письме, на двести девятнадцатый день своего заключения, он позволил им вновь прорваться:

«О, если бы можно было очутиться на воле и работать! Но, черт побери, успокойся, неугомонное сердце!»

IX

Даже шейдемановцы предостерегали канцлера от объявления подводной войны. Но нажим ставки, необузданные требования Вильгельма сделали Бетман-Гольвега игрушкой в руках придворных сил. Он принужден был уступить, и подводная война началась.

Победу у стран Антанты решено было вырвать любой ценой. В ответ союзники атаковали немцев со все большим упорством — у Арраса и Мааса, во Фландрии и у Камбре. Сопротивлялись немцы ожесточенно, но повер-

нуть события в свою пользу уже не могли. Ни закон о «вспомогательной службе», ни удлиненный до предела рабочий день не спасали положения — страна испытывала нужду во всем. Сравнительно с довоенным годом ее производство упало на сорок процентов. Голодные демонстрации, беспорядки и стачки все больше угрожали механизму войны.

Когда к лидерам Форштанда являлась профсоюзная делегация с жалобами на положение, ей отвечали, что трудно всей стране.

— Да, но внушать это людям становится все сложнее, а скоро будет невозможно.

— Должны же они понять, что речь идет о спасении родины! Теперь, когда и Америка против нас, речь идет буквально о будущем немцев, о судьбе нескольких поколений...

— Силы рабочих исчерпаны...

— Нет, только надо поднять их дух.

Так Шейдеман и его коллеги выполняли свой долг перед рабочими, удерживая их в границах спокойствия, и перед правительством, сделав его интересы своими. Они играли роль приводных ремней, соединявших аппарат власти с людьми труда.

Но Шейдеман не был так простодушен: режим неминуемо приближался к краху, он понимал. Пора было думать, кто заменит теперешних заправил и что надо сделать, чтобы не выпасть самим из тележки.

В марте он опубликовал в «Форвертс» статью «Время действовать». Он потребовал реформ, в первую очередь замены трехступенчатых выборов в Пруссии прямым и всеобщим избирательным правом.

Статья вызвала переполох. Будто камень угодил в болото: отовсюду понеслись нападки, угрозы, а со стороны единомышленников — одобрения. Шейдеман оказался на время в центре событий и остался этим очень доволен.

Русские рабочие в газетах и листовках требовали мира без аннексий и контрибуций. Это влияло на всех немцев — от солдат до рабочих. Пришлось и шейдемановцам выдвинуть то же требование. Оно будто бы вытекало из всего, о чем они говорили прежде. В их мыслительном королевстве все концы с концами сходились.

Апрель семнадцатого года принес невиданную вспышку стачек. Рабочие требовали отменить голодные нормы снабжения. Руководители профсоюзов истолковали их требования как чисто экономические. Но генерал Гренер, недавно назначенный шефом военного управления, получил приказ ставки подавить недовольство любой ценой.

В связи со стачками он заявил в рейхстаге, что Германия никогда еще не стояла на таком опасном пути. А в своем обращении к бастующим назвал их мерзавцами и пригрозил зачинщикам каторгой.

В ряде случаев забастовки перерастали в политические. В Лейпциге по русскому образцу был создан рабочий Совет. Рабочие потребовали не только улучшить снабжение, но и отменить осадное положение и легализовать стачки. Делегацию, которую они направили в Берлин, канцлер принять отказался.

Тогда Шейдеман заявил Бетману, что такая политика ничего хорошего не сулит и лишь ускорит катастрофу.

— Но в какое положение мы поставим себя,— возразил канцлер,— если начнем выслушивать разные ультиматумы?

Шейдеман заявил не без злорадства, что русский пример заразил немцев, страна и без того накануне революции.

— Разве Германия может пойти неразумным путем некультурной нации?! — патетически произнес канцлер.

Так социалисты, шедшие до сих пор в ногу с правительством, призвали его внять голосу благоразумия.

Выход из тупика они видели в сговорчивости имперского кабинета. Впрочем, Эберт назвал апрельские стачки бессмысленными и заклеймил тех зачинщиков, которые пытались использовать их в политических целях.

Путем жестоких репрессий удалось движение погасить. Но ни одного из вопросов, раздиравших страну, разрешить не сумели.

X

Движение, охватившее в апреле рабочих, выдвинуло на первый план совершенно новую силу. Профсоюзные функционеры выполняли волю высшего профсоюзного органа, Генеральной комиссии. Они не могли, да и не пытались повести за собой недовольных; наоборот, всеми возможными средствами старались погасить недовольство. Авторитет их с каждым днем падал.

Кто же оттеснил их в эти дни и возглавил движение? Кто лучше всех понимал нужды рабочего, знал тяжесть его лишений и меру его недовольства? Да сами же рабочие, наиболее сознательная их часть. Металлисты — станочники, токари, монтеры, электрики, шлифовальщики составляли ее опору. Они с первых дней поняли: уж если бастовать, так надо объединить всех недовольных, сплотить и повести за собой.

В цеху, возле станка, в шуме трансмиссий, во время коротких бесед стали выявлять себя эти низовые вожаки. Сам ход дела заставил их взвалить на свои плечи ответственность за события. Их называли старостами, потому что так привыкли называть всякого, кто руководил небольшой группой людей. А позже, когда движение выплеснулось на улицы, когда к требованиям экономическим стали все настойчивее добавлять пункты программы чисто политической, их стали называть революционными старостами.

Конечно, не все помышляли о революции, но многие понимали уже, что одними реформами и уступками, даже если бы удалось вырвать их у правительства, дело обойтись не может.

Вначале старост было немного, но одно предприятие за другим стало выделять их в каждом цеху и в каждом пролете. Так день за днем формировалась армия низовых организаторов.

Большинство старост тяготело к партии независимых. Уже одно то, что независимые порвали с правыми, делало их авторитетными в глазах низовых вожаков.

Но и спартаковцы, так самоотверженно работавшие в гуще рабочих, пользовались их доверием. Спартаковцы утверждали, что режим кайзера прогнил насквозь и должен быть заменен иным, народным. Без революции этого не добиться.

Независимые же обещали перемены без вооруженной борьбы, и это было больше по сердцу немецким рабочим.

Среди революционных старост, выдвинувшихся в апрельские дни, спартаковцы хотя и занимали известное место, но составляли меньшинство. И не понимали они еще, какую огромную роль назначено сыграть старостам в близком будущем и как важно завоевывать день за днем большинство в их Совете. В то время верхушка «Спартака» была разгромлена, и даже Роза Люксембург полагала тогда, что ход событий определяет не закаленная в боях партия, а некая воля большинства населения — в тех условиях влияние «Спартака» на старост было ограничено.

Зато генерал Гренер понял, с кем ему надо иметь дело. Он относился к так называемым сильным личностям и воплощал тот мир, который проигрывал военную схватку, но не желал идти на уступки.

Со сцены истории могли сойти фигуры первого плана — Вильгельм, Людендорф, даже на некоторое время

Гинденбург, но в механизме войны возникали другие контрреволюционные фигуры. Таким оказался генерал Гренер, оценивший в те дни, какой грозный противник выдвигается на передний план.

Уже в апреле подбирались дивизии, которые можно было бы двинуть на Берлин, разрабатывались схемы уличных боев.

Когда после апрельских стачек спартаковцы призвали рабочих достойно отметить Первое мая — ведь май был особенный: ему салютовали флаги русской революции,— Гренер пригласил к себе руководителя независимых.

— Господин Гаазе, я надеюсь, ваша партия сделает все, чтобы недавние события не повторились.

И Гаазе заверил его, что движения протеста в той форме, как это было в апреле, его партия не одобряет.

Оказалось, столковаться обоим нетрудно. Гаазе обещал приложить все усилия к тому, чтобы Первое мая прошло спокойно.

Уходя, он попросил лишь сохранить разговор в тайне. Гренер и он расстались, довольные друг другом.

Профсоюзы и Форштанд обратились с воззванием к рабочим: страна в кризисе, войска Антанты делают все, чтобы прорвать немецкую оборону. Уместны ли в эти дни демонстрации? Допустимо ли наносить удар в спину армии, срывая снабжение войск оружием и материалами?

Независимые, сославшись на те же причины, поддержали обращение.

И все же спартаковцам удалось провести во многих местах собрания и демонстрации.

Штутгартовец Фриц Рюкк, так горячо выступавший в Готе, дня за два до Первого мая собрал в лесу за городом около ста человек. Ему было что рассказать: и про конференции в Готе, и о спорах, какие там велись, и о позиции спартаковцев. Собралась главным образом молодежь — вернувшиеся с фронта, негодные больше к воен-

ной службе, как и сам Рюкк. Но пришли и пожилые, среди них Крейнц.

Большинство было сильно разочаровано тем, что «Спартак» не создал собственной партии: опять компромиссы, поиски соглашений, препирательство с умеренными и осторожными. Молодежь жаждала идти в открытую против ренегатов, свалить реформистов...

Эта весна наполнила их сердца надеждами. Вести, шедшие из России, они ловили где только было можно. В России развертывалось нечто огромное, партия большевиков призвала к свержению буржуазной власти, народ бурлил. Казалось, по тому же пути должна пойти и Германия. А тут — компромисс, оглядка на независимых...

— Мы знаем уже, что это за публика,— заявил Ханке, гордившийся тем, что общался на фронте с Либкнехтом.— Разве Карл пошел бы на такое?!

Вмешался Крейнц, до сих пор не сказавший ни слова.

— А в самом деле, какую позицию занял Карл? — обратился он к Рюкке.— Можешь ты нам сказать определенно?

— В том-то и беда, что его мнение до нас не дошло.

— Плохо, очень плохо... Это мнение должно было стать решающим.

— Но мы его не имели!

У него самого скребло на сердце: он, Рюкк, был против блока с независимыми, ничего хорошего для «Спартака» он от этого не ждал. Но дисциплина есть дисциплина, еще хорошо, что свободу самостоятельных действий «Спартак» оговорил для себя. Надо было Первого мая показать всем, что дух борьбы в Штутгарте не угас, что «Спартак» полон сил и готов кинуться в схватку по первому слову.

— У нас с вами все еще впереди, товарищи,— заявил он.— Мы этим независимым устроили порядочную баню

в Готе. А кроме того, никто не посмеет наложить на нас свою лапу. Будущее покажет, по пути нам с ними или нет.

— Разве не видишь, что делается в Штутгарте? Какую политику они проводят? — с укором заметил Крейнц.— На баррикадах они сражаться не будут.

— Пока что речь о Первом мая,— остановил его Рюкк.— Мы пройдем сплоченной колонной и будем петь «Интернационал»! На наших улицах прозвучит имя Карла Либкнехта!

Упоминание о Либкнехте воодушевило собравшихся. Крейнц поднялся, он сидел на широком пне; тяжелый и непреклонный, он обратился к Рюкку и одновременно ко всем молодым:

— Десять лет назад у нас, в нашем городе, Карл собрал конгресс, международный конгресс молодежи. Мы должны показать всем, что в Штутгарте помнят Либкнехта и чтут его высоко.

— Ты прав, ты прав,— согласился с ним Рюкк.— И имя Либкнехта объединит всех, кто готов к схваткам.

— Пускай нас заберут в тюрьму,— продолжал Крейнц ожесточенно,— но имя Карла прозвучит, как гонг, как напоминание о каре, которая ждет сегодняшних господ!

Молодежь, плотным кольцом обступившая его и Рюкка, согласилась с ними.

Оно звучало всюду в стране — на улицах, площадях, в лесу,— где спартаковцам удалось провести демонстрацию. Шагая колоннами, рабочие скандировали: «Братский привет пролетариям России! Свободу Карлу Либкнехту и Розе Люксембург!» — и пели «Интернационал».

Стоило появиться полиции, как начинались стычки. Демонстранты принимались громить полицейские участки, а полицейские, выхватив из толпы самых активных, волокли их к машинам.

В донесениях полиции отмечалось позже, что первомайские демонстрации удалось пресечь в стране с величайшим трудом.

XI

В середине лета Бетман-Гольвег ушел в отставку. Все его усилия примирить консервативные партии с шейдемановцами, ставку с правительством ни к чему не привели. Ни разъяснений, ни заявлений о перемене курса в связи с уходом не было. Он канул в ничто, ничего не разрешив и никого, кроме разве ставки, своим уходом не успокоив.

На его место был назначен Вильгельмом невыразительный и бесцветный Михаэлис. Бетман-Гольвег управлял страной восемь лет, канцлер Михаэлис находился у власти всего три месяца с небольшим. Германия запутывалась все больше в неразрешимых внутренних трудностях, выхода из которых не предвиделось.

Осенью в России произошло событие всемирной важности: была провозглашена Советская власть. Желая положить конец бессмысленному кровопролитию, новая власть обратилась ко всем народам с Декретом о мире. Возможность примирения, хотя бы на востоке, показалась обескровленной и голодной Германии спасительной, немцы воспрянули духом.

Но в ставке призыв русских истолковали по-другому. То, чего не удалось достигнуть ценой миллионов жертв, шло, казалось, в руки само. По мнению Гинденбурга и Людендорфа, армия революционной страны серьезной угрозы больше не представляла и с новой Россией можно было разговаривать языком диктата.

...Карл Либкнехт, уже через несколько дней после того, как в Петрограде была провозглашена Советская власть, написал:

«Великий революционный процесс... не только не завершается, но находится в своем начале, имея перед собой безграничные перспективы... То, что я узнаю об этих событиях, до того отрывочно и поверхностно, что я должен довольствоваться догадками. Ни в чем не ощущаю я так сильно моей нынешней духовной изоляции, как в вопросе о России».

Когда появлялся в камере Шульц, Либкнехт старался выудить у него все, что тот знает. Сколько Шульц ни говорил, что политикой не интересуется, он кое в чем поддался воздействию Либкнехта.

Это он вскоре после петроградских событий положил на сапожный стол обрывок буржуазной газеты, где сообщалось о новом перевороте в России.

— Смотри, почитай... Наверно, тебя касается тоже.

Либкнехт жадно проглотил все.

— Касается всех,— отозвался он,— всего мира.

— Чтобы Германия пошла по такому пути... Что-то не верится.

— Путь один у всех,— произнес Либкнехт с внешним спокойствием.— Путь борьбы неимущих, бедных против богатых.

— Бедный останется бедняком всегда, и никакие ваши фокусы тут не помогут... Разве что ловкий — тот выберется.

И все же ветер бурных событий проник даже сквозь стены тюрьмы. Администрация стала строже, но в чем-то и внимательнее. Либкнехту разрешили, например, одно-два дополнительных свидания — с Соней, с Гельми. Мотивы были тут морально-воспитательные: сын в том возрасте, когда нравственное воздействие отца особенно важно. Но передачи стали осматривать еще более придирчиво. Теперь уже Либкнехт почти не обнаруживал вложений в посылках.

Однако некоторые вести дошли до него, и он сумел

оценить их важность. Прежде всего, «революционные старосты». Услышал он о них впервые от того же Шульца.

— Что это такое, можешь ты мне объяснить? — спросил тот однажды.

— Для начала мне надо побольше узнать о них самому.

В следующий раз Шульц принес ему кое-какой материал, главным образом из буржуазных газет, где старост ругали на все лады.

— Теперь могу тебе объяснить,— сказал Либкнехт.— Организаторы будущей революции, вот они кто!

Шульц осклабился и, сняв шапочку, почесал голову:

— Революция, гм... Что-то в Германии про нее не было слышно... А знаешь, кого называют будущим ее вождем? Фантазеры, которые в нее верят.

— Кого?

— Некоего Карла Либкнехта. А? Не слышал?

— Не слышал, нет.

— Он, между прочим, работает под моим началом.

— В таком случае, Шульц, тебе с ним повезло.— Их отношения стали проще, он тоже говорил ему теперь «ты».— Слушай, Шульц, все, что касается этих старост, доставляй мне, а?

— Ишь ты какой! Один раз тебя побалуешь, а потом лишишься всего сам! — Он надел шапочку и, ничего больше не сказав, только укоризненно покачав головой, вышел из камеры.

Либкнехта этот разговор сильно взволновал. Чутье сказало ему, что в событиях, которые развернутся, роль старост будет весьма велика. «Спартак» должен завоевать в их среде достойное место. Но как было передать это товарищам?! Как было в записочке, изобилующей иносказаниями, подчеркнуть то, что кажется ему особенно важным?

Он стал мысленно составлять эзоповскую записку, конспект насущнейших выводов. Фразы следовало сжать до предела, так, чтобы короче было нельзя. И еще предстояло упросить Шульца, чтобы он переслал письмо.

XII

Когда Россия выдвинула программу мира без аннексий и контрибуций, Германия поначалу ее приняла. Но стоило начать переговоры, как немецкие делегаты сбросили с себя маску миролюбия. Пусть даже статс-секретарь иностранных дел Кюльман, уполномоченный правительства, держался более умеренно; но генерал Гофман, представитель ставки, начал выдвигать требования одно тяжелее другого.

Два раза переговоры прерывались. Когда делегации съехались во второй раз, немцы, отстаивая будто бы независимость малых стран, потребовали от России отделения Белоруссии, Литвы, Латвии и Польши. В то же время генерал Гофман потихоньку готовился заключить мир на особых началах с представителями Украинской рады.

Глава советской делегации на переговорах Троцкий, нарушив твердые инструкции Ленина, заявил, что Россия односторонне прекращает войну и демобилизует армию. Он покинул Брест-Литовск, предательски сорвав тем самым переговоры и дав Германии желанный предлог: она могла прекратить перемирие и развернуть наступление. Казалось, надежды немцев на скорый мир рухнули.

Германия бурлила. Берлин жил слухами и ждал событий. Стало известно, что в Австро-Венгрии забастовки охватили все крупные города: созданы Советы, а правительство так перепугано, что официально признало их существование.

Спартаковцы распространяли всюду листовки. Пози-

ция их была недвусмысленно ясной: «Да здравствует всеобщая забастовка! Все на борьбу!» Только массовой борьбой, восстанием, стачками, которые парализуют хозяйственную жизнь страны, только путем революции и провозглашением народной республики в Германии можно положить предел бойне народов и добиться всеобщего мира. Лишь этим можно спасти не только Германию, но и русскую революцию.

Сладкий туман захватничества еще не окончательно рассеялся в головах немцев, и спартаковцы не уставали разъяснять, что Германии меньше всего нужны аннексии: не война, а борьба со злейшим классовым врагом внутри страны — вот что самое насущное.

В трамвае с затянутыми льдом стеклами, в почтовом ящике, под шпинделем станка, в уборной или курилке, на красной кирпичной стене или на столбах — всюду немцы могли обнаружить листовку.

Страна жила в крайнем напряжении, ожидая взрыва. А Либкнехт, не зная в точности, но всем своим существом сознавая, что творится за пределами Люкау, писал в декабре:

«О, если бы находиться теперь на воле! Я готов биться головой о стены!»

XIII

На заседании главного комитета рейхстага депутат Науман задал вопрос статс-секретарю внутренних дел Вальраффу:

— Известно ли вам, что в стране готовится стачка? Понимает ли правительство, к каким последствиям это приведет?

— Да, правительство в курсе событий,— ответил Вальрафф.— Крайние элементы провоцируют выступления, но рабочие в своем большинстве доказали верность

отечеству. Правительство полагается на их разум, и зрелость. В этот трудный момент ни у кого не подымется рука на отечество.

С места встал Шейдеман:

— Увы, оптимизм господина Вальраффа я никак не могу разделить.— В его обычно мягком голосе появились настораживающе жесткие ноты.— Мы, социал-демократы, предостерегали не раз, что народ на грани истощения и нищеты. Мы предлагали меры, чтобы успокоить трудящихся, но даже вопрос о реформе избирательной системы лежит до сих пор под сукном!

— И такими мотивами вы готовы оправдать насилия необузданных масс?! — выкрикнул с места представитель правых.

— Мы с вами политики,— возразил Шейдеман злоеще спокойно,— и за эмоции масс можем отвечать лишь до определенной минуты. Нельзя накалять эмоции, а потом требовать от народа спокойствия.

Его сменил Эберт. Пошевелив головой, будто освобождаясь от стеснительной опеки воротничка, он заговорил:

— К словам моего уважаемого коллеги я добавил бы следующее: нам хорошо известны взгляды австро-венгерских властей; уж если там согласились признать Советы, значит, дело дошло до крайности. В историческом процессе, господа, причины и следствия связаны между собой...

— Исторический процесс! Связанность!.. Пустые слова! — с раздражением выкрикнул депутат правых.— Надо выражаться точно: вы, господа, хотите сорвать мирные переговоры?! Всадить нож в спину Германии?! Страна накануне победы, которая далась ей неслыханно дорогой ценой, и в это время социал-демократы хотят обесценить все жертвы?! Лишить ее законных трофеев?!

— За аппетиты военной клики наша партия не отвечает,— возразил Шейдеман.— Не предъяви генерал Гоф-

ман своих невозможных условий, мир был бы подписан.

— Не клики, а всей страны, ее подавляющей части!

Итак, в этом собрании социал-демократы играли роль левых: пришло время подумать о будущем и оторваться от правителей, готовых потопить корабль Германии.

Остановить волнение, охватившее тысячи берлинских рабочих, было уже невозможно. Революционные старосты не шли, правда, так далеко, как спартаковцы: всеобщая стачка — вот был их предел.

Независимые, под влиянием которых старосты находились, то соглашались на забастовку, то утверждали, что момент для нее еще не настал. В этом состояла их тактика, которую они не без иронии называли «революционной гимнастикой».

Но старосты твердо решили бастовать, и не в силах независимых, а тем более шейдемановцев было задержать движение. Ведь в одном только Берлине старост было к тому времени пять тысяч.

События назревали неудержимо, и предотвратить взрыв не в состоянии был никто.

Трудовой Берлин вынес уже свое решение.

XIV

Улицы плыли в густом тумане. Стояла январская сырая стужа. Очертания фасадов, стен, вышек казались смутными, едва различимыми.

С утра в рабочих районах столицы еще слышны были шум станков, мерное дребезжание стекол. Заводы, терявшиеся в молочной мгле, жили обычной напряженной жизнью. Но к девяти часам шум стал замирать — в одном месте, в другом, третьем. Непривычная, немного зловещая тишина сползла на улицы.

Раскрылись калитки, проходы, заводские ворота, и стали выходить рабочие — сначала небольшими группа-

ми, останавливаясь и оглядываясь по сторонам, но мало что различая в утренней мгле. Затем их стало больше. Их стало очень много: в ворота повалили толпы. Шли плотными группами, спокойно и деловито. Накануне старосты предупреждали: самочинных демонстраций не устраивать, ждать указаний. Если указаний рано утром не будет, разойтись по домам и держать связь с предприятием.

Все было подготовлено в глубокой тайне. Даже Генеральная комиссия, оплот профсоюзных соглашателей, за два дня до событий не знала, что́ организуется за ее спиной. Накануне, двадцать седьмого января, в воскресенье,— шел тысяча девятьсот восемнадцатый год — было назначено в Доме профсоюзов собрание берлинских токарей. Пришли на самом деле не одни только токари, а делегаты со всех предприятий. Собралось полторы тысячи человек.

Уполномоченный старост, металлист Рихард Мюллер, сообщил, что сейчас поставит на голосование один лишь вопрос — о всеобщей стачке, которая назначена на завтра и должна послужить грозным предостережением властям и военной клике.

Ни обсуждения, ни споров не было. Тысяча пятьсот рук поднялись при общем торжественном и напряженном молчании и подтвердили единодушие присутствующих. С таким же единодушием был утвержден стачечный комитет, названный Исполнительным комитетом. В него вошло одиннадцать человек во главе с Мюллером. К ним присоединили трех представителей от независимых. С большим трудом, после долгих споров согласились ввести также троих от социал-демократов большинства. Но тон в комитете задавали старосты.

Немедленный мир без аннексий и контрибуций; участие в мирных переговорах представителей всех стран; восстановление свободы слова, собраний, печати, союзов;

освобождение политических заключенных; всеобщее прямое и равное избирательное право в Пруссии — такие требования предъявили бастующие властям.

В понедельник с утра комитет заседал в Доме профсоюзов. Дом был весь заполнен народом, по коридорам сновали люди, снаружи собралась толпа. Ждали указаний, решений. А в комнате заседания шли горячие споры. Фридрих Эберт призывал старост к благоразумию и умеренности. Ледебур и Дитман, представлявшие левое крыло независимых, готовы были к самым энергичным действиям. Гаазе осторожно лавировал между умеренными и крайними. Но, видя, какого накала достигли страсти, склонялся к тому, что борьба с правительством должна вестись непримиримая. Шейдеман лавировал тоже, стараясь склонить старост к переговорам с имперским кабинетом. Старосты же, сознавая себя хозяевами положения, требовали от всех твердости и единодушия.

И тут в коридоре послышались панические возгласы:

— Полиция! Спасайтесь, идет полиция!

Шейдеман побледнел и как-то беспомощно опустил руки; посмотрел по сторонам, ожидая поддержки, и встретился взглядом с Эбертом. Тот неприязненно отвернулся.

Тощий и непредставительный Рихард Мюллер сохранил самообладание. В этих условиях он повел себя гораздо более достойно, чем почтенные социал-демократы, присяжные политики.

— Подождите, товарищи, сейчас выясню, в чем дело,— сказал он.

Когда Мюллер вернулся, Шейдеман стоял в пальто и шляпе, готовый скрыться без промедления. Неуклюжий и толстый Эберт никак не мог попасть в рукава пальто. С брюзгливым лицом он совал то одну руку, то другую, но пальто, как на грех, не надевалось.

Продолжая свои усилия, стоя спиной к Мюллеру, он спросил:

— Ну, что там такое?!
— Ложная тревога...
Мюллер успел засечь эту не очень изящную сценку и, усмехнувшись, занял свое место.
Заседание возобновилось.
Забастовка, которая началась в понедельник утром, ширилась неудержимо. К Берлину примкнули многие города. К концу первого дня число бастующих достигло трехсот тысяч, спустя два дня в одном Берлине бастовало свыше полумиллиона, а по всей стране не меньше миллиона рабочих.
Это было торжеством самоотверженной работы спартаковцев, и хотя не они непосредственно возглавляли движение, а старосты, но размах, масштабы, объем, непримиримость требований — все отвечало тому, чего настойчиво добивался «Спартак».
Шейдемановцы и независимые стали с первых дней забастовки склонять Исполнительный комитет к переговорам с правительством. Спартаковцы же в своих листовках доказывали, что вести переговоры бессмысленно и бесполезно. Власти, которые с первого дня пытались подавить забастовку насилием, уступят лишь под действием насилия же. Хозяином Берлина должен стать Совет рабочих депутатов.
Они были последовательны и настойчивы. Их настойчивость способна была усилить накал недовольства, сплотить отдельные группы рабочих, но разлагающая работа шейдемановцев делала свое дело.
Много позже Филипп Шейдеман признал: «Нам важно было удержать движение в организованных рамках и как можно скорее прекратить его». Для того и вошел он в стачечный комитет, чтобы взорвать его изнутри.
Правительство издало приказ, запрещавший любые собрания. Шейдеман обратился к министру внутренних

дел Вальраффу, пытаясь доказать ему, что движение надо ввести в легальное русло как можно скорее.

— Что для этого нужно сделать, господин Шейдеман? Изложите свой план.

— Первое — вновь разрешить собрания. Надо дать возможность рабочим открыто высказывать свои пожелания, иначе забастовка приобретет, хотите вы или нет, характер мятежа.

— Но не можем же мы собственной властью снять осадное положение!

— Примите делегацию бастующих, постарайтесь найти компромисс, который удовлетворил бы их.

Вальрафф помедлил.

— В рейхстаге сильная, признанная всеми фракция рабочих. С вашей фракцией я готов разговаривать, но принять бастующих?.. Согласитесь, это было бы легализацией забастовки.

Шейдеман, в свою очередь, ответил не сразу. Разве мог объяснить он статс-секретарю, что социал-демократы теряют влияние в массах?! Рабочие должны снова поверить, что шейдемановцы защищают их интересы.

— Итак, господин Вальрафф, путь к соглашению вы отрезаете сами?! — произнес Шейдеман не без пафоса.

— Повторяю, с вами — любые переговоры. Но вступать в контакт с вожаками бастующих я попросту не имею права!

А стачка все разрасталась. Дом профсоюзов был занят полицией, собрания были запрещены, а демонстрации происходили повсюду. Их разгоняли, но рабочие собирались опять. Опрокидывали трамвайные вагоны, разбирали пути, возводили баррикады. Рабочие требовали немедленного мира с Россией, освобождения заключенных, и, конечно, в первую очередь Карла Либкнехта.

Генерал Кессель, представитель ставки, приказал применять оружие против бастующих, угрожал призвать в

армию тех, кто не приступит к работе. В Берлин стягивали войска — маршевые роты, направлявшиеся прежде на фронт. Пять тысяч унтер-офицеров были уже введены в столицу. Возле крупных заводов выставили военную охрану. Но сбить волну рабочего возмущения не удавалось. Полиция пускала в ход шашки, избивала рабочих прикладами, но сорвать митинги, стихийно возникавшие то здесь, то там, была не в силах.

Тех, кто пытался доказывать, что забастовка наносит фронту тяжелый урон, прогоняли с трибуны.

Когда Эберт в Трептовпарке, где собралась огромная демонстрация, попробовал было заговорить об этом, ему из толпы закричали:

— Довольно! Хватит! Вам только позволь, так вы задушите стачку в два счета!

Он неуклюже поворачивал голову: перед ним были яростные лица людей, выкрикивавших угрозы,— так велико было негодование против него и всех вообще соглашателей.

— Дайте же мне сказать, что я думаю! — Эберт шагнул вперед и начал отчеканивать: — Требования ваши справедливы, кто же спорит! Но подумайте о ваших женах, о ваших маленьких детях. Что толку в том, что прольется невинная кровь,— разве мы можем спокойно смотреть, зная, что́ ожидает вас?! Поверьте, мы и так делаем все, чтобы ваши требования были удовлетворены!

Закончить речь ему кое-как удалось, но страсти нисколько не улеглись. Вслед за ним представитель независимых Дитман начал сразу же с пылких фраз, и рабочие ответили гулом возбужденных голосов:

— Верно говорит! Правильно! Всех надо гнать в шею! Всех соглашателей!

Поддавшись их настроению, он заговорил еще запальчивее. Тогда к трибуне стал пробиваться сильный отряд полицейских.

— Не трогайте его! — яростно завопили рабочие.— В следующий раз мы вооружимся тоже! Проваливайте воп!

Но, тесня друг друга, полицейские приближались к трибуне. Дитмана схватили и поволокли книзу; он успел выкрикнуть:

— Долой насильников! Да здравствует демократический мир!

Многие были в тот день арестованы и многие ранены. В стачечном комитете перепугались. Шейдемановцы стали еще энергичнее убеждать старост, что надо искать примирения.

— Но для этого нас должен принять канцлер!

— Сегодня я имел разговор с новым канцлером, графом Гертлингом,— заявил Шейдеман.— Встретиться со стачечным комитетом он пока не согласен.

— Так надо его заставить!

— Хорошо, забастовка продлится, допустим, долго. Чего мы добьемся? Старост угонят на фронт, семьи их будут голодать еще больше. Можем ли мы мириться с тем, что лучшие из лучших попадут под пули или сядут на скамью подсудимых?!

— Так вы же сами рабы режима! Вы готовы подставить наши головы под пули!

— Товарищ, бросивший мне обвинение, поступил опрометчиво. Мы не сторонники кровавых расправ — да, это верно. Но в любом положении можно найти разумный выход. Разве не удалось нам добиться улучшения хлебного рациона? Разве в вопросе о зарплате мы не отстаивали ваших требований?

— Пустое вы говорите,— возразил ему Мюллер.— Речь совсем о другом: сегодня рабочие сражаются за изменение всей политики в целом!

— Но ведь мы вас ведем именно к этому! — подхватил Шейдеман.— Самим ходом событий социал-демокра-

тия приближается к руководству страной. Терпение и выдержка — наши союзники, а не враги. Именно к выдержке мы вас и призываем!

Эберт еще не оправился от оскорбительного, неприятного чувства, пережитого им на митинге в Трептовпарке. Слушая Шейдемана, он думал: чего тут миндальничать! Покруче с ними! Вышли на улицу и опьянены ложным сознанием могущества! Не знают еще, что значит хороший ружейный залп!

Он угрюмо посматривал на старост, решив не выступать: чего доброго, погорячится, а горячиться ему нельзя. Пускай ловкий Шейдеман доводит до конца дело сам.

В следующие дни положение не изменилось. Рабочие в стихийном порыве двинулись штурмовать полицай-президиум на Александерплац. Но здание было оцеплено воинскими частями.

События в стране грозили сорвать переговоры с Россией. Ставка требовала подавить забастовку, не останавливаясь ни перед чем.

Правая печать тоже требовала беспощадности. Наконец сама Генеральная комиссия, высший профсоюзный центр, заявила, что стоит в стороне от стачки, поскольку она утратила характер экономический и получила остро политическую окраску.

Главная беда бастующих заключалась в том, что стачечный комитет не собирался вести рабочих против правительственных войск. Судьба январской стачки была, таким образом, предрешена. На стороне правительства были весь аппарат власти и поддержка армии; шейдемановцы тоже делали все, чтобы облегчить подавление забастовки.

Спустя шесть лет Эберт признал: «Я вступил в руководство забастовкой с определенной целью — привести ее к скорейшему концу». Да и Шейдеман подтвердил, что

основной целью социал-демократов было «как можно скорее покончить с забастовкой».

Что же до революционных старост, то большая их часть в наказание за мятежный дух была с заводов уволена и тут же призвана в армию.

XV

Двор бреславльской тюрьмы отличался от двора во Вронке тем, что ни зелени перед глазами, ни травы под ногами тут не было. Выходя на прогулку, Роза Люксембург видела лишь серые камни двора. Она предпочитала рассматривать их, а не арестантов, на лицах которых долгая неволя оставила свой нестираемый след. В облике и повадке каждого сказывалось действие медленной нравственной деградации.

Стоя возле тюремных дверей, Роза старалась не смотреть туда, где работали арестанты. Но одно женское лицо привлекло ее взгляд, и она невольно засмотрелась.

У молодой арестантки было упругое, стройное тело, строгий профиль, и движения привлекали своей соразмерностью.

Роза вспомнила, как в тюрьме на Барнимштрассе однажды жестоко ошиблась. Ее и там привлекла женщина с фигурой, словно выточенной, и с удивительно благородной осанкой; она работала истопницей. А та на поверку, при более близком знакомстве, оказалась существом вульгарным, распущенным и примитивным. Потом уже, стоило ей появится в камере, Роза ловила себя на острой неприязни к ней.

«Я подумала тогда, что Венера Милосская потому только сохранила в веках репутацию прекраснейшей женщины, что молчала. Открой она рот, и весь ее «шарм» полетел бы к черту».

И все же тут, в Бреславле, совершенная красота опять подкупила ее. Роза глядела на женщину.

«Как раз сейчас она прервала работу... Солнце уходит за высокие строения и почти скрылось. В вышине плывут, бог знает откуда, скопления маленьких облаков: посредине они окрашены в нежный серый цвет, по краям серебрятся, волнистые контуры их уползают на север... Разве можно быть мелочным или злым при таком вот небе?! — И закончила, обращаясь к Соне: — Если хотите быть «хорошей», никогда не забывайте смотреть на мир вокруг себя!»

Наблюдения, обобщения, поэтические сопоставления и политически острые ее заключения сменяли одно другое, и никакие силы присмотра не властны были над ними.

Однажды во двор, где Роза совершала обычную прогулку, прибыли телеги, нагруженные солдатскими мундирами и рубахами. Такая одежда нередко доставлялась в тюрьму: с нее смывали присохшие кровь и грязь, затем арестанты штопали ее и латали, чтобы можно было пустить снова в дело.

Телега, запряженная буйволами, подошла к крыльцу. Впервые перед Розой оказались так близко эти медлительные животные: плоские головы с изогнутыми рогами; черные туловища и глаза, полные кротости.

Буйволы были военным трофеем, захваченным на румынской земле. Они живо напомнили, с какой жестокостью грабит Германия земли, куда ступает нога ее солдат.

Пока телега разгружалась, солдаты курили и спокойно рассказывали стражникам, как трудно было поймать буйволов.

— А приучить к упряжке!.. А кнута, а хлыста сколько отведали!

Телега была нагружена доверху, животные подтащили ее к крыльцу через силу.

Когда понадобилось передвинуть ее через бугор, они уперлись, вытянув ноги, и, измученные, стали.

— А ну, окаянные! Впе-ред! — крикнул солдат помоложе.

Справляться с животными он умел лучше других, но сердце у него было жестокое. С таким исступлением лупил он буйволов толстой палкой, что смотреть было почти невозможно.

Роза, не в силах отвести взгляд от раздирающей душу сцены, оцепенела. Чем безнадежнее становились усилия животных, тем ужаснее делалось истязание.

Надзирательница и та не выдержала:

— Разве можно так мучить животное? Жалости в тебе нету!

Солдат мрачно отозвался:

— А нас кто-нибудь жалеет?!

Буйволы наконец одолели бугор, но спины были у них окровавлены. Та самая буйволиная шкура, грубость которой вошла в поговорку, была вся иссечена, из нее обильно лилась кровь.

«Животные стояли совершенно тихо, и то, которое было покрыто кровью, напоминало выражением черной морды и черных кротких глаз заплаканного ребенка... Я стояла вблизи, и животное смотрело на меня. Из моих глаз брызнули слезы.

Как далеки, как безвозвратно потеряны свободные, сочные, зеленые равнины Румынии! Совсем иначе сияло там солнце, иначе дул ветер, совсем не так звучали радостные голоса птиц и возгласы пастухов, а здесь, в этом чужом страшном городе,— в душном стойле затхлое сено, смешанное с гнилой соломой, чужие страшные люди и — удары, кровь, струящаяся из свежих ран... О, мой бедный буйвол, мой бедный любимый брат! Мы стоим здесь оба бессильно и тупо; мы — одно в нашем страданье, в нашем бессилье, в нашей тоске...

В это время заключенные деловито суетились возле телеги, выгрузили тяжелые мешки и перетащили их в дом, а солдат засунул руки в карман брюк и большими шагами прогуливался по двору. Он улыбался и насвистывал какой-то уличный мотив... И вся великолепная война прошла передо мною...»

Письмо, адресованное Соне Либкнехт, было написано незадолго до того, как солдаты, доставленные в Берлин, расстреливали бастующих рабочих, репетируя будущие решающие схватки.

XVI

Истерзанная войной Россия нуждалась в передышке во что бы то ни стало. Но Троцкий, сделав напыщенный и безответственный жест, сорвал второй тур переговоров и этим оказал большую услугу Германии. За спиной у московской делегации немцы продолжали вести секретные переговоры с Украинской радой и девятого февраля 1918 года подписали с ней сепаратный мир. На следующий день переговоры в Бресте были прерваны.

Статс-секретарь иностранных дел Кюльман, представлявший имперское правительство, получил строжайшее предписание: если Россия все же станет добиваться мира, предъявить ей требования куда более жесткие.

Чтобы утвердить план нового наступления на востоке, Вильгельм, находившийся в это время в Гамбурге, вызвал к себе на совещание руководителей своего кабинета и ставки.

Генерал Людендорф стал докладывать, по каким направлениям предполагается нанести удар.

— Мы двинем войска в сторону большевистской столицы. Армии у большевиков нет. То, что они собрали, разбежится после первых наших атак. Помимо того,

войска центра, а также на южном направлении возобновят свой марш на восток.

Вильгельм спросил, сколько дивизий намерена туда перебросить ставка.

— Ни одной добавочной, ваше величество. Мы обойдемся наличными силами.

Выслушав краткий доклад, задав еще несколько вопросов генерал-квартирмейстеру и его шефу, Вильгельм, оторвав глаза от развешанных в зале карт, сказал:

— С чувством гордости за армию я констатирую, что в эти дни моя ставка оказалась на высоте исторических задач.

Гинденбург почтительно приподнялся. Затем Вильгельм, любивший произносить речи, торжественно заявил:

— Из русских мы выкачаем все до последнего грамма. Они должны заплатить нам и за вероломство царя, и за безумие своих анархических вожаков. Господь воздает нам за все испытания, которые перенес мой народ. Я жду от вас, господа, что вы покажете теперь французам и англичанам истинную силу нашего оружия.

— Это уже планируется, ваше величество,— вежливо пояснил Людендорф.

Все было списано со счетов: и волнения в стране, и недовольство народа, и голод. Мир с Россией, казалось, возмещал все.

— Что касается моего правительства,— Вильгельм обратился к канцлеру Гертлингу,— то я ожидаю, граф, что под вашим руководством страна получит покой и вновь проникнется неограниченным доверием к власти.

— Ваше величество...— начал Гертлинг.

Вильгельм недовольно нахмурился: он не любил, чтобы его прерывали.

— Надеюсь, граф, ваше правление окажется куда более продолжительным, чем у печального вашего предшественника.

— Приложу все усилия, ваше величество.

— Ведь соци вам помогают? Я еще в начале войны прибрал их к рукам. Ведь они ручные, не так ли?

— Ваше величество, не совсем.

— Ну так бросьте им кость! Они требуют реформы избирательного права в Пруссии? Как прусский король я не возражаю. Только умело водите этой приманкой перед их носом.

Он был сегодня в ударе и от своих словечек получал удовольствие сам. Он сознавал себя победителем в величайшей схватке.

Шестнадцатого февраля Германия объявила, что через два дня будет считать перемирие между нею и Советской Россией прекращенным.

Россия, располагавшая молодыми и необстрелянными революционными частями, оказала неожиданный отпор. Под Нарвой и Псковом немцы встретили сопротивление. Но предательство Троцкого стоило России напрасно потерянных земель.

По настоянию Ленина переговоры с Германией возобновились, начался третий тур. На этот раз пришлось согласиться на условия несравненно худшие. Третьего марта в Бресте был подписан тяжелый, унизительный для России мир.

Грабеж начался с первых же дней. Направляя немецкие части на Украину, Людендорф давал твердые указания, сколько хлеба, жиров и всего прочего вывозить. Австро-Венгрия требовала своей доли награбленного, но это только раздражало его. Он предпочитал выглядеть благодетелем своей страны: пускай, получая украинские хлеб, сало, уголь, немцы ощутят блага опеки военных. Вот они бастовали, сеяли смуту, требовали невозможного, а когда пришла наконец победа, о них позаботились — командование, а не смутьяны.

Впрочем, продовольствие досталось главным образом

армии. Но газеты, партии рейхстага, в том числе социал-демократы, профсоюзные лидеры выражали, каждый по-своему, ликование.

Германия предполагала бо́льшую часть войск перебросить на запад, однако, чтобы выкачивать все с завоеванных земель, приходилось держать на востоке миллионную армию.

И все же до некоторой степени руки были развязаны. Можно было преподать урок французам и англичанам. Можно было уверять также, будто Германия повергла в прах самодержавие и, объявив независимость балтийских стран, Польши и Украины, сыграла в ходе войны освободительную роль.

XVII

Двадцать второго февраля рейхстаг утвердил мирный договор с Украиной. Итоги сепаратных переговоров были одобрены всеми. Шейдеман заявил, что следует искренне поблагодарить канцлера Гертлинга за то, что Германия признала за каждой нацией право на самоопределение. В договоре с Украиной, этой великой и богатой страной, социал-демократы видят воплощение их давней доктрины о праве народов на самостоятельность.

Но когда пришло время утвердить договор с Россией, у социал-демократов не хватило единодушия: выдать открытый грабеж за акт справедливости было не так-то легко.

После жарких споров победила в конце концов осмотрительность: решили, что фракции лучше при голосовании воздержаться.

Канцлер Гертлинг заявил, что с Россией при помощи меча достигнут мир умеренный и справедливый. Слова его убедили всех наивных и всех, кто жаждал мира любой ценой.

После этого взоры немцев обратились на запад, где судьба войны должна была решиться окончательно.

В марте после тщательно проведенной подготовки началось наступление на Марне. Немцы взломали сильно укрепленный фронт и продвинулись глубоко. В Париже началась паника. В Берлине поверили, что развязка близка. Двадцать шестого марта «Форвертс» написал, что наступление, которого все так ждали, приведет к победе и миру.

Март и апрель прошли в радостном возбуждении. Власти зорко следили за тем, чтобы движение протеста не вспыхнуло снова. Но рабочий класс так обессилел в январских схватках, так нелегко набирался новых сил, что энергии на сколько-нибудь внушительные демонстрации Первого мая у него не хватило.

Так тянулось вплоть до лета. А летом англичане и французы перешли в ответное наступление. Кровь полилась рекой. Ставка не успевала подбрасывать резервы, затыкая дыры то здесь, то там. Пришлось даже с Украины забрать много военных частей, хотя положение немцев было там непрочное. Солдат, немного откормившихся на украинских хлебах, спешно перебрасывали на запад. Но что это были за войска! Дух разложения охватил их сверху донизу.

Каждое утро Людендорфу, когда он приходил в свой по-спартански обставленный кабинет, дежурный по штабу докладывал, что́ произошло за ночь: сведения были неутешительные.

— Некоторые подразделения на востоке сделали попытку вывесить на вагонах красные тряпки.

— Отнюдь не тряпки, господин полковник, а символ опаснейшего брожения.

— Именно это я имел в виду, ваше высокопревосходительство.

— Так... Дальше?

Людендорф, прямой, неумолимый и замкнутый, распоряжения свои отдавал тоном, не допускавшим возражений: указывал, на каком участке произвести замену частей и куда влить подразделения, прибывшие с востока.

— Там серьезных атак противника я пока не предвижу.

— Но дух разложения распространился и на части, которые мы до сих пор считали боеспособными.

— Всех зачинщиков выявлять немедля и расстреливать на месте!

— Мы такое указание направили еще неделю назад.

— Тогда несколько дней подождем, затем потребуем в форме еще более категорической... А настроения в тылу?

— Блок средних партий более или менее устойчив...

— Полковник, мне нужны сведения о том, что предприняли мы. Мы ведь свое мнение выражали канцлеру не раз. А он продолжает миндальничать со смутьянами?

— Ваше высокопревосходительство, я полагал бы полезной встречу руководителей ставки с так называемыми левыми.

Людендорф поднял на него глаза.

— По-вашему, это принесет пользу? — Он помедлил.— Хорошо, запишите в числе наших ближайших мероприятий.

Положение сложилось такое, что за судьбу страны отвечала теперь ставка, и никто больше. Мир с Россией был использован целиком. Но на западе упорство и мощь противника оказались трудно одолимыми. Дела на фронте с каждым днем становились все хуже. Да тут еще фон Кюльман, выступая в рейхстаге двадцать третьего июня, позволил себе заявить, что военной победы больше ждать не приходится. То, о чем наверху говорили шепотом, он опрометчиво сделал достоянием всех.

— Полюбуйтесь-ка, как ведут себя эти господа в тылу,— заявил Гинденбург, пригласив к себе утром Людендорфа.

Тот стал читать с выражением бесстрастия, не нагибаясь и не приближая текста к глазам.

— Так что́ вы об этом думаете? — спросил Гинденбург.

— На языке войны это называется предательством. Мы не имеем права молчать...

— И что же вы предлагаете?

Людендорф сделал несколько шагов по кабинету. За эти нелегкие годы работа сблизила их, и он позволял себе иной раз некоторые послабления. Из окна были видны газоны и клумбы перед домом: все в цвету, все полно изумительных красок. По дорожкам, посыпанным гравием, шагали старшие офицеры — все как на подбор, статные, хорошей породы, с отличной выправкой. И с такими кадрами Германия на краю катастрофы?! Проклятая гражданская распущенность!

Он вернулся к столу.

— Я полагаю, надо потребовать отставки фон Кюльмана. С такими господами в правительстве мы далеко не уйдем.

— Канцлер, сколько я с ним ни беседовал, уверял меня, что кабинет целиком предан делу армии.

— По-видимому, ваше сиятельство, он бессилен. К власти подбирается левая камарилья, я располагаю точными сведениями. Лишь с большим трудом удалось предотвратить забастовки первого мая. Я дал указание немедленно предавать зачинщиков суду и подвергать суровому наказанию.

— Хорошо,— сказал Гинденбург.

— Мы этот идиотский день кое-как пережили, но любой следующий может стать для нас днем первого мая. Допустим, кайзер согласится убрать фон Кюльмана...

— Почти уверен, что его величество согласится.

— Но главного это не решит. Надо пришпорить социалистов.

— Они довольно послушны, я бы сказал.

— Да, но с каждым месяцем теряют в глазах рабочих свой авторитет. Надо подбодрить их, объяснить, какие надежды на них возлагаются. И выжечь язву либкнехтизма из тела народа.

— А вы не преувеличиваете? — с сомнением спросил Гинденбург.— Либкнехт под замком, имя его почти забыто...

— На любом собрании, во время любой демонстрации его имя произносят самые отъявленные и дерзкие. Нет, эта опасность далеко не устранена. Тем более следует поддержать умеренных социалистов. И потом, ваше сиятельство, мир должен быть заключен во что бы то ни стало, и соци с их международными связями могли бы сыграть тут полезную роль.

Гинденбург рассматривал кольцо на безымянном пальце. Оно связывало его с домом, с семьей и в трудные минуты напоминало, что есть на свете что-то такое, чего даже поражение не может отнять у него.

— Хорошо, я согласен,— произнес он.— А относительно фон Кюльмана выскажу его величеству нашу точку зрения.

XVIII

Посулы социал-демократов, их обещания близкого и почетного мира вылетели в трубу. Восемнадцатого июля Германия потерпела на западе тяжелейшее поражение. Как раз в тот день нормы снабжения жителей были урезаны еще больше. И надо же было, чтобы Шейдеману пришлось в тот же день делать доклад на собрании активистов в Золингене!

Он поехал туда с дурным предчувствием. Форштанд поручил ему, по возможности, выровнять там положение.

Лица встречавших были невеселые. По пути в гостиницу ему сообщили, что в организации царят нездоровые настроения.

— С продовольствием совсем плохо, снабжают — хуже нельзя. Так что рабочих можно понять.

Шейдеман заметил сочувственно, что такое же положение всюду. Фракция не раз обращала на это внимание правительства.

Он не стал пересказывать того, что пока не обнародовано: что очередное немецкое наступление на западе провалилось. Спросил лишь, каких тем лучше здесь не касаться.

— Трудно сказать, товарищ Шейдеман: острой может оказаться любая.

— Ну ладно, как-нибудь, надо думать, столкуемся. Ведь мы стоим на одной платформе.

Выступать тут ему уже приходилось, он хорошо знал помещение, где собирались активисты.

Явившись туда вечером, Шейдеман приветливо пожимал руку одному, другому, кивал: его радовало, что знакомых лиц много.

Большинство, впрочем, смотрело на него неприязненно. «Э-з,— подумал Шейдеман,— этот орешек разгрызть будет нелегко!»

В комнатку, где он ждал, вошел расстроенный организатор:

— Черт знает что! Эти спартаковцы наводнили весь зал листовками!

— Так соберите и выбросьте их в мусорный ящик,— посоветовал Шейдеман.

— Их уже расхватали.

— О чем же пишут? — справился он без видимого интереса.

— О вас, товарищ Шейдеман.

— О-о, много чести...

— Призывают сорвать ваше выступление.

— Ну, я ведь не новичок. И не в таких переделках бывал.

Затем появились другие организаторы, тоже смущенные.

— Так начнем все-таки?

— За мною остановки нет, я к вашим услугам.

Пройдя в узкую боковую дверь, Шейдеман с удовлетворением отметил тишину в зале. Годами накопленный авторитет действует, как-никак. Надо думать, все пройдет хорошо.

Он начал спокойно, не напрягая голоса; говорил гладко и плавно. Но вскоре до слуха его донеслось странное гуденье зала. Шейдеман продолжал, несколько настороженный.

Речь вначале касалась лишений, трудного положения рабочих. Он собирался заговорить и о жертвах, необходимых для спасения страны, но нет, лучше уж этого не затрагивать.

Вдруг все резко переменилось.

— Чем молоть эту чушь,— крикнули из зала,— лучше расскажите, как вы предали рабочих в начале войны!

— Что имеет в виду товарищ, задавший вопрос?

— Измену в рейхстаге. Четвертое августа, вы отлично знаете!

— Такова была позиция немецкой социал-демократии. Партия разъясняла ее потом не раз и встречала полное понимание.

— Ложь! Наше мнение подтасовывалось всегда, в этом природа вашего предательства!

Шейдеман был бы рад избежать перепалки, он терпеливо ждал тишины. Но момент был упущен — в зале дружно закричали:

— Ваше дело было обманывать, где можно, а мнение рабочих выражал один только Либкнехт!

— Если он и выражал чье-либо мнение,— возразил Шейдеман,— то самых крайних и самых отсталых, так думаю я.

— Такие, как вы, и привели рабочий класс к капитуляции! Гнать вас надо с трибуны!

— Товарищи, на таких началах встречу продолжать нельзя.— Ему показалось, что голос ему изменяет и звучит слишком пронзительно.— Высказывать свою точку зрения может каждый, но, раз меня сюда пригласили, потрудитесь выслушать прежде всего меня.

— Пускай те и слушают, кто пригласил, а с нас довольно! Хватит, долой!

Но у него нашлись и сторонники, тоже повскакавшие с мест. Давняя вражда между правыми и спартаковцами разгорелась в открытую. Со своего возвышения Шейдеман наблюдал эту стычку, грозившую перейти в свалку. Бранных слов по его адресу было меньше, потому что бо́льшая часть доставалась местным людям. Но и его вспоминали, называя то изменником, то предателем, то еще бог знает как.

Через боковую дверь на эстраду прошли два организатора и начали что-то ему говорить, но он в шуме не разобрал. Тогда его взяли под руки и почтительно повели к выходу.

— Скатертью дорожка! — понеслись вслед голоса.— Можете больше не появляться, мы вас раскусили!

Шейдеман выслушивал извинения руководителей. Он утешался спасительной мыслью, что, когда служишь людям, приходится очень многое сносить из-за их отсталости и темноты.

XIX

В начале августа союзники в решающем наступлении при Амьене прорвали немецкую оборону. Восьмое августа Людендорф позже назвал черным днем Германии. Мир стал совершенно необходим, но искать его можно было лишь после политической перегруппировки внутри страны. Без такой перегруппировки противник не согласился бы вести переговоры со страной, проигравшей войну. Социал-демократы узнали, что назавтра приглашены к начальнику генерального штаба. Другие фракции были приглашены тоже, но у социалистов положение было особое, они отдавали себе в этом отчет.

Шейдеман заговорил было с Эбертом, какой линии держаться и какой тон взять с генералами, если они позволят себе хотя бы оттенок надменности.

— Каких тебе почестей еще надо? — недовольно заметил Эберт.— Сами же сюда прибыли, чтобы встретиться с нами. Не у нас с тобой болит голова от потерь, которые несет армия.

— Она болит из-за другого, но болит все равно.

— Э-э, все будет видно на месте, подождем до завтра.

Когда они прибыли в генеральный штаб, адъютанты встретили их подчеркнуто предупредительно, но попросили подождать.

— Пожалуйста, что ж,— пробормотал Эберт.

Он грузно опустился в кресло и положил шляпу на колени. На толстых коленях шляпа покоилась надежно. Тем не менее адъютант предложил избавить его от такой заботы.

— Не утруждайте себя,— сказал Эберт,— я привык.

— Нет уж, разрешите. Повешу ее в гардеробе и при выходе вручу вам.

«Почему Фридриха тут сочли первым?» — ревниво подумал Шейдеман.

Но времени для размышлений не осталось: дверь широко распахнулась, и депутатов любезно пригласили войти.

Генералы сидели за большим столом. Глазом искушенного человека Шейдеман оценил того и другого: Людендорф представительнее, элегантнее и больше располагает к себе. Гинденбург ниже, чем он себе представлял, и выглядит менее значительным. Но страна именно его окружила ореолом. Так всегда, подумал Шейдеман: тот, на ком вся тяжесть ответственности, пребывает в тени, слава же достается другому.

При виде вошедших генералы поднялись. Гинденбург еще издали протянул им навстречу руки:

— Очень рад видеть вас, господа.

Когда очередь дошла до Шейдемана — Эберт и на этот раз оказался почему-то первым,— Гинденбург посмотрел на него с явной симпатией.

— Итак, господа, речь идет об условиях, на которых Германия могла бы вступить в переговоры с противником,— начал Людендорф и обратился к Шейдеману.— Нам известна позиция вашей партии в этом вопросе; в ней, надо признать, немало государственной мудрости.

Слегка наклонив голову, Шейдеман воздал должное генеральской любезности.

— Как ни сильно наше желание прекратить кровопролитие, страна, с таким самоотвержением сражавшаяся фактически одна с целым миром, имеет право на большее, согласитесь. Ведь вы требуете мира без всяких аннексий...

— Ваше высокопревосходительство,— вежливо, но твердо сказал Шейдеман,— я не стану касаться тут наших принципов, да и вряд ли вы были бы склонны считаться с ними...

— Но вклад, который германская социал-демократия внесла в оборону страны, мы ценим высоко.

— Позвольте мне задержаться сейчас на другом. В рядах парламентских фракций нет единства по вопросу,

который, без преувеличения, предопределит будущее нашей страны. Вы, конечно, знаете, как сильна группа аннексионистов...

По лицу Людендорфа скользнула тень: ему хотелось бы, по возможности, избежать этого режущего слух слова.

— Независимо от партии я как военный человек поделил бы членов рейхстага на тех, кто глубоко озабочен будущим родины, и тех, кто за сегодняшним днем видеть будущего не желает. Или неспособен.

Гинденбург посматривал на социал-демократов без тревоги: он знал, что Людендорф ничего не упустит и ни в чем не уступит. Он хорошо понимает, в каких границах возможна дискуссия. Формулировки генерал-квартирмейстера Гинденбург подправлял или несколько уточнял лишь в отдельных случаях. Его больше устраивала позиция наблюдателя.

Искушенности Шейдемана он готов был воздать должное, хотя расположения к нему не почувствовал: что-то извилистое, слишком сложное и немного опасное заключала в себе его личность.

Шейдеман старался уверить руководителей армии, что иных предложений, кроме тех, какие внесли социал-демократы, не может быть. Если правительство не пойдет на уступки, оно придет к банкротству и краху.

Людендорф примирительно заключил:

— Я нахожу, что несовместимости в наших позициях нет. Немецкие социал-демократы воодушевлены теми же благородными чувствами, что и весь народ, с первых дней трагической войны. Но мы люди трезвые: из столкновения с противником Германия не вышла бесспорной победительницей, хотя все моральные преимущества по-прежнему на ее стороне. Все, что в результате переговоров можно получить, следует безусловно потребовать. Немецкий народ никогда не простит нам, если в эти трудные дни мы предадим его интересы.

При том, что они формально с социалистами не договорились, генералы остались довольны встречей. Пожалуй, фигура Эберта осталась менее разгаданной. Он сидел ссутулившийся, похожий на крупное корневище, сросшееся всеми своими узлами, хмурый и в то же время готовый к уступкам. Несколько его реплик — он вовсе не рвался быть первым, и это понравилось генералам — показали, что с ним легче прийти к компромиссу, чем с Шейдеманом.

Все представляло как бы наметки для будущего: достаточно было и этой осторожной рекогносцировки, чтобы понять друг друга.

Генералы жали руки социал-демократам. Людендорф даже проводил их, но до двери не дошел — сделал лишь несколько ша́гов. Этого было достаточно, чтобы подчеркнуть особый характер встречи.

XX

Предвидеть, что́ произойдет в ближайшее время, Людендорф все же не сумел. Наступление войск Антанты продолжалось и приняло такие размеры, что стало угрожать развалом немецкого фронта. Лишь экстренные меры могли еще спасти Германию от катастрофы.

Двадцать восьмого сентября в ставку, находившуюся теперь в бельгийском городке Спа, были вызваны канцлер Гертлинг и статс-секретарь фон Гинце. Ошеломленные, они выслушали заявление Людендорфа. Армия, объявил он, сражаться больше не может. Необходим мир — любой ценой, на любых условиях, иначе ставка ни за что не поручится.

Престарелый граф Гертлинг печально и изумленно смотрел на него.

— Вы, генерал, не исключаете даже капитуляцию?!

— Мы хотим исключить одно — распад армии. Поэтому надо войну прекратить на любых условиях.

Гертлинг смотрел на Людендорфа с молчаливым укором. Он, беспрекословно выполнявший указания ставки, твердил вместе с нею о победе. И вот такой ужасный конец! Он вздохнул.

— Нет, этого я взять на себя не могу...

— Но не командованию же просить противника о перемирии, это задача правительства!

— Я слишком стар, ваше высокопревосходительство, для таких шагов.

Наступило тяжелое молчание. Гинденбург не произнес ни слова: в этой драматической сцене главная роль принадлежала Людендорфу. Еще недавно с такой непреклонностью добивавшийся пополнений для новых битв, он требовал, чтобы страна как можно скорее сдалась на милость победителя. Но это влекло за собой необходимость немедленных внутренних реформ, понимал Людендорф.

— Итак, господа? — произнес он.— Или мы сохраним армию, или потеряем вместе с нею все. Его величество кайзер согласится, я думаю, пойти на реформы, чтобы предотвратить беспорядки в стране.

Фон Гинце заметил:

— Вот пускай рейхстаг и утверждает их. Ведь это он принимал пресловутую мирную резолюцию.

— Хорошо,— немедля отозвался Людендорф.— Пускай это ляжет на плечи народных представителей, в частности соци. Мешали нам воевать, пускай теперь и расхлебывают!

Тридцатого сентября граф Гертлинг подал в отставку. Преемником его должен был стать человек совершенно иного склада.

Еще недавно мерилом при выборе канцлера служила преданность трону и идее великой Германии. Близкие ко двору люди стали убеждать кайзера, что сейчас кан-

дидатура должна быть подобрана по совсем другим признакам.

В свои пятьдесят девять лет Вильгельм чувствовал себя полным сил и меньше всего склонен был обвинять в неудачах себя. Вина, стало быть, падала на правительство. Трех канцлеров он сменил за годы войны, шутка ли! Речь теперь шла о четвертом.

— В какое положение я ставлю престиж короны! Согласитесь же, господа, за все в конце концов приходится расплачиваться мне!

— Ваше величество,— уговаривали его приближенные,— положение слишком серьезно. Изменить его может только фигура более либеральная.

— Боюсь, господа,— заметил Вильгельм скептически,— что во имя политических комбинаций вы даже своим императором готовы пожертвовать.

— Именно для сохранения трона нужны перемены. Они убедят страну в благих намерениях вашего величества.

Так склоняли его в пользу кандидатуры принца Макса Баденского, слывшего в придворных кругах человеком свободомыслящим. .

— Терпеть не могу краснобаев, да еще заигрывающих с чернью! — сознался Вильгельм.

В конце концов его удалось убедить, что лучшего выхода нет, и принц Баденский был привлечен к руководству.

Третьего октября правительство Гертлинга пало, ушло в небытие, как и правительство Михаэлиса.

Макс Баденский, человек более широких взглядов, чем придворная клика, повел переговоры о составе своего кабинета с несколькими партиями, в том числе с социал-демократами. Пригласив социалистов к себе, он с первых же слов заявил, что его опорой должны стать именно они.

Давнее предвидение Шейдемана готово было обратить-

ся в действительность. Из противников, затем партнеров правительства социал-демократы становились партией, готовой взвалить на себя ответственность за страну. Вряд ли они догадывались, какая ловушка для них приготовлена.

— Так могу я рассчитывать на ваше участие в кабинете? — обратился Макс Баденский к Шейдеману.

— Если партия сочтет это целесообразным,— ответил он,— я, разумеется, подчинюсь.

— Но все эти годы ваша партия была на высоте исторических задач!

Экстренное заседание руководителей социал-демократии рассмотрело причины министерского кризиса и постановило одобрить то, что два его члена, Шейдеман и профсоюзный деятель правого толка Бауэр, войдут в состав нового кабинета. Для себя Эберт приберегал место в будущем, время его еще не пришло.

Пятого октября Макс Баденский выступил с декларацией в рейхстаге. Он обещал реформу избирательного права, частичную отмену осадного положения, бо́льшую свободу собраний и частичную амнистию.

Подчеркивая особый характер правительства, в которое вошли социал-демократы, Эберт торжественно объявил, что в истории страны это поворотный пункт. «Форвертс» тоже назвал день выступления нового канцлера историческим.

XXI

Совсем по-иному, разумеется, отнеслись к новому кабинету спартаковцы. В листовке «Товарищи! Рабочие!» они назвали обещанные Максом Баденским реформы жалкой комедией, которую пытается разыграть режим, обреченный погибнуть.

«Ваши истомленные, истощенные, истекающие кровью

братья на фронте не могут выносить больше ужасов войны, они поняли весь низкий обман и отказались принимать дальнейшее участие в кровавой трагедии. Тогда вдруг заговорили о внутренних реформах, и все закричали о мире».

Уж кто-кто, а спартаковцы знали истинное положение страны. Они видели, как тяжело страдают немцы, до какой степени измождены и до какого предела озлоблены. В своих листовках «Меньше хлеба...», «На борьбу за мир», «Товарищи, проснитесь!» они объясняли немцам, что единственный путь избавления от мук — революция, которая покончит с войной и с режимом кайзера.

Озлобление народа прорывалось наружу — то в неожиданно вспыхнувшей демонстрации, то в стачке, охватившей большой район, то в плакатах, или лозунгах, или даже в частных письмах, которые успевали перехватить власти.

Один силезский горняк, так и оставшийся неизвестным, написал летом того бурного года: «Ни один человек не захочет работать даром при таких собачьих условиях. Десяти—пятнадцати марок, которые получают теперь горняки, хватает лишь на кусок мыла, чтобы вымыться после работы. А где взять продукты, одежду и остальное для семьи?.. Что делать нам с такими ворами и разбойниками, как кайзер Вильгельм II, его сын кронпринц, Людендорф, Гинденбург, и остальными алчными свиньями? Долой Германию рыцарей-грабителей!» Слово «долой!» звучало все более грозно. Долой Вильгельма, долой всех Гогенцоллернов, долой правительство!

Не менее часто звучали слова «Да здравствует Карл Либкнехт!». Их произносили на демонстрациях, писали на плакатах, повторяли во время бурных схваток. Солдаты вывешивали плакаты с этими словами на эшелонах, в которых следовали с востока на запад. Имя Либкнехта притягивало к себе подобно магниту.

Карл Либкнехт стал народным героем. Не одни спартаковцы чтили его, а миллионы недовольных. Рядовые члены партии независимых, гораздо более радикальные, чем их вожди, требовали освобождения Либкнехта. Революционные старосты, оправившиеся после январского разгрома и сплотившиеся в подпольный комитет, испытывали влияние спартаковцев. Но была черта, отделявшая даже самых радикальных из них от членов группы «Спартак». Она определялась отношением к большевизму и Советской власти.

С первых же дней Октябрьской революции спартаковцы признали ее, ее цели, лозунги и новый, небывалый в истории путь. Наоборот, в прессе шейдемановцев, так же как и в тайных донесениях полиции, все, что хотя бы отдаленно напоминало опыт русских, стало неприязненно именоваться большевизмом. Так называемый «русский путь» полностью ими отвергался. Да и независимые не признавали его. Даже революционные старосты в этом вопросе резко расходились со «Спартаком».

Любые нападки на русскую революцию спартаковцы встречали в штыки. Клара Цеткин писала в швейцарской газете «Бернер тагвахт», когда отмечали столетие со дня рождения Маркса, что русская революция воплотила в себе его идеи. «В России осуществляется социализм — дело жизни Маркса».

Позже она опубликовала в «Правде» серию статей «За большевиков». Само название говорило о характере статей. «Большевики сейчас больше, чем партия, они... являются фактически представителями народа». А Франц Меринг в работе, тоже посвященной Марксу, разделался со всеми, кто, прикрываясь его именем, вроде Каутского и других реформистов, осуждал русскую революцию.

В своем «Открытом письме большевикам» Меринг писал: «Мы встретили весть о победе большевиков с чувством гордости».

Седьмого октября, за месяц до революции, когда Германия была накалена до предела, в Готе удалось провести конференцию левых радикальных групп. Помимо спартаковцев были представлены левые радикалы Бремена и Гамбурга. Конференция выдвинула лозунг единства действий будущей социалистической республики Германии с Советской Россией. Решено было создать рабочие и солдатские Советы всюду, где они еще не созданы. В своем обращении к народу конференция потребовала полной отмены осадного положения, свободы для политических заключенных, экспроприации банков, шахт, крупных и средних земельных владений. Словом, это была программа социализации страны. Пусть многое не нашло в ней полного отражения, важнее то, что конференция была проникнута духом революционности.

Недаром Ленин в обращении к спартаковцам указал, что «работа германской группы «Спартак», которая вела систематическую революционную пропаганду в самых трудных условиях, действительно спасла честь немецкого социализма и немецкого пролетариата».

Только не щадя себя, не думая о себе, можно было в условиях террора распространять листовки — в огромном количестве посылать их на фронт, разбрасывать на заводах, опускать в почтовые ящики, заворачивать в них продукты — словом, делать все, чтобы они попали в руки рабочих и солдат.

Нужна была безграничная смелость, чтобы, собирая оружие, патроны, гранаты у солдат, бежавших с фронта, держать все это в тайниках и постепенно, день за днем вооружать рабочих.

В то время как Шейдеман и Бауэр тщеславно ждали, когда принц Баденский повезет их в составе своего кабинета во дворец и представит кайзеру, спартаковские низовые работники и оставшиеся на воле руководители буквально каждый день подвергали себя опасности ареста

и каторжной тюрьмы. Ведь уже восемь тысяч человек было в разное время схвачено и посажено за то, что вели в дни войны антивоенную пропаганду.

XXII

Как ни старался Либкнехт установить связь с внешним миром, удавалось это плохо. Бо́льшая часть того, что товарищи посылали ему, не доходила. Администрация наистрожайшим образом проверяла все посылки опасного арестанта. А Шульцу попросту объяснили, что он на подозрении; если что еще будет за ним замечено, льготы его полетят к чертям.

Либкнехт с его щепетильностью и нежеланием подвести Шульца должен был отказаться от его услуг.

— Сам понимаешь,— сказал Шульц ему,— из-за тебя рисковать головой не дело. То ли ты станешь когда-нибудь президентом, то ли мне дерьмо перетаскивать на себе вместо того, чтобы шить сапоги начальству.

Скудость сведений, какими располагал Либкнехт, мучила его. То немногое, что проникало в камеру, порождало бурные мысли. Правительство дискредитировано, война проиграна окончательно, а шейдемановцы пытаются подпереть своим плечом прогнивший режим! Ничего более постыдного нельзя было себе представить.

Он восстанавливал в памяти путь правых лидеров, все, чему являлся свидетелем. Можно ли было предвидеть, что преемники Августа Бебеля Шейдеман и Эберт окажутся прямыми отступниками и ренегатами! Есть ли в этом историческая неизбежность?

Разве на социалистических конгрессах в Штутгарте, Иене, Базеле не высовывались длинные уши умеренности? Авторитет Бебеля до поры до времени уравновешивал попытки примирить кое-как соглашательство с революционностью. Но привычка немецких рабочих чересчур

доверять вождям и следовать за ними во всем, привычка, которую вожди выдавали за высокую организованность, сыграла с ними дьявольски злую шутку.

И вот рабочие у самого рубежа эпохи. Эпоха кончается, обман вождей становится очевидным. Хватит ли у рабочих чуткости, революционной решимости, чтобы смести окаменелости времени, разметать все изжившее себя и приступить к строительству чего-то нового и небывалого?

Либкнехт шагал по камере. Он говорил себе: потребуются невероятные усилия, чтобы сдвинуть массы вперед, подтолкнуть для большого разбега. История никогда не простит, если мгновение будет упущено.

Готовы ли товарищи? Вооружились ли эмоционально и организационно? Движение требует компаса, указаний, руководства. Без этого оно выдыхается. Беспримерный опыт русских показывает, что́ значит направляющая сила.

Но много ли знает он о событиях в России? Что, кроме скудных фактов и пронзающих его подчас догадок? Всем сердцем он с русскими, их опыт открыл пути для других стран. Но время действовать наступило, а его держат в оковах!

Бывали минуты, когда, взявшись руками за переплет окна, Либкнехт пытался оттянуть его, как будто в состоянии был согнуть решетку. Железо было холодное, стылое, и руки немели. Он затворял форточку и слезал с табурета. Его знобило. Это Соне можно было писать, что он вынесет все, что бы с ним ни случилось. А как было вынести?!

И все же воля и выдержка оставались единственными его помощниками. Хватало воли на то, чтобы ни в холод, ни в часы темноты не давать себе никаких поблажек. Он раскрывал настежь форточку и выполнял гимнастические упражнения. Но направить мысли в спокойное русло было

выше его сил. Казалось, в своем необузданном потоке они увлекут его за собой.

Тюрьме не хватало топлива, одно крыло пришлось закрыть, и Либкнехта перевели в меньшую камеру, которая была темнее и холоднее. Он и тут не поддался унынию.

Последние дни Либкнехт жил ожиданием свидания с Соней. Оставалось четыре дня, три, два... В утро свидания он постарался придать себе бодрости: тщательно застегнул воротник, чтобы скрыть худобу, проверил, не слишком ли запали щеки, и стал растирать их ладонью.

Минуты тянулись мучительно долго. Казалось, его терпения не хватит.

И вот пришли за ним надзиратели. Повели длинными переходами и, не говоря ни слова, оставили одного в пустом сводчатом помещении.

Затем появился начальник тюрьмы, человек немногословный и замкнутый. С Либкнехтом за семьсот с лишком дней тюремной жизни у него установились отношения корректные. Уж он-то знал, какую роль играет имя его заключенного в разбушевавшейся Германии.

— Так у вас, заключенный, опять был не так давно Шульц?

— Был.

— Сапожное дело у нас приостановлено, и вы давно клеите картузы! Кто-кто, но вы обязаны помнить об этом!

— Совершенно верно, господин начальник.

— Так что Шульц отношения к вам не имеет.

— По старому знакомству навестил, да и пробыл-то всего несколько минут.

— Это надо прекратить. И я рассчитываю, заключенный, что сегодня вы проявите должную выдержку. Никаких вопросов, помимо личных, ничего о политике... О здо-

ровье детей можно, о состоянии вашей супруги, о других родных — не больше того.

— Не могли бы вы продлить мне сегодня свидание?

Начальник посмотрел на Либкнехта недоуменно:

— По какой причине?

— В прошлом месяце жена, как вы знаете, была нездорова.

— Но я допустил к вам сына, вы могли осведомиться у него обо всем... Хорошо, разрешаю дополнительных десять минут. — И он удалился.

Последние томительные минуты... Либкнехт снова стал тереть щеки, чтобы не выглядеть бледным.

Самыми трудными бывали первые мгновения. Он изо всех сил старался казаться бодрым. Но Соня не умела лукавить и не научилась владеть собой в эти первые мгновения встреч. Глаза ее выражали страх, радость, ужас, надежду. Он не всегда понимал, впрочем, что́ выражают ее глаза, слишком далеко она была от него. Так хотелось вглядеться в ее лицо, подержать ее руку в своей, провести по волосам!.. Либкнехт мучительно подбирал фразы, полные тайного смысла, которые помогли бы им лучше понять друг друга. Какое напряжение и какую муку заключали в себе эти последние мгновения!

— Идите,— объявил наконец надзиратель.

Либкнехт боялся, что из-за сумрака не сумеет разглядеть лицо Сони как следует.

— Ну как, моя дорогая? Вполне ли ты поправилась? Здоровы ли дети? Все ли у вас в порядке?

— Все, все здоровы!

Голос ее был полон неизъяснимой свежести, от его звучания в душу Либкнехта вливалась энергия. Благодарение судьбе за то, что она наградила ее таким тембром и такой певучестью голоса!

— Все спрашивают о тебе и ждут не дождутся.

— Но это безумие! Остается еще добрых семьсот пятьдесят дней!

— Нет, нет,— со страстной убежденностью возразила Соня,— дни несутся, наоборот, страшно быстро!

Если бы она знала, как часто ему представлялось, что время едва-едва стучится в его камеру!

Либкнехт этого не сказал, только вздохнул.

— Карл, хороший мой, они несутся стремительнее, чем тебе кажется.

В этом был скрытый смысл, Карл почувствовал.

— Надо же, чтобы кто-то направлял их, эти дни!

— Заключенный, разговаривать можно только о семейных делах,— остановил его надзиратель.

— О семейном и говорим! — Он опять обратился к Соне.— Кто же управляет моими делами?

— Карл, дети ждут тебя, не дождутся. Гельми целое послание приготовил и намерен вручить его тебе лично.

— Разве ему разрешили свидание?

Минуты уходили, время его истекало, а он не уловил еще чего-то самого важного. Напрасно он говорил себе: одно то, что Соня здесь, есть великое благо, и ждать других благ не надо. Необходимо было дознаться, какие новые нити протянулись между ним и миром.

— Свидание с Гельми вполне может быть. Обстоятельства благоприятны...

Соня так хорошо распоряжается отпущенным временем, что бросать на ветер пустые слова не стала бы. Минуты свидания так же драгоценны для нее, как и для него. Что же она хочет сказать ему?

— Пять минут остается,— бесстрастно объявил надзиратель.

— И мы увидимся только через месяц?!

— Нет, нет, уверяю тебя! Ты не можешь представить себе, как повезло нам в семейной жизни и как ждут тебя дети!

Было мгновение, когда Либкнехту показалось, что он понял *все*. Но когда он кинул последний, полный надежды, ожидания и тоски взгляд на Соню, сомнения охватили его вновь.

Свобода? Эти глупые толки об амнистии? В яростном ожесточении Либкнехт решил, что получить ее из рук негодяев *не желает*. Слишком большая цена заплачена, чтобы так пошло, как барское благодеяние, вырвать свободу из рук мошенников.

За минуту перед тем он ясно ощутил, как выходит за ограду тюрьмы и погружается с первых минут в бурлящую жизнь. И тут возникло препятствие, над которым он был не властен: вся гордость и все презрение поднялись в нем.

Так неужто же оставаться здесь?! Ждать, пока восставший народ освободит его сам?

Но не обязан ли он, не теряя ни дня, впрячься в тяжелую колесницу истории, раз колесница сдвинулась с места?

Либкнехт возвращался по каменным гулким ступеням. Впереди и сзади шли надзиратели, в точности повторяя его шаги.

XXIII

Забастовки вспыхивали повсюду. Колонны бастующих заполняли улицы, распевая «Марсельезу» и «Интернационал».

Полиция была наготове и, прячась в переулках, ждала команды: рассеивать ли демонстрантов силой или пропускать, оцепив те места, куда доступ особенно нежелателен.

В середине сентября демонстранты, смяв заграждения, хлынули к зданию советского посольства. Полиция пустила в ход все средства, вплоть до оружия.

Красный флаг, развевавшийся над посольством, манил берлинцев. Казалось, он колышется слабее или энергичнее в зависимости от того, что происходит вблизи. Молчаливое здание словно бы ждало часа, когда его окна и двери раскроются навстречу революционной толпе.

Войдя в состав имперского кабинета, Шейдеман сообразил, что держать в тюрьме политических заключенных социал-демократы не вправе, а то их престиж упадет еще ниже в глазах рабочих.

В первые дни Шейдеман встречался с канцлером особенно часто. Принц Баденский уверял, что намерения его очень во многом сходны с тем, что предлагают социал-демократы; если что и отличает их, то скорее соображения тактики, чем программы.

— Так же, как и вы, я хотел бы видеть Германию демократической, свободной и процветающей,— повторял принц.

И вот Шейдеман сказал ему, что один шаг кабинета сейчас настоятельно необходим.

— Какой, подскажите? Ведь кое-что мы уже сделали.

— Нужна амнистия, ваше высочество.

— Но мы кое-кого освободили уже, например депутата Дитмана.

— Надо освободить Либкнехта.

— Вот как? — удивился канцлер.— А мне казалось, что вы... то есть ваша партия имела с ним достаточно хлопот.

— Имя Либкнехта стало знаменем толпы. Надо выбить это оружие из их рук. На свободе он будет менее опасен, чем теперь.

— А деятельность его разве не кажется вам вредной?

— Если он совершит антигосударственный акт, его можно будет опять водворить в тюрьму.

— Ну что же, резонно... В ближайшие дни доложу его величеству. Беда в том, что его величество не выносит даже имени Либкнехта.

— Даже если это и так, медлить нельзя.

— Да, да, доложу... И вообще, благодарю вас за помощь — она особенно ценна для меня в эти первые дни.

Но тут непредвиденное обстоятельство чуть было не подорвало положения нового канцлера. Одна из бернских газет предала гласности письмо, посланное им еще в начале года принцу Гогенлоэ, двоюродному его брату. Нынешний канцлер отозвался в нем о демократии и парламенте крайне пренебрежительно, а так называемую резолюцию о мире назвал «гнусным продуктом страха и берлинского безделья».

На фоне обещаний, которые раздавал канцлер немцам, это прозвучало зловеще. Цензура запретила публикацию письма, но за границей оно получило широкую известность.

Социал-демократы всполошились. Шейдеман и Бауэр заготовили даже, на всякий случай, заявления об отставке.

Но Шейдеман сначала добился разговора с канцлером.

— Вы, ваше высочество, видели, надо думать, этот материал?

— Видел, господин Шейдеман, разумеется.

— В том, что напечатано, есть ли крупица правды?

Принц задумался.

— Да, письмо подлинное, но самой его публикации придан характер грубо тенденциозный. Сознаюсь вам, по своей натуре я скорее философ; страсти политической жизни меня не влекут. Находясь в состоянии отрешенности от всего социального, я позволил себе высказать, делясь раздумьями, некоторые идеи. К обстановке, которую переживает страна сейчас, они отношения не имеют.

— Стало быть, и наших задач это не касается?

Он почувствовал облегчение. Уход его и Бауэра был бы весьма нежелателен и привел бы к падению кабинета. А смена канцлера в такой момент выглядела бы скандальной. Да и вовсе не хотелось Шейдеману расставаться с министерским постом, который он получил так недавно.

Этот прискорбный, чуть не ставший роковым для Макса Баденского, инцидент удалось в конце концов приглушить.

Либкнехта тем не менее из заточения необходимо было выпустить. В тюрьме он представлял для них угрозу гораздо бо́льшую, чем на свободе. Да и само его освобождение можно было бы потом демагогически приписать усилиям социал-демократов.

XXIV

Друзья, единомышленники, даже незнакомые люди навещали Софью Либкнехт в эти дни особенно часто. Ее уверяли, что ждать остается недолго — возвращение мужа вопрос дней. То, что он до сих пор в крепости, похоже на вызов.

— Пока Карл не окажется здесь, ни во что не поверю! — твердила Соня.— Эти господа способны на все!

— Им приходится делать хорошую мину при плохой игре... Ну, только бы выпустили.

Семья жила в крайнем нервном ожидании. На каждый звонок кидались к дверям: а вдруг на пороге Карл?..

Скупо доходившие до Либкнехта сведения очень его волновали. Распорядок тюремной жизни, строго соблюдавшийся до сих пор, был окончательно сломан. Либкнехт не находил себе места. Склеивание бумажных картузов нисколько не отвлекало больше. Он проводил нелегкие дни.

В печать уже просочился слух о его болезни. Даже газеты умеренного направления писали, что Либкнехт должен быть освобожден. Хороша демократия, если избранник народа томится в тюрьме!

Начальник крепости Люкау, будучи, как ему казалось, человеком справедливым, держался со знаменитым своим заключенным подчеркнуто корректно. Либкнехт, если ему назначено вознестись на вершину власти, вспомнит когда-нибудь, что тут к нему относились терпимо. Уж он-то, начальник, знал, что демонстранты во всю глотку кричат: «Долой кровавого Вильгельма! Да здравствует Карл Либкнехт, президент свободной Германии!»

Может, узнику его в самом деле назначено стать президентом? В стране, где основы порядка рухнули, возможно все.

Перед кем следует предусмотрительно снимать шляпу, начальник еще не знал, но не удивился бы, если бы этим человеком оказался нынешний узник Люкау.

— Ну как, заключенный? Жалоб нет?

— Очень холодно в камере, просто невмоготу стало в последнее время.

— У меня в кабинете холодно тоже... А других пожеланий нет?

— Прошу свидания с женой.

— Но прошло совсем мало времени... Хорошо, может, удастся кое-что для вас сделать. Пускай обратится ко мне с ходатайством. Напишите ей, я разрешаю.

Он, искушенный тюремщик, понимал, что в такое время надо быть гибче. Авось и новые власти вспомнят о нем: тюрьмы нужны при любом режиме.

Спустя три дня после этого разговора утром, когда десятичасовой скорый поезд прошел через Люкау, к начальнику в кабинет буквально ворвалась жена заключенного, Софья Либкнехт.

— В чем дело, сударыня? У меня неприемный час!

— Дело не терпит отлагательства: мой муж должен быть немедленно освобожден!

Смятый этим внезапным натиском, он встал с места.

— У меня нет никаких указаний.

— Какие там указания! — решительно возразила она. — Еще скажите спасибо, что не громят вашу крепость. Если узнают, что Либкнехта продолжают держать под замком, камня на камне здесь не оставят.

— Я повторяю, сударыня: у меня указаний не было.

— Тогда свяжитесь с Берлином: распоряжение имперского кабинета. Не теряйте времени, господин начальник.

Обычно робкая, она на этот раз вела себя почти вызывающе. В другое время начальник живо поставил бы ее на место. Но, человек опытный, привыкший к наблюдениям над людьми подневольными, он понял, что такое ее состояние должно иметь под собой почву.

— Хорошо, позвоню в Берлин. Прошу вас покинуть кабинет, я не могу вести разговор при посторонних.

Софья Либкнехт вышла. Ей было нестерпимо жарко, она обмахивалась рукой, хотя на самом деле тут было прохладно. Сев в клеенчатое кресло, она через минуту вскочила. Секретарь канцелярии посмотрел с недоумением, но поскольку она проникла сюда...

На стене висели портреты кайзера и Гинденбурга. Она скользнула по ним невидящим взглядом. А бедный Карл мечется в своей камере, не подозревая, что час освобождения наступил! Боже, сколько он вынес и какую стойкость проявил!

Мысли ее перескакивали с одного на другое, а сердце было полно томительной преданности и горячей любви.

Она не выдержала и приоткрыла дверь. Начальник тюрьмы разговаривал по телефону. При виде Софьи Либкнехт он, с полным вниманием к тому, что говорили на другом конце провода, рассеянно кивнул. Наверно, благо-

приятно для нее, а то бы взглянул по-другому. Она сама прикрыла дверь, сказав себе, что ждать остается недолго, и села снова.

Секретарь произнес с оттенком сочувствия:

— Потерпите, сударыня, вскорости все выяснится.

Только тут она вспомнила, что внизу стоит и, не меньше ее волнуясь, ожидает Гельми. Как же можно было забыть!

Она сбежала по каменным ступеням и торопливо бросила:

— Этих бонз нельзя оставить ни на минуту! Отойдешь хоть на шаг, они еще что-нибудь придумают! — И опять кинулась вверх по крутым ступеням.

— Господин начальник выглянул и был удивлен, что вас нет,— сообщил ей секретарь.

— Да? Ну так я войду к нему сама.

— Нельзя же так, я могу из-за вас получить взыскание!

Наконец, справившись у начальника, он пропустил ее.

— Действительно вести для вашего мужа радостные,— сообщил начальник,— и я искренне поздравляю вас. Но как же нам быть? У нас при выписке заготовляют документы накануне.

— Ну и оставьте себе, вышлете позже! Его надо освободить без задержки, разве вы сами не понимаете?!

Два года тюрьму посещала скорбная угнетенная женщина, а тут перед ним стояла такая настойчивая и энергичная.

— Так идемте, что же... Вы одна или с делегацией?

— Сын ждет внизу.

— Почему же вы сюда его не привели?!

— Мы не слишком избалованы вашей предупредительностью, господин начальник.

— Но это несправедливо! Я делал для вас все, что мог!



Софья Либкнехт и Гельми последовали за ним и надзирателями. Прошли длинным угрюмым двором. Около какой-то массивной, обитой железным листом двери остановились.

— Вооружитесь терпением, сударыня: тут и сборы вещей, и еще кое-какие формальности. Он придет к вам сюда.

— Не надо вещей, пускай выйдет так!

На Гельми смотреть было почти невозможно, такое невыносимо страдальческое ожидание было у него на лице. Унижения в школе, преследования учителей — все кончится в ту минуту, когда отец появится на пороге.

Им прежде всего бросилась в глаза, когда они увидели Карла, страшная бледность лица. Что-то больно кольнуло Софью Либкнехт, точно вместе с избавлением на нее надвинулась тень неотвратимой беды.

Оба кинулись к нему. Начальник и надзиратели отвернулись, ведь все людское было им тоже доступно.

Выпустив из объятий Соню, Либкнехт пылко привлек к себе сына. Вглядываясь в него, он произнес:

— Почему такой бледный? Я был уверен, что ты держишься молодцом.

— Нет, нет, он вел себя прекрасно! — сказала Соня.

Начальник вынул часы из кармана:

— До поезда есть еще время закончить формальности. Я прикажу, чтобы вас доставили на вокзал в коляске.

— Нет,— решительно сказал Либкнехт. — Мы пойдем пешком, так будет лучше.

И они двинулись к конторе. Возле одной из дверей им встретился сапожный бригадир Шульц.

— Прощай, Шульц,— крикнул Либкнехт. — Спасибо за науку!

С выражением официальной строгости и почтения тот приподнял руку, приветствуя своего бывшего подмастерья.

XXV

Весть о том, что Либкнехт прибудет сегодня в Берлин, облетела столицу. Спартаковцы сделали все, чтобы она дошла до рабочих, которые еще три дня назад с флагами и транспарантами шествовали по улицам, требуя для него свободы.

И опять рабочие сошлись у заводских ворот; с теми же флагами, но с новыми, только сегодня изготовленными транспарантами стали строиться в колонины.

К Ангальтскому вокзалу колонны двинулись со всех направлений. Чем ближе, тем теснее становилось на улицах. Наряды полиции встречались все чаще. Они тоже торопились к вокзалу, но боковыми улицами. Они стремились опередить демонстрантов и оцепить вокзальное здание.

Площадь перед вокзалом была уже заполнена демонстрантами, а новые делегации прибывали и прибывали. Они останавливались на прилегающих улицах.

Давно пришло время прибыть поезду, а его не было. Несомненно, его задерживали с умыслом: авось надоест людям ждать и толпа разойдется.

Но никто не уходил. Если бы сверху посмотреть на площадь и вливавшиеся в нее улицы, то поразило бы необъятное море голов. На вокзале распустили слух, будто поезд вообще не прибудет сегодня, но никто этому не поверил.

И вот, подобно току по проводам, пронесся другой слух, достоверный: поезд придет сейчас, с минуты на минуту.

Произошла подвижка, затем все замерло и вновь заволновалось. Ряды слабо колыхались, пока не застыли в напряженнейшей тишине.

Ничего еще не видя, все стали передавать друг другу: «Приехал! Здесь! Либкнехт здесь! Вон там, на ступенях вокзала!»

Старались приподняться, разглядеть его. Те, кто оказался рядом, от избытка чувств подхватили его и подбросили было в воздух, но тут же множество рук бережно, с той нежностью, которая охватывает иной раз толпу, приняло его.

На мгновение показалось, будто он виден всем. Да, и шляпа его, и пенсне, и темные волосы!

Где-то совсем близко ждала машина. Донесли туда Либкнехта или он дошел сам, так и осталось неясно. Усадили в машину... А кто там с ним? Все передавалось по цепи от одних к другим.

Наконец, окружив машину со всех сторон, плотная, зыбкая, почти безбрежная масса людей сплошной цельной процессией с победными, грозными песнями двинулась к центру Берлина.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ГЕРМАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ГЕРМАНСКАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ

I

Время, когда Либкнехт отсутствовал, произвело глубокие перемены в немецком народе и сделало его независимым в своих симпатиях и антипатиях. Либкнехт почувствовал это с первых минут своего возвращения. По пути с вокзала, выйдя из машины,— сначала на Потсдамской площади, а потом вблизи советского посольства — он выступал перед демонстрантами. Его призывы: «Долой правительство!», «Да здравствует революция!», «Ура России!» — воспринимались с энтузиазмом. Затихшая толпа слушала с огромным вниманием, и Либкнехт, выступая впервые после такого долгого перерыва, испытывал сверхмыслимое напряжение.

Оно не покинуло его и дома. Обращаясь к Соне, к детям, он даже в этой бесконечно милой ему среде был охвачен ощущением того, что касалось всех, всего мира.

На следующий день Либкнехт был приглашен па прием, устроенный в его честь советским посольством. Меньше всего это была дипломатическая вежливость,— вернее, проявление близости, братства, единства.

— Ты пойдешь со мной, Сонюшка?

— А удобно ли?

— Провести вечер почти на родине, со своими — что может быть естественнее?!

— Но в чем я пойду? — забеспокоилась она. — Ничего у меня нет подходящего, все старое, износилось!

— Разве там с этим считаются?! — с укором заметил он.

Будь на свободе Роза, они пошли бы, конечно, вместе. Он живо вообразил, как они втроем входят в посольский особняк. Но Розу еще держали под замком; предстояли энергичные хлопоты, чтобы вызволить и ее из тюрьмы.

Вообще многое перемешалось и стало еще более противоречивым. Народ, требовавший его освобождения, добился своего, а у власти остались, в сущности, те, кто два с лишним года назад засадил его в тюрьму. Шейдеман и Бауэр в роли министров прикрывали своим участием в кабинете заведомый обман. Вчерашняя демонстрация способна была окрылить, если бы по-прежнему не царило в столице военное положение.

Соня старалась придать себе светский вид, который казался ей необходимым.

— Но, боже мой, ты забываешь *куда* мы идем: ведь это почти то же самое, что на собрание или в рабочий ферайн, только радостнее и торжественнее.

— А если там будут иностранные представители?

— Поверь, там, куда пригласили твоего мужа, будут только друзья.

Ради такого из ряда вон выходящего случая они даже машину наняли. Либкнехт сидел в машине прямой, подтянутый и задумчиво рассматривал берлинские улицы: что таят они в себе?

Сегодня город выглядел буднично: ни шествий, ни митингов, ни демонстраций. То, что произошло вчера у Ангальтского вокзала, словно потонуло в повседневной нелегкой жизни.

И, только увидев перед собой широкую мраморную лестницу, свое и Сонино отражение в большом стенном зеркале, Либкнехт вновь осознал потрясающую необычность происходящего. Четыре года подряд он боролся за

дружбу с русскими, за прекращение бессмысленного братоубийства, и социал-демократы называли его отступником и изменником. А сейчас он и жена — желанные гости тех, кого еще недавно страна клеймила. И это не будет считаться ни отступничеством, ни изменой, а явится, наоборот, жестом высшего дружелюбия. Но на размышления не оставалось времени.

Сначала швейцар, похожий на всех швейцаров мира и вместе с тем ни на кого не похожий, сказал ему:

— Как тут вас ожидают, товарищ Либкнехт, даже описать вам этого не могу!

Либкнехт стал жать ему руку, а Соня повторяла:

— Приятно слышать родную речь, она для меня как музыка!

Швейцар хотел принять у прибывших пальто, а они сами старались повесить свои пальто на вешалку. По лестнице бежали сюда молодые люди и две девушки, и все заключили Либкнехта и Соню в объятия. Затем посол Иоффе, протянув к нему руки, произнес:

— Товарищ, дорогой наш товарищ! Если бы вы только могли представить себе, какой это для нас день: вы на свободе, и вы наш гость!

Как ни растрогала Либкнехта встреча, но, когда оп поднялся наверх и среди собравшихся обнаружил старого своего друга — Меринга, это взволновало его едва ли не больше. Шагнув к нему, Меринг полез в карман за носовым платком. Он попробовал было совладать с собой: похлопал Либкнехта по плечу, потряс руку, но не выдержал и чуть не расплакался.

Все, кто стоял близко, в почтительном молчании наблюдали сцену, от которой сжималось сердце.

В большом зале горели все люстры. От яркого освещения Либкнехт совершенно отвык. Накрытый белой скатертью неправдоподобно длинный стол, уставленный блюдами и бокалами, был так необычен и наряден.

Неправдоподобным выглядело все. Пролетарская, изнывающая от лишений страна устраивает прием в его честь! Окруженный множеством русских, Либкнехт чувствовал себя больше самим собой, чем все долгие предыдущие годы.

Впрочем, и немцев было достаточно — друзей, знакомых, радикальных левых. И это происходило в стране, которою продолжал править кайзер и которая не вышла еще из войны!

Возле него снова оказался посол Иоффе.

— Мы получили для вас телеграмму из Москвы. Вас приветствует ЦК РКП(б).

— Она при вас? — живо спросил Либкнехт. — Дайте взглянуть на нее!

— Э-э, нет! Сядем за стол, тогда и оглашу.

С особенной остротой ощутил вдруг Либкнехт, какая ответственность лежит на нем перед историей и перед народами мира.

В потоке дружеских слов, несшихся отовсюду, он снова услышал голос Меринга. Старый друг положил руку ему на плечо и незаметно указал на Соню, беседовавшую с группой гостей. Она держалась с милой естественностью и казалась воплощением жизнерадостности.

— Твое возвращение сотворило с ней чудо. Только вспомнить, какою она была без тебя!

И правда, она выглядела особенно привлекательной в эту минуту: глаза сияли, в них светились уверенность, спокойствие и торжество.

— И почти то же самое ты сделал с нами,— добавил Меринг. — Говорю тебе, Карл, от самого сердца: ты нам совершенно необходим!

— Но при мысли о том, что нам предстоит, я сгибаюсь уже под тяжестью дел.

— Ведь именно к этому ты стремился в заточении!

— Только бы хватило меня на все! — В его глазах мелькнула такая неуемная страсть, решимость и непреклонность, что вряд ли можно было в нем усомниться.

Взяв под руку Соню, Либкнехт направился вместе со всеми к столу.

II

Совсем немного времени понадобилось, чтобы понять, куда переместился центр назревавших событий. Он был теперь не в рейхстаге и даже не столько в спартаковских группах, сильно пострадавших от преследований полиции, сколько в совете революционных старост. Многие из них, посаженные после апрельской стачки в тюрьму или отправленные на фронт, уже вернулись. Руководство рабочим движением опять перешло к ним.

Дня через три после освобождения Либкнехта появился и Вильгельм Пик, возвратившийся из Голландии. Оба были включены в состав Исполкома Рабочего совета.

Ледебур, Деймиг, Барт, Рихард Мюллер — фигуры, хорошо знакомые Либкнехту, играли сейчас в Исполкоме первую роль. Особенно выдвинулся Барт, любитель речей и эффектных поз. Руководил Исполкомом Мюллер, но Эмиль Барт вскоре сменил его. Вряд ли организации старост повезло с таким председателем.

Они относили себя к левому крылу независимых и представляли более или менее сплоченную группу, готовую выступить против имперского кабинета. Но уже в первые дни спартаковцам стало ясно, что твердой линии у старост нет.

Жестокие споры разгорелись о том, когда начать в столице восстание. Либкнехт и Пик предлагали назначить срок безотлагательно, причем самый близкий. Большинство же доказывало, что берлинские рабочие к восстанию еще не готовы.

Недостатка в громких словах не было. Особенными мастерами тут были Барт и Ледебур. Но стоило от фраз перейти к делу — к утверждению твердой даты, как все становилось расплывчатым.

В эти последние дни октября буквально каждый день был на счету. Второго ноября на заседании Исполкома появилась новая фигура — обер-лейтенант по фамилии Вальц.

Когда пришел Либкнехт, тот вытянулся по-военному и четко представился.

— Товарищ Вальц,— объяснил Барт,— сможет связать нас с военными — без них все наши разговоры беспредметны.

Внешность у обер-лейтенанта была вполне ординарная, и доверия у Либкнехта он не вызвал. Прямота, с какой Барт аттестовал его, показалась Либкнехту малоубедительной. Но за истекшие дни поводов для недоумения накопилось достаточно.

— Какой помощи вы ждете от обер-лейтенанта? — справился он.

— Минут десять еще подождем и начнем заседание,— сказал Барт.— Тогда все объясню.

Он старался удержать в своих руках ведущую роль, хотя по справедливости должен был руководить тут Либкнехт.

Дело происходило в школьном помещении, которое независимые арендовали для вечерних курсов. Либкнехт сел на скамью и закурил. В эти дни он курил особенно много.

Вскоре собрались все, и заседание было открыто. Барт снова представил Вальца и сообщил, что обер-лейтенант командует саперной ротой и готов передать ее в распоряжение Исполкома; кроме того, у него разработана схема восстания, и он мог бы связать старост с частями берлинского гарнизона.

Барт самодовольно посмотрел на спартаковцев: те только и делали до сих пор, что нападали, а ведь самое-то важное начинается только теперь, и инициатива принадлежит не им, а ему.

— Как видите,— подытожил он,— предложение товарища Вальца ставит перед нами ряд новых задач. Поэтому опять говорить о сроках, как этого требуют спартаковцы, было бы неразумно.

— Наоборот,— возразил Либкнехт,— раз вы рассчитываете на содействие частей гарнизона, тем более надо торопиться с началом. Командование может все перехватить и раздавит движение в самом начале.

Вновь разгорелись споры. Пик поддержал Либкнехта. Мюллер стал доказывать, что нужна более тщательная подготовка. Ледебур утверждал, наоборот, что время приспело и тянуть больше нельзя. Глубокой ночью Барт поставил на голосование вопрос о сроке, на котором настаивал Либкнехт. За него проголосовало меньшинство.

Домой Либкнехт возвращался глубоко неудовлетворенный. То, что и самая энергичная группа, старосты, не обладает нужной решимостью, удручало до предела.

Он шел один. Пик повернул в другую сторону. Берлин спал, и какой-то мрачный отпечаток лежал на облике ночного города.

За короткий срок Либкнехт, общаясь с рабочими, пришел к выводу, что они готовы выступить более решительно, чем руководители, но все же тяготеют больше к независимым. Спартаковские группы не стали той притягательной силой, за которой последуют массы. Многое, очень многое упущено за время, что он сидел в крепости. Тем более нужны быстрые, энергичные действия.

Он так мечтал вернуться к семье, к близким, а едва ли провел за эти дни несколько часов с ними. Опять мужественной Соне приходилось нести на себе одной все бремя забот.

Либкнехт шел по ночным улицам. Шаги, гулкие и словно чужие, подчеркивали лишь отчужденность города, который затаился и думал что-то свое.

Как получилось, что семья, такая желанная, когда он был в тюрьме, сулившая ему счастье, отошла в эти дни на десятый план, Либкнехт не мог себе объяснить. Он понимал лишь, что делить себя не умеет и весь без остатка принадлежит восстанию, которое не началось, но должно начаться во что бы ни стало. Должно начаться! — повторял он себе.

На следующий день все возобновилось опять. Прибавилось лишь еще одно обстоятельство: Ледебур привел на заседание Исполкома матроса из Киля. Невысокий, крепко сколоченный, дышащий энергией, тот внес в обсуждение совсем иную струю — не оглядки и осторожности, а решимости и непреклонной веры. Матрос поведал о восстании, вспыхнувшем на флоте. Оно охватило большинство кораблей, стоявших на рейде. Всюду подняты красные флаги.

Горячность, с которой матрос докладывал, подействовала даже на Барта, который еще вчера защищал умеренность.

— Вот теперь-то и надо приняться за подготовку как следует!

— Так назначим точную дату восстания! — потребовал Либкнехт.

— Ваше вчерашнее предложение не прошло,— напомнил Барт.

— Вы видите сами — все переменилось, потому мы и ставим вопрос снова.

Споры не привели бы ни к чему и на этот раз. Но тут еще одно событие произошло: стало известно, что Вальц арестован и на допросе раскрыл планы восстания. Позиция Либкнехта и Пика усилилась; они опять стали доказывать, что, если запоздать, правительство примет свои контрмеры.

Пик предложил начать восстание в ночь на девятое. Хотя настроение старост переменилось, все же Барт и Мюллер стали возражать в один голос.

— Так близко?! Нет, невозможно! Это равносильно тому, чтобы все провалить своими руками!

Ожесточенные споры возобновились. Перешагнуть опасный рубеж старосты не решались, и, сколько Либкнехт и Пик ни склоняли их к тому, что пора перейти наконец к делу, вопрос с места так и не сдвинулся.

III

Придя в свой служебный кабинет, статс-секретарь Шейдеман нашел записку, оставленную ночным дежурным на его столе. Из нее он узнал о мятеже в Киле.

Моряки восставали и в прошлом году, но тогда удалось раздавить движение в зародыше; вожаки того мятежа были расстреляны. На этот раз, судя по тону записки, все выглядело гораздо серьезнее.

Началось с того, что командование ввиду близкой капитуляции решило показать всему миру, что сдаче в плен немецкие моряки предпочтут гибель в открытом бою. Был отдан приказ развести на судах третьей эскадры котлы и готовиться к выходу в море. Этот бой с англичанами, заведомо обреченный, должен был потрясти всех и продемонстрировать воинский дух и мужество немцев.

Но участвовать в безнадежной акции матросы отказались и разводить котлы не стали. В ответ зачинщики были все арестованы и отправлены на берег в тюрьму.

Тогда тысячи моряков, покинув свои корабли, двинулись освобождать товарищей. К ним присоединились солдаты местного гарнизона и рабочие верфей. По пути они захватывали всех встречавшихся офицеров, взяли даже командующего флотом принца Генриха.

Шейдеман тут же передал все Эберту по телефону.

— Мы не имеем права, Фридрих, издали наблюдать за происходящим; необходимо отправить туда своего человека.

— Кого, например? — спросил Эберт.

— Решительного и твердого, который сумел бы взять толпу в свои руки.

— Но его могут до того времени растерзать. Это же чернь, взбунтовавшаяся чернь!

— Фридрих, сейчас не время пугать друг друга, так я считаю,— заметил Шейдеман.

Ответа не последовало.

— Так что же ты предлагаешь? — подождав, спросил Шейдеман.

— Господи, надо подумать сначала! Не могу же я сказать тебе: поезжай ты!

— Так же, как и я не могу предложить тебе этого по вполне понятным причинам.

— Да, нам надо быть здесь,— согласился Эберт.

— Вообще говоря, я бы охотно поехал...

— Но разговор совсем не о том. Просто ты торопишь меня, а мне надо подумать.

На этот раз Шейдеман не стал его торопить; слыша грузное дыхание на другом конце провода, он терпеливо ждал.

— Густава можно было бы, если бы не его любовь к крайностям,— выговорил наконец Эберт.

— Я тоже о нем подумал, но и у меня те же опасения.

— Нет, другого никого не вижу. Его решительность там пригодится.

— Значит, согласовано — он? Переговорю еще с канцлером.

Условились встретиться через час в рейхстаге, в помещении фракции. Придя туда, Шейдеман застал Эберта и Густава Носке. Тем временем стало известно, что офи-

церы в Киле совершенно деморализованы и не оказывают матросам сопротивления.

— Я полагаю, Густав,— начал Шейдеман,— что Фридрих все тебе уже рассказал? Вот почитай некоторые новые донесения. — И протянул скрепленные сшивателем листы.

Пока Носке, сев у окна, читал, Шейдеман критически разглядывал его: сутул и неуклюж, и эти очки в стальной оправе... фигура не очень-то подходящая; но он все же кряжистый, и желваки, смотрите-ка, играют на лице с диковатой энергией.

— Какое впечатление производят на тебя материалы, Густав?

Носке оторвался от них неохотно, глаза его блеснули зловеще:

— Картина более или менее ясная...

— И довольно мрачная?

Эберт решил не вмешиваться в разговор; сидя за столом, он перекатывал рукой пресс-папье.

— Не мрачнее, чем все остальное,— ответил Носке.— Слишком долго вы с ангельским выражением сидели на пороховой бочке. Такие бочки рано или поздно взрываются.

Не слишком ли много чести, неприязненно подумал Шейдеман, обсуждать с Носке вопросы большой политики?

— Хотелось бы, чтобы ты правильно понял нас, Густав.

— Прости, кого это — вас?

— Фридриха и меня. Мы хотели бы отправить в Киль отнюдь не карателя, а вполне нашего человека, социал-демократа. Надо внушить матросам, что помимо террора существуют другие методы.

— У вас почему-то сложилось обо мне превратное мнение — будто я слишком прямолинеен,— запротестовал Носке.

— Да, Густав, не скрою.

— Не далее как вчера я выступал в Брауншвейге и говорил, что путь террора совсем не в духе немецкой социал-демократии.

— Тем приятнее, если так... — небрежно отозвался Шейдеман.— Словом, вот тебе наше дружеское и партийное пожелание: мы хотели бы получить из Киля вести о мирных шествиях матросов, а не о том, как строчат пулеметы.

— Пока что пожелание похоже на шараду... Надо посмотреть все на месте.

— Можно же прибрать коллектив к рукам, не идя у него на поводу!

Эберт слушал, чуть-чуть прищурясь. «Кажется, время твое проходит, Филипп,— думал он,— и на первый план пора выйти мне». Но кильская история встревожила его сильно; эту брешь в имперской политике надо было заткнуть как можно скорее.

— В общем, Густав, мы полагаемся на тебя,— вставил он.

Шейдеман подытожил:

— Итак, берешься? Задание по тебе?

— Следовало бы вам знать,— с укором произнес Носке,— что я не из тех, кто уклоняется.

— Именно на это мы и рассчитывали.

Многого он от миссии Носке не ждал, но какой-то шаг с их стороны был необходим. А кабинет примет свои меры тоже. В политике на одну карту не ставят. Посмотрим, что из этого выйдет. Кильские события, подобно масляному пятну, грозят расползтись по стране, ухудшая и без того сложную обстановку.

Сведения, поступившие за день, были неутешительны: матросы создали в Киле свой Совет и хозяйничают в городе; делегаты их направились во все города и порты побережья. И вот восстания вспыхнули уже в Любике и Брупсбюттеле...

Несколько раз канцлер справлялся у Шейдемана, нет ли сведений от их посланца. На статс-секретаря Гаусмана, тоже направленного в Киль, канцлер не очень рассчитывал. Вообще, он все больше искал поддержки социалистов, хотя в последние дни те держались замкнуто.

— Боюсь, не придется ли нам просить о помощи ставку,— заметил принц Баденский. — Это было бы пежелательно; думаю, в равной степени и для вас.

Шейдеман посоветовал подождать еще.

День не принес ничего, кроме вести о том, что восстание моряков охватило новые города побережья.

Шейдеман поздно вечером собирался покинуть свой кабинет, когда раздался звонок и телефонистка сказала, что соединяет его с Килем.

Слышимость была неважная, однако характерные хриплые нотки в голосе Носке он уловил тотчас же.

— Да, да, слушаю... Да, я... Можешь ли ты нас порадовать чем-нибудь?

— Новости неплохие, я бы сказал.

С души Шейдемана как будто камень упал. Он произнес энергично и как можно более отчетливо:

— Слушаю тебя, Густав, со всем вниманием!

— Я у них председатель их солдатско-матросского Совета.

— О-о, для начала неплохо; в самом деле неплохо.

— В ближайшие дни на собрании флотских и солдатских Советов будет предложено избрать меня губернатором.

— Как? — переспросил Шейдеман. — Я не совсем тебя понял...

— Ну господи, губернатором, ответственным за военное положение в области: генерал-губернатором!

— Густав, я тебя поздравляю: ты шагаешь в гору!

— Передай Фридриху, что дело более или менее верное — они у меня в руках.

— Браво, Густав, браво! — высоким голосом произнес Шейдеман.

В кабинете воцарилась какая-то странная тишина. Шейдеман крутил телефонный шнур, спрашивая себя, в какую сторону повернутся события. Движение, которое распространяется со скоростью ветра, можно, кажется, еще обуздать, взять в свои руки, направить по нужному курсу. Этот недалекий Носке дал им хороший урок конкретной политики.

IV

Между тем старосты все еще совещались. Встречи происходили то в облюбованной ими пивной на Йостиштрассе, то в помещении рабочей школы, то в бюро независимых на Шиффбауэрдамм. Гаазе, ездивший в Киль, вернулся, воодушевленный событиями, полный громких и радостных слов: движение охватило все побережье, перекинулось на запад и неудержимо приближается к столице. Надо включиться, не теряя времени.

Но, заявив себя чуть ли не сторонником Либкнехта, он добавил, что действовать наобум, без тщательной подготовки нельзя.

— Так же невозможно, товарищи! — воскликнул Либкнехт. — Мы говорим, говорим, а как доходит до назначения срока, все пасуют!

— Но, по словам представителей, многие предприятия, все еще не готовы,— заявил Мюллер.

— У меня другие сведения: я был на восьми предприятиях только за последние два дня, и товарищи из нашей группы уверяют в один голос: как только команда будет дана, все поднимутся, как один человек.

После очередного долгого обсуждения один из старост предложил: одиннадцатое ноября, понедельник.

— Нет, это поздно,— сказал Либкнехт. — Мы предлагаем восьмое, пятницу.

— Стоит ли нарушать единство из-за двух лишних дней? — заметил примирительно Гаазе. — Ведь надо как следует подготовиться.

— А я скажу так: в вашем упорстве есть постыдная осмотрительность. Революции так не делаются! Мало вам приказов, запрещения собраний?! Мы дождемся того, что осадное положение будет введено снова. Шейдемановцы вкупе с канцлером пойдут на все, лишь бы раздавить движение. А у вас тут скрупулезность, все взвешивается на аптечных весах!

Но поддержки у независимых Либкнехт не встретил. Даже более решительный Дитман присоединился к Гаазе и стал отговаривать от слишком близкого срока. Независимые и на этот раз добились своего.

В каждом таком столкновении чувствовалось, что у них своя линия и какая-то своя оглядка.

Собрание так ничем и не закончилось. Собираясь уходить, Либкнехт, до крайности возмущенный, спросил:

— А на митинг, уважаемые коллеги, вы пойдете?

— Погодите, какой еще митинг?! Чему он посвящен?

— Неужто так-таки ничего не знаете?! Просто не верится. Бесстыдство шейдемановцев привело к тому, что из Берлина выдворили советское посольство. И мы, организаторы революции, промолчим?! Не швырнем наше презрение в лицо этим господам?!

На минуту в помещении стало тихо. Гаазе взял на себя труд разъяснить позицию независимых:

— По нашему мнению, все силы должны быть направлены теперь на одно. Не надо осложнять основную задачу другой, побочной.

— Отношение к русской революции — побочный вопрос?! И партия, называющая себя революционной, позволяет себе устраниться и не протестует против мерзости шейдемановцев?! Это, товарищи, гадко, я принужден заявить со всей прямотой!

Гаазе постарался сохранить самообладание, хотя и был сильно задет.

— Вы мастер, товарищ Либкнехт, кидать всем грозные обличения. Отвечать вам тем же я не намерен.

Перед борцом, который сидел в крепости и стал знаменем масс, он якобы готов был снять шляпу. Другое дело — непосредственный противник и страстный полемист: все, что Гаазе имел прежде против него, ожило с новой силой.

Два представителя «Спартака» — Либкнехт и Пик поднялись и, не прощаясь, ушли. Гаазе укоризненно посмотрел им вслед:

— В таком тоне решать дела исторической важности...

Сказано это было в расчете на старост и должно было послужить им примером выдержки.

Событиям угодно было повернуть в сторону, не предусмотренную Гаазе и теми, кто оттягивал сроки и колебался. Когда члены Исполкома на следующий день направились на очередное заседание (в рейхстаге, в целях лучшей маскировки), депутат Деймиг был задержан на улице. Спутнице его удалось ускользнуть от полиции. Она прибежала в комнату фракции с потрясающей вестью: портфель Деймига со всеми бумагами, которые в нем находились, попал в руки полиции. Стало быть, план восстания, детали его, сроки — все окажется у военных властей. Так как ни Ледебур, ни Либкнехт пока не пришли, возникло опасение, не схвачены ли они тоже.

— Подождем еще минут десять — пятнадцать,— предложил Барт. — Если не придут, придется начать работу без них.

Но они все же пришли. Их встретили так, точно они появились после долгого заключения. Вчерашнее было забыто, и Барт с новым приливом энергии повел заседание.

— Ситуация, товарищи, изменилась, признаем честно. Не следует ли подумать все же о новой дате восстания?

— Девятое ноября! — с неумолимой твердостью произнес Либкнехт. — Иначе, смею уверить вас, революция придет в Берлин извне, из других городов, объятых восстанием.

После короткой паузы Барт заявил:

— Лично я возражений больше не имею. А фракция независимых? Я думаю, согласимся с датой?

На этот раз предложение Либкнехта прошло. Решено было обратиться к пролетариям Берлина с воззванием — призвать их выйти на улицы завтра, девятого ноября.

— Наконец-то! — шумно вздохнул Либкнехт. — Благодарение всем богам!

Принялись распределять, кому возглавить завтра борьбу за дворец, за вокзалы, телеграф, газетные типографии...

Комитет из десяти человек, в который вошли Ледебур, Гаазе, Барт и, разумеется, Либкнехт и Пик, принялся составлять обращение к берлинским рабочим.

Либкнехт отозвал в сторону Пика:

— Вильгельм, нам надо свою листовку выпустить, от «Спартака». И отпечатать ночью, чего бы это ни стоило. Придя в цех, рабочий получит ее наряду с воззванием старост. Как? Справимся?

— У меня в типографии «Форвертса» свои люди. Они сделают.

— Значит, берешь на себя?

— Да. Только давай вместе составим нашу листовку.

V

Еще до начала восстания в Берлине произошло событие, казалось бы, меньшего значения. Во всяком случае, организатор его предпочел бы, чтобы оно осталось никем не замеченным.

С первых же дней, как на Унтер-ден-Линден появилось советское посольство, ставка сообщила правительству, что, если этот очаг инфекции не будет изолирован от населения, она ни за что не поручится.

Говоря по правде, Шейдеман думал о посольстве почти то же самое. Холодно-корректная вежливость его не в силах была скрыть убеждения, что от большевиков Германии может быть один лишь вред.

Кабинет Макса Баденского находился в сложном положении. На плечи его легла масса важнейших вопросов — не только о мире, но и о судьбе династии.

Позицию социалистов в этом щекотливом вопросе канцлер имел уже случай уточнить.

Это было еще в октябре. На послание — вернее, мольбу о мире,— направленное президенту США, поступило несколько ответных нот: Вильсон потребовал освобождения захваченных территорий, прекращения подводной войны и, наконец, дал понять, что пребывание Вильгельма у власти помешает любым попыткам заключить мир.

Вызывая Шейдемана и Эберта на откровенный разговор, канцлер сказал:

— Вы видите, господа, с какой быстротой развиваются события. Можно ли в этих условиях спасти существующую форму правления в стране? Ваше мнение для меня чрезвычайно важно.

Шейдеман для начала ответил:

— Что наши взгляды предполагают в конечном счете демократическую республику, это вы, ваше высочество, знаете. Но подгонять историю мы не склонны.

Эберт стоял сумрачный, упершись ладонями в стол. Он не был сторонником откровенности везде и всегда. Но эти дни требовали более прямых и, стало быть, откровенных действий. Не пришел ли час заявить о себе в полный голос? Даже Шейдемана он в глубине души считал всего лишь временной и неполноценной заменой себе.

Уклончивость Шейдемана показалась ему на этот раз вредной. Уж если разговаривать, то напрямик — слишком острое положение сложилось.

И он сказал:

— При том же образе мыслей, что и у моего коллеги, я ничего не имел бы против кайзера, не наделай он уймы глупостей. Он сделал все, чтобы подорвать престиж царствующего дома.

Как ему ни жаль, заметил принц Баденский, но это в общем так.

— Нужно подумать вот о чем,— продолжал Эберт.— Не подобрать ли кого-либо из его сыновей? Или даже внуков — с тем, чтобы до совершеннолетия назначить регента?

— Да? Вы полагаете? — произнес канцлер.

— На пороге глубоких демократических преобразований все обязаны помнить об опасности слева.

— Но стоит только снять ограничения, к которым народ приучен всем ходом истории, как страна впадет именно в крайности. И потом...— принц Баденский, этот изысканный немец, немного на английский манер, оглянулся, чтобы убедиться, что никого, кроме них, в кабинете нет,— присутствие в Берлине противника сейчас особенно вредно. Пускай по своей материальной мощи он не представляет опасности, но его коварство и искушенность меня немного страшат.

Шейдеман прикинулся непонимающим:

— Кого вы имеете в виду, ваше высочество?

— Представителей страны, с которой нам пришлось восстановить нормальные отношения.

— Гм, да... Это не лучшее, что мы имеем сейчас в Берлине.

— Красный флаг над их зданием провоцирует жителей самим своим видом и несомненно действует на некоторых возбуждающе.

Последовала пауза. Затем Шейдеман с какой-то блуждающей, рассеянной улыбкой заметил:

— Вообще-то избавиться от них можно было бы...

— Если есть такой способ, научите меня, прошу вас. Я в этих делах не особенно искушен.

Чуть-чуть снисходительно Шейдеман пояснил:

— В большой политике, когда решаются судьбы страны, способ, который я вижу, кажется мне вполне допустимым.

— Так подскажите его, вы очень меня обяжете.— Канцлер пригласил собеседников сесть — до этой минуты разговор велся как бы на ходу, в непринужденной манере — и сел сам.

Опустившись в кресло, Эберт настороженно обратился к Шейдеману:

— Что ты имеешь в виду, Филипп?

— Как тебе сказать...— Из вежливости он обратился к канцлеру.— Противник, о котором идет речь, в своем стремлении разложить немцев не остановится ни перед чем, это ясно. О возможных его каверзах речь шла не раз.

— Но нельзя ему отказать в искусности: ничего открытого, явного органам наблюдения установить пока не удалось.

— Иной раз приходится кое в чем помочь органам,— пояснил Шейдеман с едва уловимым оттенком превосходства.— Ускорить то, что само по себе потребует больше времени.

Эберт пытливо смотрел на коллегу: такая прямота в присутствии представителя династии, человека так называемой голубой крови, даже его озадачила. Впрочем, пускай: пускай Шейдеман немного себя замарает — это ему, Эберту, на руку.

— Я, кажется, понял тебя, Филипп.

— И я вас понимаю как будто,— заметил канцлер.

— Да тут, собственно, все очень просто и довольно обычно в механике управления.

Принц подумал с оттенком брезгливости, что этот социалист именно на него готов возложить столь неблаговидную роль. Но не время думать теперь о том, как делить ответственность.

— Надо будет посоветоваться со сведущими людьми... Во всяком случае, ваша поддержка в таком щекотливом вопросе для меня очень ценна.

Четвертого ноября на Силезском вокзале ящик, доставленный из Москвы в качестве дипломатической почты посольства, выскользнул из рук носильщиков и, упав на перрон, раскололся. Содержимое выпало, его пришлось собирать. И вот будто бы в ящике оказалось множество враждебных листовок, направленных против германской имперской системы.

Так был сфабрикован факт вмешательства большевистского государства в дела страны, заключившей с ним мир.

Статс-секретарь по иностранным делам пригласил к себе посла Москвы и строго объявил, что Германия ввиду такой явной вылазки Советов вынуждена принять самые срочные меры.

— Вскрывать дипломатическую почту власти имели право только в присутствии нашего представителя! — возразил посол.

— Когда содержимое рассыпалось, ветром стало относить листовки в разные стороны. Можно ли было ждать вашего представителя? Притом вам беспрерывно звонили, имеются официальные донесения.

— В посольстве у телефона бессменно дежурит сотрудник.

— Тем не менее никто не соблаговолил откликнуться на звонки.

— Это заставляет, господин статс-секретарь, усомниться в подлинности самого факта. Согласитесь, при вскрытии ящика в отсутствие нашего представителя могли иметь место случайности провокационного свойства.

Статс-секретарь сухо ответил, что это он полностью исключает.

— А так называемые листовки — можете вы предъявить их мне?

— Вот именно, господин посол!

Взглянув на них, посол без труда установил, что имеет дело с грубой фальшивкой.

— Топорная работа, господин статс-секретарь. Ничего подобного на нашей территории не могло быть напечатано. Доказать нетрудно.

— Тем не менее это так, и я вынужден заявить вам самый энергичный протест. Имперское правительство должно будет предпринять ответные меры.

— Ваш протест построен на очевидной провокации, я не могу его принять!

Но дело было сделано. Назавтра чуть свет к зданию посольства подъехало несколько машин; сотрудники были отвезены, против их воли, на вокзал и усажены в вагон, который должен был доставить их до советской границы.

Через два дня, выступая с докладом в Москве, В. И. Ленин вскрыл корни берлинской провокации: «Если Германия вытурила нашего посла из Германии, то она действовала, если не по прямому соглашению с англо-французской политикой, то желая им услужить, чтобы они были к ней великодушны. Мы, мол, тоже выполняем обязанности палача по отношению к большевикам, вашим врагам».

Такова была подоплека эпизода, идею которого подсказал Филипп Шейдеман.

VI

Успех Носке в Киле поразил канцлера и показался ему многообещающим. Он еще больше уверовал в социал-демократов.

Шестого ноября Макс Баденский устроил у себя в резиденции совершенно секретную встречу с представителем ставки: преемник Людендорфа, вынужденного после провала всех своих наступательных планов уйти в отставку, генерал-квартирмейстер Гренер и социал-демократические лидеры должны были обговорить судьбу режима.

Не столь блестящий, как его предшественник, но достаточно искушенный, Гренер при виде входящих прищурился: старые знакомые, с их коллегами он встречался уже; когорта довольно алчная; получив немногое, требуют большего; выторговав еще что-нибудь, пытаются вымогать совсем уж много.

Канцлер представил ему вошедших.

— Итак, господа, приступим? Тему нашей беседы можно, я думаю, не обозначать: она связана со всем положением страны. Может, для начала, ваше высокопревосходительство, вы? — канцлер вопросительно посмотрел на генерала.

Ни один мускул не дрогнул на лице Гренера: ответственность за то, что затеяно, нес канцлер один.

— Тогда я позволю себе уточнить: речь идет о судьбе династии. Я намеренно пригласил представителей двух противоположных точек зрения, чтобы попытаться сблизить их и свести, если можно, к одной.

Шейдеман сидел позади Эберта, немного прикрытый его грузной фигурой: наблюдать отсюда было удобнее. Гренер ведет себя так, будто в стране ничего не произошло. Это что — игра? Запрос? Желание продать подороже свои уступки?

— Итак, господа,— продолжал Макс Баденский,— что

надо сделать, чтобы спасти режим, трон, основы нашей жизни?

Гренер промолчал и на этот раз. Тогда канцлер обратился к социалистам:

— Вопрос, с которым я к вам адресуюсь, подготовлен отчасти нашими предыдущими разговорами. Но сейчас он звучит особенно остро. Перед страной два варианта: восточный, большевизации, то есть распада государственности, и западный, гораздо более для нас органичный. Перед страной, потерпевшей поражение — причин мы тут касаться не будем,— но духовно не сломленной, стоит задача огромной важности: доказать в час таких испытаний свою стойкость... Так вот, господа, возможность большевизации Германии вы в своих планах в расчет принимаете или же исключаете полностью?

Такая постановка вопроса вызвала недоумение Гренера. При словах «восточный» и «большевизация» он высоко поднял брови и достал монокль из бокового кармашика.

Эберт оглянулся на Шейдемана, тот продолжал молчать.

— В таком случае, я.

В последние дни, когда на карту было поставлено все, Эберт особенно ощутил важность шагов, которые намерен был предпринять — именно он, а не кто другой. Речь шла о месте, какое ему уготовила история.

— Вы, господин канцлер, заговорили о так называемой большевистской революции,— начал он торжественно и немного угрожающе.— Могу сказать определенно: я ее отвергаю! Я ненавижу ее, как грех, как распутство, как форму социального падения в бездну. Именно так я о ней думаю и заявляю об этом со всей решимостью.

Гренер опустил брови, но монокля из глаз не вынул. Он пристально изучал Эберта, как будто решив выставить ему в некоей тайной ведомости балл.

Канцлер удовлетворенно кивнул и обратился к Шейдеману:

— Не согласитесь ли вы определить свою позицию с такой же ясностью?

— У нас с коллегой Эбертом и другими коллегами,— взгляд был брошен в их сторону,— расхождений в данном вопросе нет. Я определил бы нашу позицию так: при определенных условиях наша партия готова позаботиться о том, чтобы спасти страну от большевизма.

Только тут Гренер подал свой голос:

— Каковы ваши условия? — Он вынул монокль; во взгляде мелькнуло недоверие к тем, с кем по необходимости приходится заседать.

— Немедленное, потому что каждый час ухудшает обстановку, отречение кайзера. Его игра проиграна окончательно, ни один здравомыслящий политик не взял бы на себя труд защищать его трон.

— Да,— подтвердил Эберт.— Категорическое наше условие!

— Так... — сухо отозвался Гренер и перевел взгляд на Шейдемапа. — И в этом случае, господа?..

— В этом случае можно попытаться спасти установившуюся в стране систему широко представительного, ответственного перед рейхстагом правительства с сохранением конституционной власти монарха.

— Вы не прочь, выходит, предложить немцам английский вариант?

— Ну что же, если нужны аналогии... Хотя, по нашему убеждению, особенности германского общества были бы сохранены.

Максу Баденскому начинало казаться, что сближение возможно. Ведь и он считал тоже, что для спасения династии придется Вильгельмом пожертвовать.

— А вы, ваше высокопревосходительство, как смотрите на это? — обратился он к Гренеру.

Словно бы из его сознания ушло, что генерал представляет армию, которая почти развалилась. Это обстоятельство не могло ослабить того, что собирался произнести Гренер.

С подобием усмешки, с оттенком иронии над самим собой, но при полном самоуважении генерал сказал:

— Мою точку зрения нетрудно предугадать: я монархист, и было бы странно, если бы я попытался скрыть от вас это.

— Но как раз во имя спасения монархии организована наша встреча! — с живостью вставил канцлер.

Гренер только покосился на него: принц крови, он в поисках унизительных компромиссов так уронил себя, что больше не заслуживал уважения.

— К тому, что сказано мною, надо прибавить еще вот что: я не только монархист, но и убежденный поклонник его величества, нашего кайзера. И потому даже сейчас не считаю себя вправе давать оценку его деятельности. Мы иногда смешиваем роковые сдвиги истории с ролью той или иной фигуры. Сколь бы выдающейся личность ни была, мощные исторические сдвиги не всегда поддаются ее воздействию. Проходит известное время, справедливость восстанавливается, и значение крупной личности уясняется потомками.

Канцлер, смотревший во время этой тирады на Гренера с неотрывным вниманием, поневоле притушил взгляд. Больше всего хотелось ему сблизить позиции, но Гренер, увы, не сумел понять, что в эти часы решается все. Огорчаться приходилось тем более, что социалисты заявили себя поборниками династии.

Дальнейшее уже не могло повлиять на встречу. Было ясно, что другой точки зрения Гренер не предложит. Выбора не осталось.

Обменявшись несколькими вежливыми фразами, участники встречи разошлись.

Уже на Вильгельмштрассе Эберт в сердцах сказал Шейдеману:

— Наименьшее из зол было ему предложено, а он не понял! Олух! Пускай пеняет теперь на себя!

Немного позже Гренер сам имел мужество признать, что во время той встречи допустил роковую ошибку. Впрочем, канцлерскую резиденцию он покинул с одной утешительной мыслью: с этой публикой, социалистами, можно иметь дело; будучи все время начеку, но все же можно. Особенно в такие критические для страны дни.

VII

За два дня до восстания командование отдало приказ ввести в столицу свежие воинские части. Четвертый егерский полк, заслуживший репутацию дисциплинированного и послушного командирам, продефилировал по берлинским улицам и расположился в казармах в самом центре города.

Шейдемановцы тоже времени не теряли. Восьмого вечером они вызвали самых надежных своих функционеров со всех крупных заводов и стали внушать им, что долг и партийная дисциплина повелевают им охладить по возможности страсти и призвать рабочих к выдержке.

— Все решится в ближайшие день-два,— заявил Эберт.— Если наше требование, чтобы кайзер отрекся, не будет удовлетворено, тогда пускай рабочие и выйдут на улицы, поддержат нас. Но до той минуты надо ждать. И во всяком случае, без указания Форштанда выступать нельзя.

Функционеры стали доказывать, что приостановить уже ничего нельзя, все слишком возбуждены и рвутся на улицу.

— Но мы охраняем ваши же интересы,— сказал

Эберт.— Если рабочие выступят, кровопролитие неминуемо.

— Что же сделать? Обратный ход исключен...

— Тогда ваш партийный долг пойти вместе с массами и возглавить движение.

Он твердо решил никому больше не переуступать главенствующей роли. И он сознавал, что все держится на острие. Эх, бросить бы сейчас толпе отречение кайзера, заткнуть брешь, сквозь которую вот-вот хлынет народное негодование!

Девятое ноября началось спокойно. Была суббота, канун отдыха. С утра Берлин выглядел как обычно. Дворники подметали улицы, не так тщательно, как прежде, но все же подметали. Открывались магазины. По Унтер-ден-Линден прошло несколько машин с углем, машина с военным обмундированием. Затем наступила тишина выжидания. Полицейские в касках стояли на перекрестках, наряды их были заметно усилены. Кое-где на крышах были установлены пулеметы. Солдатам в казармах раздали ручные гранаты.

Между тем за ночь в казармах распространились странные веяния. Недоверие, подозрительность, желание разобраться самим в том, что происходит, просочились туда неведомыми путями.

На заводах рабочие застали разбросанные повсюду листовки: старосты призывали их организованно выйти на улицы, продемонстрировать свою готовность к борьбе; листовки спартаковцев призывали к свержению ненавистного строя.

Стало известно, что желающим раздают оружие. Его не так много, пусть берут те, кто умеет с ним обращаться.

Оружие разбирали с мрачной решимостью. Пришел наконец долгожданный час. Берлин протестовал и бурлил не раз, но сегодня вынесет свой окончательный приговор:

сметет кайзера и его правительство, покончит с войной и установит справедливый мир.

Берлин был суров, но спокоен. Он не знал, что́ его ожидает, но готов был встретить свою судьбу.

Либкнехт провел полночи в штабе восстания. Роли были распределены окончательно: кому с какой группой повстанцев идти и что занимать — дворец, ратушу, телеграф, вокзалы, полицай-президиум...

Когда все было согласовано, Либкнехт направился еще в типографию, где печатались спартаковские листовки.

Пик встретил его словами:

— Полный порядок, будут готовы к сроку.

Он стоял у наборной кассы и диктовал текст пожилому наборщику.

Лишь после того, как все было отпечатано и появились первые уполномоченные «Спартака», готовые доставить материал на заводы, только когда Пик стал укладывать отпечатанное в стопки и вручать каждому, Либкнехт счел возможным прикорнуть. Вокруг ходили, переговаривались, через стену слышно было мерное уханье печатной машины. Он вскоре забылся и, притулившись к наборной кассе, заснул.

Вскочил он, когда тусклый ноябрьский рассвет стал с трудом пробиваться сквозь высокие, пыльные и немного задымленные окна типографии. Видя, что Либкнехт старательно трет ладонью глаза, один из наборщиков сказал, что в третьей отсюда комнате есть кран с водой и можно умыться. Когда Либкнехт вернулся, двое наборщиков предложили ему по ломтику хлеба с джемом.

Маленькое это обстоятельство как-то воодушевило его. Он зашагал по пустынному городу, чувствуя за спиной дружеское участие.

Трамвай уже ходил. На остановках стояли хмурые молчаливые люди. Каждый ехал на работу, и каждый



думал, что́ предстоит Берлину сегодня, завтра. Все были полны сосредоточенной готовности.

До Шпанда́у Либкнехт прошел пешком. Ему надо было составить на ходу план действий, решить, где он выступит и что скажет, представить себе разные варианты возможного.

У ворот моторного завода собиралась колонна. Либкнехта встретили как своего. Он приходил к ним и позавчера, и еще несколько дней назад. Они хорошо знали его, и с ним было гораздо надежнее. Гуго Фриммель, организатор «Спартака» на заводе, выйдя через проходную вместе с новой группой рабочих, подошел к Либкнехту и пожал ему руку.

— Карл, так ты с нами?

— Ну конечно.

— Но не рвись вперед.

— Э-э,— отозвался беспечно Либкнехт,— там будет видно.

Тем не менее несколько надежных людей образовали как бы кольцо вокруг него, и, когда колонна минут через двадцать двинулась к центру, кольцо, ограждавшее его, то растягивалось, то сжималось теснее.

Он уже выяснил, сколько оружия в его колонне. Немного, совсем немного. Те, кто имел его, шли тоже тесной группой. Оказалось, что некоторые из них бывалые фронтовики. Среди них выделялся Феликс Кнорре. Во всем его облике чувствовался организатор, вожак коллектива. С ним-то главным образом и имел дело Либкнехт. Время от времени он нырял в глубину колонны: поговорив с одним-другим, посоветовав дать побольше патронов фронтовикам за счет тех, кто хуже владел оружием, он опять появлялся в первом ряду.

На перекрестке из смежной улицы показалась другая колонна, а за нею третья. Либкнехт поговорил с их руководителями и, выяснив, что точного маршрута у них нет,

предложил присоединиться. Так отряд разрастался мало-помалу. Подходили и рабочие-одиночки, чаще всего немолодые, с оружием.

Чем ближе к центру, тем все больше колонна растягивалась. Те, кто привык шагать в ногу ритмично, подчинили себе остальных, и шаг идущих приобрел четкость.

Вскоре внушительно и неудержимо движущаяся масса людей вытеснила мерным своим топотом прочие городские шумы. Трамвай остановился, автомобили и экипажи не могли проехать и застряли на обочинах улиц. В замолкшем городе слышен был мерный шаг рабочих колонн.

VIII

Канцлер поставил целью вырвать у ставки согласие на отречение кайзера. С утра в субботу он был уже в своей резиденции, и переговоры, начатые накануне, возобновились.

Социал-демократы заявили решительно: либо отречение, либо неминуемая революция. Вряд ли они могли бы ее отменить, но повлиять на ее развитие было еще возможно. Перед канцлером стоял пример Густава Носке.

В Форштанде засекали буквально минуты: отрекся или еще нет? Но сколько же можно ждать?! Функционерам, сообщавшим по телефону, что́ происходит на предприятиях, давалось одно задание: оттянуть выступление, передвинуть его хотя бы на два часа, если нельзя больше.

Канцлер нервничал, ожидая звонка из ставки. Накануне у него был разговор с его величеством; Макс Баденский убеждал Вильгельма настойчиво и почтительно, что иного пути для спасения династии не осталось: отречение необходимо.

— Бессмыслица и чепуха! — запальчиво произнес Вильгельм.— Вы попали под влияние враждебных сил!

Выслушав еще несколько бранных восклицаний по телефону, принц Макс вежливо переспросил:

— Да, ваше величество? А какое решение видите вы?

— То, что предлагаешь мне ты, есть сплошная бессмыслица. Народ по-прежнему верен мне. Прогони из Берлина кучку зловредных агитаторов, и порядок восстановится.

— Движением охвачены все предприятия, все слои населения...

— Значит, нужно двинуть войска против них. Завтра же поведу их на столицу сам и живо усмирю!

— Ваше величество, войска ненадежны тоже,— терпеливо возразил канцлер.— Нам остается одно — опереться на социал-демократию.

— Хорошеньких союзников ты нашел!

— Это единственная надежная сила. Если время будет упущено, рабочие перейдут на сторону самых крайних.

— Надо было расстрелять их давным-давно...— Помолчав, он спросил враждебно: — Что ты, в конце концов, предлагаешь мне?

— Нами движет стремление спасти династию. Отречение, хотя бы временное, помогло бы справиться с положением. Отречение в пользу вашего внука.

После некоторого молчания кайзер холодно произнес:

— О своем решении сообщу вам завтра.

— Благодарю вас, ваше величество.

Надежда, таким образом, появилась.

И вот утром девятого ноября принц Макс Баденский сидел в своем кабинете, ожидая ответа. Он думал, как ему поступить, если кайзер откажется.

Эберт звонил уже несколько раз. Шейдеман заходил и холодно справлялся, получено ли решение ставки.

— Жду с минуты на минуту.

— Ваше высочество, нельзя балансировать на острие

без конца,— заявил наконец Шейдеман.— Надо было это сделать вчера, позавчера! Сегодня с отречением можно уже опоздать! — И, ничего больше не сказав, вышел.

Тогда канцлер решил сам позвонить в ставку. Ему недовольно заметили, что торопить императора неуместно. Его высочеству следует запастись терпением.

Немного погодя явилась целая группа социал-демократов.

— Так-таки ничего неизвестно? До сих пор?! — с вызовом спросил Эберт.

— Увы, нет... Но акт об отречении я уже заготовил.

— Нам нужно само отречение!

— Пока его нет. Или погодите...— Канцлер наконец решился.

Но, опередив его, Эберт от имени своей партии выдвинул категорическое требование:

— Власть должна быть немедленно вручена нам. Иных способов справиться с движением мы больше не видим. Решайте, ваше высочество: да или нет?

— Но с моей стороны, господа, нет никаких возражений! — живо сказал канцлер.— Бремя власти меня тяготит, вам же она по плечу.

Эберт подавил вздох облегчения. Словно тяжелый тюк свалился с него.

— Да, но отречение, ваше высочество? Как быть с ним?

Макс Баденский встал и не без торжественности объявил:

— Я еще пользуюсь всей полнотой власти, и я объявляю вам об отречении императора Вильгельма Второго. Тою же властью, принадлежащей мне, вручаю вам, господин Эберт, всю ответственность за судьбу страны.

В глазах Эберта мелькнула подозрительность и в то же время преданность.

— Прошу вас уточнить, ваше высочество,— сказал он.

— Канцлером германской империи с настоящей минуты являетесь вы.

Полный и робости и решимости, Эберт стать уточнять дальше:

— А регент? Вплоть до созыва Национального собрания?

— Кого предлагаете вы?

— Вас, ваше высочество.

Прошла минута напряженного ожидания.

— Нет, господа, при том обороте, какой приняли события, надобность в регентстве отпадает. Власть сосредоточивается отныне в ваших руках.

— А состав правительства?

— Он будет зависеть теперь только от вас.

От напряжения у Эберта заболела левая нога, и он перенес вес тела на правую. Сообразно своему новому положению, он постарался выглядеть представительным. Пожал руку бывшему канцлеру, так легко сошедшему со сцены, и обратился к коллегам:

— Задача ясна, товарищи. Нам надо немедля сообщить населению, что кайзера больше нет и сформирована новая, истинно народная власть. Это должен понять каждый из тех, кто вышел на улицу!

IX

Колонна, во главе которой шел Либкнехт, стала очень внушительной. Беспрепятственно продвигалась она к центру города. Шпики, полиция, пулеметные расчеты на крышах безмолвствовали, почувствовав, какой размах приняло движение.

Колонна поравнялась с казармами, в которых расквартирована была пехотная часть. И тут Либкнехт дал вдруг команду остановиться.

Двое часовых охраняли вход: стояли, держа ружья

на плече, настороженные и готовые к выполнению команды. Либкнехт повернулся лицом к колонне и подал знак к тишине. По всей длине растянувшейся колонны поползло остерегающее «ш-ш-ш!».

Не всем было его видно. Тогда Фриммель сообразил использовать выступ подоконника. Либкнехту помогли взобраться туда, на всякий случай его поддержали с обеих сторон. Позади, через окошко, смотрели на улицу две перепуганные старые женщины.

А Либкнехт, освоившись с неудобным положением, обратился к колонне с призывом:

— Можем ли мы пройти спокойно мимо этих казарм? Одетые в форму, там находятся наши братья, такие же пленники капитала, как и вы. Их превратили в пушечное мясо, их кровь заливала поля Бельгии, Польши, России. Допустим ли мы, чтобы, подчинившись наглым приказам командиров, они выпустили залп в спину трудящимся, нам с вами? Товарищи, все в казармы!

Его короткое слово зажгло всех. Сминая друг друга, люди кинулись к воротам. Солдат, стоявших на посту, оттеснили. Они не успели сообразить, что им делать — сопротивляться или брататься. Через минуту в двери казарм ворвался огромный людской поток. Он хлынул в проходы, устремился по коридорам. Крики «Не стреляйте!», «Мы братья ваши!», «Мы бьемся за свободу!» заполнили помещения. Они доносились уже с верхнего этажа. На одно мгновение Фриммель, Кнорре, Либкнехт и все организаторы почувствовали себя бессильными управлять стихийным натиском. Но из ротных помещений стали уже выбегать группы солдат вместе с рабочими. У одного на руке оказалась красная повязка, добытая неизвестно где. Другой прикрепил красный лоскуток к фуражке. Его примеру последовали многие.

Мелькнуло меловое, растерянное вконец лицо офицера. Он не приказывал. Он попробовал было прислонить-

ся к стене, пропуская мимо себя плотную массу людей. Кто-то решился сорвать с него погоны. И тогда солдаты кинулись по всем помещениям, разыскивая скрывшихся офицеров.

Либкнехт понимал уже, что это — именно то, по чему сердце его тосковало в крепости; то, о чем он мечтал многие годы; что со всем жаром души пропагандировал всюду: революция! Трудно было сказать, чем она завершится, но что в Берлине она началась, было несомненно. Видя, с каким самозабвением устремились рабочие к ней, он знал одно: остановить ее уже невозможно.

Но надо было идти дальше. Либкнехт стал сзывать всех, повторяя:

— Вперед, товарищи, к нашей цели. Солдаты с нами. Нельзя задерживаться!

Прошло, однако, порядочно времени, прежде чем в колонны вернулся порядок. Ряды заметно пополнились. Правда, не все солдаты примкнули к Либкнехту, но в массе людей тут и там видны были военные с оружием, и это сделало колонну еще более внушительной.

Когда подошли к центру, он уже был заполнен огромными толпами. Призывы, флаги, плакаты с требованием мира, свержения кайзера мелькали повсюду.

Чем ближе ко дворцу, тем все большее напряжение чувствовал Либкнехт. Он отвечал за огромный отряд.

Смятение успело охватить всех, кто по долгу службы обязан был сопротивляться. Дворец, огромный и молчаливый, казался безжизненным. Охраны нигде не было. Ворота чугунного литья были закрыты. Стоявшие впереди попробовали раскачать створы; они поддались. Тогда вооруженные солдаты и группа спартаковцев с оружием навалились на ворота, и вскоре они раскрылись. Толпа хлынула к дворцу. Либкнехт, опередив бегущих, обратился к колонне с настойчивой просьбой — не врываться внутрь.

— Помните, товарищи: революция и организованность неотделимы. Возможны всякие провокации. Вместе со мной пройдет только вооруженная часть, а вас я прошу ждать. В случае необходимости мы подадим знак, и вы придете нам на помощь.

Фриммель, Кнорре и все, кто был при оружии, исчезли вместе с ним за тяжелой входной дверью. Первое время люди стояли безмолвно, вслушиваясь, не донесется ли из внутренних покоев стрельба. Но все было тихо. Раздавались отдельные голоса — надо идти всем, не оставлять же тех без поддержки. Другие возражали, что, раз главный распорядился так, значит, так оно и должно быть.

Тем временем толпа разрослась. К ней примкнули новые группы. Напряженно вглядывались в окна дворца — не появится ли кто, не махнет ли оттуда платком.

Трудно сказать, сколько времени длилось ожидание. Вдруг распахнулась балконная дверь, и большая группа людей высыпала наружу. Среди них был и Либкнехт. Они озабоченно переговаривались, как будто не замечая стоявшей внизу толпы. Потом парень в матросской куртке вскочил на перила и, ухватившись за выступ карниза, начал взбираться вверх. Взбирался умело и осторожно. Внизу затихли, ожидая, чем это кончится.

И вот он влез на крышу и быстро пошел по ней. Тогда всем стало ясно, что направляется он к императорскому флагу, развевавшемуся на флагштоке.

Подойдя вплотную к куполообразной вышке, матрос ловко взобрался наверх и сильным ударом ноги сбил флагшток вместе с флагом. Внизу с замиранием сердца наблюдали за происходящим. Тем, кто стоял на балконе, крыша не была видна; судить о том, что происходит наверху, они могли лишь по реакции других.

Вдруг дружный восторженный крик огласил площадь. Дело было сделано: над императорским дворцом взвилось красное знамя.

С балкона Карл Либкнехт обратился к берлинцам с первой программной речью:

— День свободы, товарищи, наступил. Ни один Гогенцоллерн никогда не появится больше на этом балконе. Семьдесят лет назад на этом самом месте стоял Фридрих-Вильгельм Четвертый. Он вынужден был снять шляпу перед похоронной процессией павших на баррикадах Берлина за дело свободы, перед пятьюдесятью окровавленными трупами. Сейчас перед дворцом проходит другая процессия — идут тени миллионов, положивших свою жизнь за святое дело пролетариата. С раздробленными черепами, залитые кровью, шатаясь, проходят мимо дворца тени этих жертв насильнического режима. А за ними следуют тени миллионов женщин и детей, погибших в нужде и лишениях за дело пролетариата. И новые миллионы кровавых жертв мировой войны следуют за ними.

На мгновение он приблизил к лицу вытянутую руку и поправил пенсне. Сырой ветер касался его. Либкнехт не чувствовал ни сырости, ни холода. Ему, наоборот, стало жарко, и он передал свою шляпу стоявшему рядом Кнорре.

— Сегодня, товарищи, на этом самом месте,— продолжал он, охватив жестом всю площадь, — стоит необозримая масса воодушевленных пролетариев, приветствуя новую свободу. — И с новым взрывом энергии продолжил: — Товарищи! Я провозглашаю новую свободную социалистическую германскую республику, в которой не будет больше рабов и где каждый честный рабочий найдет справедливое вознаграждение эа свой труд. Господство капитализма, превратившего Европу в кладбище, сломлено... Прежде всего мы призовем обратно наших русских братьев.

Слова эти были встречены бурным одобрением. И Либкнехт продолжил:

— Хотя старое и низвергнуто, не следует думать,

будто наша задача выполнена. Придется напрячь все силы, чтобы воздвигнуть республику рабочих и солдат и создать пролетарский строй, покоящийся на счастье — на мире, свободе и счастье наших германских братьев и наших братьев во всем мире. Мы протягиваем им руку и призываем к завершению мировой революции.

Далее, чувствуя внимание необозримой толпы, испытывая потребность включить немедленно всех в общее новое дело, Либкнехт торжественно произнес:

— Те из вас, кто хочет видеть осуществление социалистической революции в Германии и во всем мире, пусть поднимут руку и поклянутся в верности революции!

Руку подняли все до единого человека. Крики «Да здравствует республика!», «Да здравствует революция!», «Да здравствует Карл Либкнехт!» огласили площадь.

Слушая Либкнехта, все были охвачены единым чувством и устремлены к одной цели.

X

Но страна вовсе не была единой. Противоречия, раздиравшие ее, не исчезли. События обрушились на многих так неожиданно, что разобраться в них сколько-нибудь они попросту не успели.

Егеря, введенные накануне в Берлин для охраны порядка, не понимали, что же происходит в столице. После споров, которые прежде были бы невозможны в воинской части, решили послать делегатов. Делегатам поручили привести сведущего человека, который объяснил бы все толком.

Кто был теперь самым сведущим? Наверно, социал-демократы, пришли к выводу егеря́. И делегация направилась разыскивать их штаб.

Социал-демократические лидеры при виде выряженных егерей, явившихся к ним за разъяснениями, растеря-

лись было, но затем умилились. Вот как велик их авторитет в глазах масс: отборная воинская часть видит именно в них вожаков движения! Но кого к ним направить?

Переглянувшись с Эбертом, окинув взглядом всех, кто находился рядом, Шейдеман остановился на давнем своем друге Отто Вельсе.

Тоном, не предполагавшим возражений, Шейдеман сказал:

— Задача возлагается на тебя, Отто.

Подтянувшись и стараясь шагать в ногу с егерями, Отто Вельс отправился в казармы на Фридрихштрассе.

Тем временем в ожидании оратора полк построился на плацу. Увидев стройную плотную массу военных, замерших при его появлении, Вельс растерялся. Ему предложили влезть на возок.

Он окинул неспокойным взглядом солдат: лица, полные недоверия. Кто знает, чем это кончится! Стараясь нащупать, к чему проявит бо́льшую чувствительность его загадочная аудитория, Вельс заговорил: отечество в опасности, война проиграна окончательно, кайзер натворил уйму ошибок, противники используют это и ставят немцев в невозможное положение...

Немного петляя, то уклоняясь в сторону, то вновь заговаривая о самом существенном, он вскоре почувствовал, что егеря ловят каждое его слово. Тогда, повысив голос, Вельс заговорил о подъеме, который переживают немцы: новая власть готова сделать все для народа; только бы избежать междоусобицы, и жизнь снова войдет в нормальную колею...

Словом, взобравшись на возок в страхе и неуверенности, Вельс сошел с него почти триумфатором. Последние его слова были встречены общими возгласами одобрения.

В помещение «Форвертса», где обосновался штаб социал-демократов, Вельс вернулся в сопровождении

шестидесяти егерей. Они готовы были охранять тех, кто так озабочен благом народа.

Это маленькое приключение, одно из бесчисленных в тот бурный день, помогло шейдемановцам ощутить меру солдатской доверчивости. Необходимо было использовать ее как можно лучше в своих интересах.

Эберт тоже выступил перед демонстрантами. Этот вечно хмурый, короткотелый, с грушевидной головой битюг нашел в тот день рисунок своего поведения. Он почувствовал себя канцлером, высшим лицом в стране. Но он в то же время являлся председателем своей партии. Двойное, так возвышавшее его положение требовало интонаций не брюзгливых и не угодливых. Время речей, в которых он соглашался, уступал, присоединялся, выражал признательность своей партии, прошло. Началась новая полоса.

Откашлявшись, выждав ровно столько, сколько нужно было для водворения тишины, он начал низким и зычным, падавшим веско в толпу голосом:

— Сограждане и товарищи, революция свершилась! Народ восстал против чудовищных деяний режима кайзера. Народ вышел на улицы и победил!

Начало было хорошее. Толпа ждала продолжения. И, войдя в свою новую роль, Эберт продолжал:

— Граждане столицы, вы победили, и вы имеете право насладиться плодами победы. Предстоит работа неустанная и неусыпная. Но можете быть уверены, что мы, облеченные вашим доверием, сделаем все, чтобы победа осталась у вас в руках.

Так на ходу складывались новые формулы обмана и демагогии: народ пока что ничем его не облек, а он ссылался уже на его доверие; народ не знал еще, какую победу вырвал сегодня, выйдя на улицы, а ему объяснили, что теперь самое важное — повиноваться новым руководителям.

Эберт остался доволен своей речью и формулировками, которые впервые пустил в ход. Зато остался недоволен тем, как повел себя Шейдеман.

Сильно устав от дел, свалившихся на него, Шейдеман среди дня изрядно проголодался. Пройдя в столовую рейхстага, он попросил подать ему то, что полагалось честному депутату: не очень наваристого супу и каши с подливкой, имевшей слабый мясной привкус. Он доедал первое, когда с улицы ворвалась делегация: им нужен был лидер, кто-нибудь из лидеров, кто выступил бы перед толпой, запрудившей площадь перед рейхстагом.

Увидав Шейдемана, они кинулись к нему:

— Люди требуют вашего слова, вас просят выступить!

— Да, да, охотно,— сказал Шейдеман. — Только позвольте мне проглотить несколько ложек супа.

Они стояли у него над душой, пока он доедал первое. С сожалением посмотрев на кашу, Шейдеман сказал:

— Что же, пойдемте, товарищи.

Окно овального фойе рейхстага на втором этаже было распахнуто настежь. Рвануло сырым пронзительным ветром, и Шейдеман застегнул пиджак.

Внизу было полно народу, и он, златоуст, почувствовал, как ждут его слова. Ушла в прошлое полоса унижений. Люди внизу прямо жаждали услышать его.

Воодушевленный этим зрелищем, невольно обороняясь от ветра, Шейдеман начал:

— В этот радостный час, товарищи, когда надежды народа сбылись...

Они с Эбертом не сговаривались. Рефлекс налаженной мысли подсказал им сходные обороты. Демагогия и обман, приспособившись к условиям бурного дня, как бы отливались в новые формы.

Но в одном Шейдеман разошелся со своим коллегой:

как-то само собой у него это вырвалось — заканчивая речь, он вдруг провозгласил:

— Да здравствует свободная германская республика!

У него и в мыслях не было повторять формулу Либкнехта, боже избави! Просто он счел себя вправе после падения кайзера провозгласить республиканский строй.

Оказывается, Эберт, решивший, что чистоту партийных догм охраняет теперь именно он, держался иного мнения.

Когда Шейдеман вернулся в столовую, предвкушая удовольствие от несъеденного второго, к столику его подошел разъяренный Эберт. Речь Филиппа дошла до него с той скоростью, с какой сегодня распространялось все.

— И ты взял на себя смелость навязать немцам форму правления?!

— Когда?! Какую?! Что я им навязал?!

— А что ты провозгласил в своей речи?

— А-а, республику,— ответил Шейдеман спокойнее.— Что же еще, по-твоему, надо было провозгласить?

— Ты предвосхищаешь волю будущего Национального собрания?!

Мимо проходила официантка. Шейдеман, влив в свой голос елейность, спросил, нельзя ли заменить остывшее второе более горячим.

— О да,— сказала она,— я постараюсь. Вы выступали с речью, мне сказали. Я спрошу у директора разрешения.

— Вы всегда внимательны к нашему брату, благодарю вас.

— Стараемся, господин Шейдеман.

А Эберт стоял с мрачным лицом, будто исполнял роль в шиллеровской драме.

— Ничего я не предвосхищаю, Фридрих. И... — он оглянулся на всякий случай,— не валяй дурака, ты не на трибуне.

— Когда я стоял на трибуне, то знал, что́ мне надо сказать.

— Ну и, пожалуйста, говори! Ведь рейхсканцлер ты, а не я!

— Чувство ответственности должно быть у каждого! — Это он произнес спокойнее: напоминание о его ранге пришлось кстати.

От столика Шейдемана он отошел, занятый мыслями гораздо более важного свойства.

XI

Несмотря на призывы социал-демократов разойтись по домам и довериться новой власти, в столице весь день продолжались бурные демонстрации. Народ не мог упиться досыта завоеванной свободой. Тут было все: надежды на мир, на скорое возвращение солдат-кормильцев, на справедливые порядки и на лучшую жизнь.

Тем временем в ставке происходили события иного рода. Приверженец кайзера Гренер вместе с Гинденбургом принуждены были взять на себя тяжелую миссию: явившись к Вильгельму, выразив ему обычные знаки своей преданности и уважения, они доложили, что спокойствие в стране требует, чтобы его величество сделал выводы, глубоко опечаливающие их самих.

И оскорбленный и разгневанный экс-кайзер потребовал для себя поезд, который доставил бы его под покровом ночи в Голландию.

В то же время один из лидеров партии центра — Маттиас Эрцбергер, входивший в состав кабинета Макса Баденского, получил задание пересечь линию фронта и в качестве парламентера прибыть в ставку союзников, чтобы выслушать условия капитуляции. В тот день ему предстояло испить чашу унижений полностью. Но Эрцбергер был господин, способный переварить не только это.

К исходу субботнего дня положение начало несколько проясняться. Одна часть населения, поверив социал-демократам, решила, что революция привела к полной победе и теперь надо предоставить все новой власти. Другая склонна была внять предостережениям Либкнехта. Выступая в течение дня много раз, он призывал берлинцев к бдительности: пусть знают, что шейдемановцы как обманывали народ, так и будут обманывать впредь.

Одним словом, к исходу девятого ноября сформировались две силы: одной явился кабинет во главе с Эбертом, другой же — Совет рабочих и солдатских депутатов, созданный ранее.

Независимые и спартаковцы призвали трудящихся направить в Советы своих депутатов. Так должна была сложиться народная власть. Эберт быстро сообразил, что поставить себя в зависимость от Советов было бы для него величайшей бессмыслицей.

Советы следовало обезвредить, то есть добиться, чтобы большинство мест досталось в них его людям, партийным функционерам.

Опасность угрожала не справа, а слева. Все, что было левее его, можно было назвать анархией и большевизмом.

Пугая опасностью братоубийственной войны, социал-демократы призывали массы довериться руководству и передать ему все права. Революционные старосты, образовавшие Советы депутатов, как раз и несут опасность междоусобицы. Вот какой козырь был пущен в ход.

Кроме того, Эберт решил: если правительство будет составлено из социал-демократов и независимых, оно обретет в глазах народа доверие.

Независимые не были непримиримы к шейдемановцам и в то же время заявляли себя сторонниками Советов. На этой пестрой канве можно было ткать узоры самые разнообразные.

В среде независимых были, как уже говорилось, правые и левые. Первые готовы были откликнуться, пусть с оговорками, на приглашение шейдемановцев. Вторые оспаривали у спартаковцев влияние на радикальные группы рабочих, но в ряде случаев согласны были действовать заодно с ними.

Одни лишь спартаковцы выдвинули в первые же часы ясные требования: вся власть в руках Советов, и правительство, подчиненное только им, свободное от шейдемановцев.

Социал-демократы обратились к независимым с предложением: раз правительство должно стать общенародным, значит, не хватает только вас; вступайте в кабинет Эберта, и вопрос будет разрешен.

Независимые запросили, кого же Эберт готов включить в свой кабинет.

Вопрос о личностях не играет роли, ответил он. Как это не играет?! А если ему предложат Либкнехта? Очень хорошо, пусть приведут его, и они договорятся.

Впрочем, привести Либкнехта не удалось. Но днем, когда он забежал в рейхстаг в помещение фракции, его обступили делегаты от солдат и рабочих, толпившиеся в рейхстаге. Они стали доказывать, что он, как признанный всеми вождь, должен участвовать в руководстве страной.

Группа социал-демократов вместе с Шейдеманом пришла сюда же вести переговоры с независимыми. Со стороны они наблюдали, как разыгрывается сцена уговоров Либкнехта. Похоже было, что ему нечего возразить: слишком неотразимы доводы за вступление его в правительство. В нынешних условиях это представляло большой соблазн: войди Либкнехт в состав кабинета, и можно будет говорить, что Эберт сплотил вокруг себя все революционные направления.

В большой комнате фракции царили неразбериха и шум, демон искушения витал над головой Либкнехта. То и

дело являлись новые делегации и принимались доказывать, что его долг — принять на себя ответственность за судьбу страны.

Шейдеман и его группа стояли в углу в роли молчаливых наблюдателей.

Положение было двусмысленное: столько времени он повторял, что шейдемановцы предают народ, а теперь согласиться с ними сотрудничать?!

— Но речь ведь идет о мире и крови,— твердили ему. — Антанта не станет вести переговоры с нами, если в ближайшие дни не будет сформирована новая власть.

— Речь идет о единстве рабочих,— говорили другие.

— Речь, наконец, о том, что без вас ни одно правительство не может считаться народным!

Положение Либкнехта было нелегким. Надо было в течение нескольких минут взвесить обстоятельства. Чутье искушенного революционера говорило ему, что готовится очередная ловушка: имя его шейдемановцы используют для маскировки. Перед ним был пример России: что́ представляла бы собой Советская власть, если бы большинство Совнаркома состояло из меньшевиков?

— Итак, вы ждете ответа? — сказал Либкнехт.

— Еще бы, конечно! Притом положительного.

— Я готов согласиться, но ставлю свои условия.

Тут даже Шейдеман изменил позиции молчаливого наблюдателя:

— Я полагаю, наша партия примет их, сколь бы стеснительны они ни были.

— Нет, спачала ознакомьтесь с ними.

И Либкнехт начал говорить. Чем дальше, тем все более отчужденным становилось выражение лица Шейдемана: приветливый сатир вновь превратился в ловкого политика, способного быстро оценивать условия игры.

Либкнехт потребовал ни больше ни меньше, как передачи всей власти Советам, полного подчинения каби-

нета воле Советов и вывода из него всех буржуазных министров. И даже не скрыл своего резко отрицательного отношения к так называемым шейдемановцам. Нет, он нисколько не изменился!

Дослушав с непроницаемым лицом его требования, Шейдеман холодно заявил:

— Мы обсудим это. И вскоре дадим ответ.

Делегаты, обступившие Либкнехта, почувствовали себя обескураженными: идея единства готова была воплотиться, казалось, при них, тут же. И вдруг иллюзия рассеялась. Они не знали, кто прав. Одни готовы были последовать за Либкнехтом, другие продолжали мечтать об идиллическом объединении.

А Либкнехт стал доказывать, что в революцию вошли силы, мечтающие скорее ее погасить и ради этого готовые на все. Сегодня революция совершает лишь первый шаг, и надо трезво видеть опасности, которые ее подстерегают.

Когда Шейдеман вернулся в помещение «Форвертса», Эберт спросил, к чему привели переговоры.

— Вот его условия,— решительно сказал Шейдеман, как будто кладя лист бумаги на стол. И изложил требования Карлв Либкнехта.

Эберт подумал. В мозгу его складывались всевозможные комбинации.

— Он приемлем для нас только на наших условиях, а так — нет. Нет, не пройдет!.. Но аппетит у него недурен: сбросить нас с пьедестала, а?!. И даже не стесняется! Не так оно просто. — И выжидательно посмотрел на Шейдемана.

...В этот же час в ставке готовился поезд для его величества, бывшего кайзера. Поезд должен был на рассвете доставить его к голландской границе. Человек, еще недавно мнивший себя чуть не властелином мира, расхаживал крупными шагами в последней своей резиденции.

«Продавшаяся шваль! Идиоты!» — восклицал он в ярости. Допустить к себе фельдмаршала или кого-либо из близких он не пожелал, потому что в каждом видел изменника.

...Между тем Шейдеман излагал Эберту хитроумный план, возникший у него во время сегодняшних переговоров.

— Представители заводских организаций, а солдаты тем более разбираются в нашей политике слабо,— вот к какому выводу я пришел.

— И ты предлагаешь организовать курсы? — иронически отозвался Эберт. — Мы прочитаем им цикл лекций?

— Я предлагаю другое: срочно собрать солдатских представителей и постараться внушить им наши идеи.

Эберт посмотрел на него внимательнее и без иронии: разумные предложения не стоило отклонять.

— Мысль твоя, Филипп, очень полезна. И я прошу тебя: не теряя времени, поручи созвать нужных людей.

К вечеру стало известно, что Исполком постановил собрать завтра делегатов от солдатских, рабочих Советов, от пестрой и взбудораженной массы революционного народа Берлина. Эберт понял: завтра решится судьба его власти. Либо органы, которые он с таким трудом создает, подчинятся Советам — тогда и мысль о Национальном собрании, и надежда спустить движение улицы на тормозах полетят к черту. Либо малоприятный механизм революции удастся использовать в своих интересах — тогда власть его будет спасена.

Не так-то легко было собрать изо всех казарм солдатских представителей. Но это было сделано.

В Исполкоме старост велись жаркие и невразумительные споры, и Карл Либкнехт горячо объяснял всем, что революция не защищена и ей угрожает опасность; чтобы она развивалась дальше, трудовой народ должен без промедления взять власть в свои руки.

В это же время Фридрих Эберт жал каждому из собравшихся солдатских представителей руку и для каждого находил слово привета.

— Выходит, с самым главным и распроклятым нам удалось справиться? — произнес он.

— Это с чем же, товарищ Эберт? — жадно спросили делегаты.

— С трижды проклятой войной. Наш представитель вступил в переговоры с противником. На фронте уже тихо.

Он умышленно округлял положение. Не будучи человеком военным, он немного выставлял это напоказ. Конечно, лучше было бы, если бы здесь оказался Носке, его тут, без сомнения, не хватало. Но революция есть революция, и она выдвигает новых людей. Вот в военных ходит Отто Вельс — ему поручено стать во главе берлинской комендатуры. Независимые успели под шумок протолкнуть своего человека в полицай-президенты, некоего Эйхгорна. Это место, и вообще все ключевые места социал-демократам надо было оставить за собой.

Мысли эти не мешали Эберту заниматься сейчас главным.

Когда все расселись, кто на подоконнике, кто на столах, Шейдеман объявил, что правление партии предоставляет слово Фридриху Эберту, который в результате революции возглавил в Германии власть и является ее первым народным канцлером.

По всему уже было видно: провоевав месяцы и годы, хлебнув достаточно, солдаты доверчивы и наивны, как дети. Эберт понял это и повел разговор в нужном тоне:

— Наша измученная страна, потерявшая столько людей в чудовищном кровопролитии, находится накануне замирения. Вас ждут заслуженный отдых, возвращение к женам и матерям. Но на пути к миру стоят сеятели смуты, искатели славы. Народ вручил власть нам,

вашим представителям. Он верит, что мы приведем страну к спокойствию и миру. Для революции самое опасное — двоевластие, попытка иных честолюбцев, которые не прочь половить рыбку в мутной воде, создать еще один орган власти, Совет депутатов. А к чему он, если ответственность народ возложил на нас?! Но его доверием мы облечены лишь на короткое время: в ближайшие недели страна созовет Национальное собрание, которое все решит и все установит надолго. От вас, вашей сознательности и верности революции будет завтра зависеть, пойдет ли страна путем быстрого замирения, или ей станут опять угрожать кровопролитие и бури...

Никто не сказал бы, что это тот самый Эберт, который, появившись в рейхстаге семь лет назад, мало чем выделялся. Он стал заправским оратором. И солдаты слушали его внимательно, дружно одобряли. Эберт делал паузы, вглядывался в лица сидящих, словно не желая ошибиться в них.

Разошлись совсем поздно. По опустевшим улицам гулко стучали солдатские сапоги с железными подковками. Патрулей не было, полиции тоже. После бурно проведенного дня город словно впал в тяжелое забытье, чтобы завтра вновь ринуться в водоворот событий.

Эберт стоял, прислонившись к подоконнику, и вытирал платком лоб.

— Скажу тебе, денек не из легких...

Это было адресовано Шейдеману. И тот подтвердил, что денек в самом деле выдался на редкость трудный.

XII

В воскресенье с утра рабочие продолжали выбирать представителей на собрание, которое должно было состояться днем. От вчерашней суровой решимости мало что осталось: все больше укреплялась мысль, что революция

победила бескровно и надо скорее вернуться к нормальной жизни.

Шейдемановских агитаторов, тех, кого недавно еще гнали с трибуны, сегодня слушали внимательно. Как-никак, социал-демократы убрали кайзера и установили новый строй; значит, чего-нибудь они стоят и голосовать за них можно?

Правда, и независимые выступали энергично, доказывая, что их критика как раз и заставила шейдемановцев действовать. Иные из них вызывали доверие, другие нет. Одних выбирали, других прокатывали.

Страстные призывы спартаковцев наткнулись в то утро на преграду застарелого оппортунизма. Слушали их хорошо, призывы — разоружить реакционное офицерство, передать всю власть в руки рабочих — принимали с одобрением, но следовать им соглашались далеко не все. Выйдя впервые к широкой аудитории, спартаковцы почувствовали, что все сделанное до сих пор недостаточно. Сплоченность и самоотверженность — все было у рабочих, а ясного понимания того, к чему призывает «Спартак» и чего он добивается для страны, не было. Вот когда сказалось растлевающее действие реформистов, шейдемановцев, всей их политики примиренчества.

Правительство Эберта заседало. Новый канцлер, приземистый, плотный, сидя в кресле, слушал короткие доклады статс-секретарей, сохранивших прежние посты. По ходу докладов он кое-что уточнял. Но мысли были заняты другим — предстоящим массовым собранием делегатов в цирке Буша.

Переговоры с независимыми, начатые вчера, результатов пока не дали: те выдвигали свои условия, меняли их, потом соглашались и вслед за этим опять отказывались работать с шейдемановцами.

Но тут как раз была вся суть вопроса: Эберту надо было предстать перед неискушенной массой солдатских

и рабочих представителей в качестве лидера объединенных социалистических сил. Тогда он по праву смог бы требовать, чтобы его кабинету оказали доверие. Крайняя зыбкость положения сделала плотного крепкого Эберта землистым с лица за один только день. По правде сказать, он вовсе не упивался пока новым своим постом. Тревога пересиливала все остальное.

И тут женщина-секретарь проскользнула в зал заседаний и положила перед ним листок бумаги. Слушая очередное сообщение, Эберт глянул в листок. Победа: эти фигляры, независимые, готовы войти в правительство! Эти мальчики с бородами ставят свои условия? Дадим им поиграть в их игру. Гораздо важнее, что кабинет социалистов будет сформирован, и, к счастью, без Либкнехта, который с первого дня заварил бы кашу.

Взяв толстыми пальцами ручку, Эберт написал на бумажке: «Уведомьте всех, кого надо». Теперь оставалось составить речь и выступить в цирке. Уж он задаст жару, покажет смутьянам слева, как портить игру!

Набрасывать мысли, поглядывая на ораторов, было нелегко. Но следовало привыкать. Правительство будет в таком составе: он, Шейдеман, Ландсберг и от независимых Гаазе, Дитман и Барт. Двое последних довольно вредные господа, но для начала помиримся с ними. Эмиль Барт путаник и болтун, несомненно. Вчера, когда в главном зале рейхстага собрался пленум Советов, началась дикая неразбериха. Барт, руководя заседанием, только усилил ее.

И все же Эберт был доволен: кабинет можно будет подать как истинно народный, пускай кто-нибудь попробует возразить. То есть Либкнехт непременно начнет возражать, но с ним дело особое.

Он писал, зачеркивал, посматривал на выступающих, а в голове складывались нужные формулы. Спартаковцы требуют правительства народных комиссаров? Ишь какие

революционеры, прямо по московскому образцу! Нет, называться будет народным, но не комиссарским; скажем, народные уполномоченные.

Время приближалось к решающему часу. Почувствовав необходимость побыть наедине, Эберт сказал членам своего кабинета:

— Благодарю вас, господа. На первых порах я позволю себе беспокоить вас чаще, чтобы поскорее войти в существо вопросов. Еще раз благодарю всех.— И, закрыв заседание, встал.

XIII

Революционные старосты тоже времени не теряли. Они собрались утром, чтобы наметить линию поведения в цирке Буша. Уже стало известно, что при выборах делегатов правые берут верх.

Рихард Мюллер дельно заметил:

— При таком составе заниматься частностями всего опаснее. Чем меньше частностей, тем больше шансов провести то, что нам нужно.

— Какие же у вас предложения? — спросил Эмиль Барт.

— Нужно наметить будущий Исполнительный комитет и предложить его на утверждение. Говорить о ближайших задачах нет никакого смысла.

— Как-как?! — Барт привскочил с места.— Созвать огромное собрание только для того, чтобы провести через него списочный состав комитета?!

— Именно так, товарищ Барт. Это единственный разумный выход.

Барт, ведший заседание, начал было горячиться, но поддержки не встретил. Почти все понимали: Эберт за эти часы добился своего и создал якобы народное правительство. Необходимо выбрать такой руководящий орган

Советов, который мог бы ему противостоять, и ввести в него тех, кто ратует за углубление революции: Либкнехта, Деймига, Мюллера, Пика, Ледебура, Барта...

— Розу Люксембург! — предложили с места.

Барт оглядел старост:

— При всем нашем уважении к ней... Она еще не на свободе.

— Тем более! — закричали еще энергичнее.— Что значит «не на свободе»?! Позор! Она должна быть освобождена специальным нашим распоряжением и возвращена в Берлин!

— Хорошо, я записал: Люксембург,— согласился Барт.

Так был составлен список будущих руководителей. Решили провести его по-деловому, после коротких речей.

Они подготовились, как могли, к неожиданностям собрания. Но разве можно было все предусмотреть? Старосты не обладали тем опытом, какой был у социал-демократов большинства, не изучили махинаций, усвоенных теми. И разве могли они предвидеть, что болтун из их собственного лагеря натворит бед не меньше, чем сами шейдемановцы!

...К цирку Буша стекались со всех сторон. Чем ближе к пяти, тем группы подходивших становились гуще и гуще. Рабочие с исхудалыми лицами, следами долгого недоедания; профсоюзные функционеры с той внешней выдержкой, какая вырабатывается за долгие годы работы; солдаты с оружием, осознавшие себя политической силой и потому склонные по любому поводу пороть горячку,— все тянулись к цирку.

Солдаты, прибывшие раньше других, расселись внизу. Само собой получилось, что следующие солдатские группы подсаживались к ним. А рабочие стали подниматься по радиальным проходам, заполняя верхние ярусы. Внизу гудела солдатская масса, слышны были удары сталкивающихся прикладов, щелканье курков, хотя никто, конеч-

но, не собирался стрелять. А наверху, ближе к стропилам, обрисовывались плотные ряды изможденных лиц.

Президиум оборудовали на арене: составили несколько столиков, натянули на них кусок красной материи, притащили табуреты и стулья. Порядка не было и в помине. Все больше строилось на доверии, чем на контроле.

Эмиль Барт, поднявшись, стал оглядываться по сторонам и зазвонил в колокольчик, призывая трехтысячное собрание к тишине.

Затем резким, неприятным по тембру голосом произнес:

— Товарищи, вчерашнее наше собрание в рейхстаге, примечательное само по себе — впервые за всю историю в нем заседали настоящие избранники народа...— Он умело вводил в свои речи хлесткие вставки, действовавшие наверняка: цирк в самом деле огласился аплодисментами.— ...Вчерашнее наше собрание не принесло организационных выводов. А они нужны победившей власти, чтобы победа была закреплена. Поэтому сегодня, в составе еще более расширенном, мы продолжим работу. Я объявляю собрание открытым.

Первое слово он предоставил Фридриху Эберту, сообщив, что тот со вчерашнего дня стал канцлером Германии.

Эберт явился сюда с более легким сердцем: многое было уже сделано и, кроме того, встретили его хорошо, особенно солдатские делегаты. Но другие делегаты, заполнившие цирк, могли преподнести и сюрпризы.

Речь его была обдумана тщательно. Ведь он вождь, всеми признанный вождь социал-демократии, а теперь и всего народа; ему не пристало унижаться перед толпой. Эберт избрал тон требовательно-нравоучительный.

— К счастью для нашей страны, самое главное уже произошло. Кайзер низложен, социал-демократия, давно этого требовавшая, добилась своего. Народ Германии, изму-

ченный войной, вправе ждать полного замирения, и оно наступит не сегодня-завтра. Новая власть существует какие-нибудь сутки, но мы сделали все, чтобы поскорее вернуть народу достойное его существование. Мы решили создать широкую коалицию и с радостью можем доложить, что объединенное социалистическое правительство уже существует. Оно ставит задачей защитить революцию от посягательств с чьей бы то ни было стороны.

Солдаты ответили криками:

— Правильно! Верно! Так и надо!

Эберт чувствовал себя все тверже. Иногда он посылал опасливый взгляд наверх, но те, кто сидел почти на одном уровне с ним,— солдаты — вели себя надежно.

В речи его было все хорошо обмазано: так штукатуры лопаточкой заглаживают неровности. Только искушенный взгляд мог бы обнаружить плохо заделанные места.

Гуго Гаазе, сидя на своем табурете — стула ему не досталось,— разглаживал ладонью бороду. Он видел и то, что Эберт выпячивал, и то, как он замалчивал самое острое и основное. Легко рвущуюся ниточку единства Эберт старался продеть сквозь игольное ушко. Всего четыре часа назад Гаазе стал членом имперского кабинета; права его были равны правам Эберта. Так стоило ли здесь, на этом безалаберном собрании, поднимать сложные вопросы, требовавшие тонкой, умелой тактики?

Речи своей Гаазе не заготовил, положившись на опыт. И пока Эберт говорил, заметно перекантовывая на свою сторону солдатскую массу, Гаазе соображал, как бы поосмотрительней выступить: ничего слишком острого, чересчур полемичного, но при этом левее социал-демократов. Заявить, что перспективы открываются необозримые и что независимые сделают все, чтобы углубить революцию и упрочить ее завоевания.

В таком духе он и выступил. Он постарался уверить аудиторию, что его партия, занимая левый фланг револю-

ции, будет бдительно охранять все ее новые завоевания.

Такого успеха, как Эберт, Гаазе не имел; но задача разумной политики, сказал он себе, вовсе не в том, чтобы срывать аплодисменты толпы.

Карл Либкнехт, сидевший рядом с Пиком, обдумывал в эти минуты, требовавшие всей его воли и ума, характер своего выступления. Он уловил уже настроение, царившее в цирке. Сторонников «Спартака» тут немного. Но самое важное — сказать правду, пускай бы она послужила даже к временной невыгоде «Спартака». На глазах у всех происходил великолепный по бесцеремонности обман: ловкий Эберт умело втирал очки трем тысячам представителей. Под носом у них он намерен был унести в свое новое обиталище — рейхсканцелярию все, что завоевал немецкий народ.

У Либкнехта от нервного напряжения дергалась щека. Он обещал Соне следить за собой. Случайная мысль вернула ему ощущение семьи и дома, возникшие с необычайной остротой. Всего этого он лишен, и с этим предстоит расстаться надолго, подумал Либкнехт, вздохнув. Судьба назначила ему другое — бороться с политиканами и лжецами, вести непрерывные схватки во имя правды, которую те норовят вырвать из рук.

Во время речи Гаазе в душе Либкнехта возникло чувство, близкое к брезгливости: словно течением несло мимо него всю городскую грязь и накипь, пятна лукавства и маслянистая ложь проплывали мимо. К чему было связывать свою судьбу с независимыми? Не это ли самая роковая ошибка «Спартака»? Гаазе и его группа — противники не менее опасные, чем Эберт и Шейдеман. Но тактика требовала, чтобы об этом ничего пока не было сказано.

К нему наклонился Пик:

— После Гаазе твое слово, я договорился с Бартом... Нет, ты только полюбуйся,— он кивнул на Барта,— как он упивается своей ролью!

Эмиль Барт то ставил колокольчик на стол, то, повертев в руках, поднимал демонстративно кверху, призывая к спокойствию. Казалось, по его мановению в цирке происходят диковинные метаморфозы. Не хватало только его, Барта, речи. Напрасно, открывая собрание, он уделил себе так мало времени. Но это еще поправимо.

И вот он объявил, что слово предоставляется руководителю группы «Спартак» товарищу Карлу Либкнехту.

Солдаты смутно себе представляли, что это еще за группа такая. Сказалась слабость работы, проделанной «Спартаком». Наверху, под куполом, где места были заполнены рабочими делегатами, имя Либкнехта говорило многое. А расположившаяся внизу разношерстная масса солдат имела о нем смутное представление.

С первых же слов, владея собой, потому что он был отличный оратор, и не вполне владея, потому что протест против обмана шейдемановцев и гаазовцев бушевал в его душе, Либкнехт заговорил о призраке контрреволюции: он не изгнан, он среди нас, и социал-демократы, поведшие немцев на плаху войны и взаимного истребления, вырядились сегодня в одежду революционеров.

Насколько же легче и радостнее было выступать вчера с балкона дворца Вильгельма, провозглашая свободу и социализм в присутствии огромных колонн демонстрантов! Сегодня требовались беспощадная логика, точные факты, полемизм, ирония и издевка, закованные в броню выдержки. А его душило негодование.

— Где они были вчера, эти господа, позавчера, год назад? Не они ли с рабским послушанием голосовали за то, чтобы на войну отпускалось побольше денег? Не они ли пытались вдалбливать вам, что враг по ту сторону фронта, а в стране должен царить классовый мир?!

Искренность обличений была заразительна, убежденность его заставляла следовать за собой. Но слишком много было в цирке делегатов, настроенных скорее благо-

душно, чем отважно. Им хотелось единства, той синицы, которую Фридрих Эберт прямо-таки держал в руках.

Раздались голоса:

— О прошлом не надо, о сегодняшнем дне говорите!

— О нем-то и разговор! — подхватил Либкнехт.— О том, что социал-демократы норовят спустить на тормозах все, что вы завоевали, и при этом клянутся революцией, хотя за пазухой у них контрреволюция!

— Это грубая ложь! — выкрикнул Эберт зло и зычно.

И часть солдатской массы подхватила:

— Не надо споров, давайте конкретные предложения!

Но Либкнехт был не из тех, кто пасует перед аудиторией. Он заставил слушать себя и, продолжая громить ловких политиканов, довел речь до конца.

Вытирая лоб, бледный, он сел на место, и сверху донеслись дружные аплодисменты. До перелома было далеко, конечно, но утренняя договоренность старост должна была привести собрание к утверждению нужного состава Исполкома.

И тут Барт воспользовался своим правом председателя. Позвонив в колокольчик, он произнес:

— А теперь позвольте мне. Поскольку на меня возложена высокая миссия возглавлять сообщество старост, которое стояло у колыбели нашей революции и, с божьего соизволения, поведет ее дальше...— услышав смешки, Барт дружелюбно улыбнулся всем,— позвольте мне поделиться некоторыми соображениями.

На аудиторию ниспадала плотная пелена скуки, усталости, раздражения. В цирке кашляли и чихали, солдаты гремели прикладами, а Барт говорил о заслугах старост и о том, что с шейдемановцами сладу не будет, их надо гнать в шею.

Цирк забеспокоился и зашумел:

— К чему эти склоки, довольно! Мириться надо, объединяться, а вы тычете кулаками друг в друга!

То, что Либкнехт изложил неотразимо и остро, заразив многих своими идеями, Барт вывалял в грязи мелких дрязг и фракционных счетов.

— Короче, короче, ближе к делу! — закричали солдаты.

Сосед толкал Барта слева в спину острой ручкой колокольчика, чтобы он угомонился и закрыл рот, а неуместная его речь продолжалась.

Наконец другим, уже деловым, голосом Барт произнес:

— Есть предложение, товарищи, утвердить список будущего Исполкома.

— Какой там еще список?! — закричали многие.— Вы людей называйте!

— Сейчас назову.— Он вытащил перечень, заготовленный утром, и начал читать.

Цирк огласился яростными возгласами:

— А социал-демократов, которые революцию делали, побоку?

Солдаты сорвались с мест и кинулись на арену, пытаясь что-то втолковать президиуму. Сколько ни звонил в свой колокольчик Барт, утренний план был сорван. Солдаты бушевали, орали и требовали равного представительства для обеих партий. Сверху, правда, неслись другие голоса:

— Спартаковцев, больше спартаковцев требуем!

Но это так же тонуло во всеобщем шуме и гаме, как лица сидевших наверху в неярком свете бушевского цирка.

Под непрекращающиеся крики на арене происходило совещание президиума. Время от времени Барт, только для видимости, поднимал колокольчик, пытаясь призвать делегатов к порядку.

Кончилось все провалом первоначального списка и торжеством правых: под нажимом солдат решено было включить в Исполком в равном числе шейдемановцев и

независимых и добавить к ним солдатских представителей в количестве, равном тем и другим, вместе взятым. Эти последние были у Эберта в кармане — их можно было обработать так же легко, как и во время предыдущей встречи.

После горячей перепалки Эберт сидел хотя и сильно усталый, зато удовлетворенный. Он положил кулак на кулак и на этот постамент водрузил свою голову. Можно было сказать себе, что опаснейший раунд выигран.

Оставалось еще утвердить состав кабинета, получившего название Совета народных уполномоченных. Но после того как принцип паритетности приняли, сделать это было нетрудно.

Вообще все страшно устали и потеряли интерес к происходящему. Но в битве за власть Эберт, без сомнения, вышел победителем.

XIV

Гинденбург провел вчера очень нелегкий день: объявить императору, что он лишился поддержки армии, участвовать в том, что противоречило всем его убеждениям! На эту тяжелую жертву пришлось пойти — обстановка потребовала. Но важнее всего было решить, что́ можно еще спасти в азартно проигранной партии. Или о спасении чего обязан в первую очередь позаботиться он, Гинденбург.

Первейшей его заботой должна была стать армия. Даже проиграв войну на полях сражений, она сохранила первостепенную важность в делах внутренних. Хотя зловещие сентябрьские уверения Людендорфа, что армия не продержится и сорока восьми часов, не оправдались и немцы продолжали сопротивляться, положение ее стало безнадежным.

С генерал-квартирмейстером, так скандально проигравшим войну, пришлось все же расстаться. В общественном мнении страны он стал фигурой одиозной.

Обнимая старого сослуживца, фельдмаршал заявил, что свою признательность и уважение сохранит к нему навсегда.

— А эти мерзкие обстоятельства... условия, в какие нас поставили...— он не договорил и еще раз обнял бывшего помощника.

Генерал Гренер в некотором отношении больше соответствовал обстановке. Он был свободен от солдатского благородства, присущего Людендорфу, и в своем хищничестве был гораздо грубее и откровеннее.

То, что произошло в Берлине, а еще ранее в Гамбурге, Бремене, Любеке, Дрездене и других городах, выглядело катастрофой. Предстояло постепенно восстанавливать то, что разрушила в течение одного дня революция. Сведения, приходившие из столицы, приводили Гиндербурга в ярость.

В доверительном разговоре с ним Гренер признал, что при встрече с социал-демократами допустил грубый промах. Они готовы были спасти монархию, пожертвовав кайзером, он же потребовал сохранения Вильгельма. Но из той же встречи Гренер вынес суждение о социал-демократах.

Теперь, поздно вечером, вновь рассматривая события дня, разделяя скорбь Гинденбурга по кайзеру, он счел возможным отметить и некоторые утешительные обстоятельства.

— Мне думается, они постучатся в нашу дверь сами.

Гинденбург поднял глаза на нового своего помощника:

— Вы о ком, генерал?

— Об этих соци.

— Да-а, не исключено... Но и нам придется считаться с ними, хотим мы этого или нет.

Они рассмотрели и мрачные и обнадеживающие стороны положения, сложившегося для военной касты.

Был поздний час. Время подходило больше для спокойной беседы двух высших начальников, чем для деловых переговоров. Но тут дежурный адъютант почтительно доложил, что его превосходительство генерала Гренера вызывает Берлин.

Получив молчаливое разрешение поговорить по телефону в присутствии Гинденбурга, Гренер произнес холодно в трубку:

— Да?

Чуть позже он посмотрел на шефа и кивнул: словно именно такой поворот дел оба предвидели.

Разговор был обстоятельный и какой-то смутный. Несомненно, оба собеседника хорошо понимали, в чем его суть, но при этом несколько затушевывали ее.

Гинденбург не сводил глаз с помощника. Шевельнулась было мысль, что, затягивая разговор, тот допускает невежливость; но, видно, этого требовали обстоятельства.

Наконец Гренер опустил трубку.

— Прошу простить меня, ваше сиятельство, но это как раз иллюстрация к тому, о чем мы беседовали.

— Я так и подумал... Один из них?

— Самый главный.

— Эберт?

— Да. И хорошо, что инициативу проявил именно он.

Такой шаг нового канцлера заслуживал обсуждения.

— Чем вы объясняете звонок в столь поздний час?

— Им нужна сила, на которую можно было бы опереться.

— А не повернут ли эти господа потом влево?

— Я уже имел честь докладывать вам о своем впечатлении. Господа эти не орлы, способные летать высоко,— скорее, петухи, перелетающие с насеста на насест. Наш насест им крайне необходим в настоящее время.

Сравнение не вызвало улыбки на лице Гинденбурга: слишком давила ответственность, которая легла на него.

— Надо будет присмотреться к ним ближе.

— В борьбе за Германию они серьезный козырь, ваше сиятельство, я в этом убежден... А господин Эберт будет звонить мне и в следующие вечера. Прямая связь не нарушена, и мы договорились с ним: он будет пользоваться ею.

XV

В тот же вечер, девятого ноября, только несколькими часами раньше, из бреславльской тюрьмы была выпущена Роза Люксембург. Толпа осадила ворота и угрожала все разнести, если политические заключенные не будут освобождены. Ни протесты Розы, ни телеграммы канцлеру не сумели сделать того, что сделал восставший народ.

Стоило ей шагнуть за ворота тюрьмы, как ее подхватили десятки рук. Люди кричали, обнимали ее и понесли через весь город.

На Домской площади шел массовый митинг, и Роза Люксембург, измученная, исхудавшая, с волосами, которые в тюрьме совсем поседели, ощутила эту совершенно новую атмосферу. Маленькая ее фигура появилась над толпой, и затихшая площадь услышала слова, обращенные к народу Германии.

Бессилие и изможденность были забыты, женщина-трибун снова властвовала над толпой, увлекая пламенем своей мысли.

Сознавать, что силы не иссякли в неволе и порывы не ослабели, было упоительно. Это чувство воодушевило Розу и сделало ее речь еще более вдохновенной.

— Не считайте, дорогие братья и сестры, что в ваши руки вложено теперь все. Революция приносит не только свободу, но и неслыханные испытания — стойкости, мужества, верности идеалам. Вас ожидают серьезные

испытания, но вы, я уверена, окажетесь на высоте. Мгновения, подобные этим, повторяются в истории нечасто, и нужно суметь овладеть ими.

Все продуманное ею в заточении ожило с новой силой. Свою полную драматизма речь она закончила с необыкновенным подъемом. Без сомнения, пришел тот самый час, во имя которого Роза боролась долгие годы.

Ночной поезд должен был доставить ее в Берлин. Ее уговаривали остаться, хотя все понимали, что место ее там, где происходят события решающей важности.

В поезде она с трудом нашла место. Все было переполнено — солдаты, простолюдины, женщины,— страна как будто сдвинулась с места, и дух беспокойства погнал людей в неведомые дали.

Но в одном купе потеснились, и Роза села. Не успела она прислониться к спинке сиденья, как силы покинули ее. Она свесила голову и задремала.

На следующий день в помещении, где обосновалась редакция новой газеты «Роте фане», встретились друзья, которых тюрьма и преследования разъединили на долгое время. В просторном, богато обставленном помещении все было непривычно. Всего лишь вчера им завладели спартаковцы, изгнав прежних хозяев — издателей буржуазной «Локальанцайгер». Теперь ходили из комнаты в комнату и не столько удивлялись — в Берлине много было для этого поводов,— сколько выражали удовлетворение.

Крепкое рукопожатие или рука, положенная на плечо товарищу, радовали; но и теплый дружеский взгляд, улыбка — все прорывалось как бы мимоходом. До излияний ли было сейчас!

Но как было не заключить в объятия Розу, как было не сказать, подавив щемление в груди, что в общем-то ничего, она выглядит молодцом!

— Во всяком случае, силы у меня есть, в работу я уже включилась,— заявила она.

Говорить надо было о другом, но говорить деликатно: готские решения, соединившие «Спартака» с независимыми, не помогли ему, хотя на это как раз рассчитывали Роза и Лео Иогихес. Легальность, за которую в пору преследований цеплялись, пришла сегодня сама собой, а груз гаазовцев, их двуличие и оглядка, тяжело висел на «Спартаке».

На другой день встреча соратников произошла уже в отеле «Эксцельсиор». Решили впредь называться не группой, а «Союзом Спартака»; избрали Центральный комитет; наметили ближайшие задачи и распределили между собой обязанности. Без каких-либо споров за Либкнехтом и Люксембург было закреплено руководство газетой.

«Роте фане» вышла вечером того дня, как в Берлине разыгрались события. Разъяснять смысл происшедшего, предостерегать трудящихся от обмана было сейчас самое важное.

Либкнехт доказывал товарищам, что мошенничество уже совершено — вчера в цирке Буша, и последствия его неисчислимы.

Лео Иогихес, тоже вернувшийся из тюрьмы, постукивал по столу карандашом и кивал, показывая свое согласие с Либкнехтом.

— Лицо новой власти ясно,— сказал он.— Это власть набирающей силы реакции.

— В Исполкоме позиции спартаковцев тоже слабы,— продолжал Либкнехт.— Надо через печать и сеть агитаторов упорно разъяснять суть положения, надо бросить в гущу рабочих все силы, использовать весь наш опыт.

— Он не так уж велик, увы,— вставил Иогихес.

— Лео,— сказал Карл,— о времени, которое «Спартак» упустил, говорить не будем. Говорить надо о том, что есть сегодня и что требует всеобъемлющей работы.

Иогихес кивнул — не энергично, словно бы из вежливости, а не от полного своего согласия.

На первом же заседании обнаружилось различие в оценке целей движения. Часть, в том числе Роза Люксембург, считала, что задачи «Союзу Спартака» диктует уровень политического сознания масс; то, что созрело в сознании, можно снимать, как готовую жатву; то же, что пока дозревает, снимать до срока, искусственно ускоряя процесс, нельзя. Либкнехт же был убежден, что ждать такой зрелости — значит плестись в хвосте масс: зрелость эту определяют разум передовых элементов и воля организаторов.

— А то ведь что получится: соотношение сил в Исполкоме мы примем за объективную картину состояния умов — так, что ли?

— Не совсем так,— сказала Роза.— Но успех шейдемановцев показывает невысокий уровень сознания масс.

— А если завтра по нашему призыву они выйдут на улицу, что вы тогда скажете?

Значит, Карл убежден, что лозунги «Спартака» так сильно проникли в толщу народа? Иогихес тревожно взглянул на Либкнехта: не ошибается ли он? Не переоценивает ли влияния «Союза Спартака»?

Многое было неясно, спорно и рискованно. Но роль новой газеты как органа революционной мысли ни у кого не вызывала возражений. Именно потому и решили, чтобы возглавили ее Карл и Роза.

XVI

«Роте фане» вышла девятого и десятого. Казалось, директора «Локальанцайгера», напуганные революцией, предпочли не затевать спора из-за отнятого у них помещения.

Но это было не так. Правые силы очень быстро уло-

вили характер эбертовского кабинета и поняли, что в ближайшее время можно будет на него опереться.

«Все, что высказывает Эберт в своих воззваниях... правильно и умно,— написала вскоре буржуазная «Берлинер тагеблат».— Политические вожаки, получившие... власть в свои руки, заслуживают благодарности даже инакомыслящих, величие их будет признано историей».

После того как собрание в цирке Буша вверило судьбу Советов элементам аморфным и правым, враги революции стали смелее.

Когда сотрудники «Роте фане» явились на третий день, чтобы готовить очередной номер, наборщики «Локальанцайгера» накинулись на них с кулаками: их руками владельцы выполнили то, что было нужно им. И «Роте фане» перестала выходить.

Спартаковцы обратились в Исполком. Постановление Исполкома было направлено Эберту, и тот дал указание — словечко стало входить в обиход — освободить опять типографию для спартаковцев. Но указание было недостаточно категоричным, и газета не выходила. Только через неделю, связавшись с другой типографией, начали печатать ее вновь.

Тем временем малоприметный Отто Вельс вырос в фигуру крупного плана. Обосновавшись в комендатуре Берлина, он вкусил от власти, и плод ему понравился. Опустевшее учреждение с разбежавшимися сотрудниками начало обрастать добровольцами, новой охраной. Подбирали молодцов, верных Эберту. Каждому внушали, что важнейшей задачей комендантских частей является охрана нового порядка и борьба со смутьянами.

Охраняя порядок, они ворвались однажды в помещение «Роте фане» и стали бесчинствовать. Звонки сотрудников в комендатуру и протесты ни к чему не привели. Только насладившись этим маленьким опытом, Вельс отозвал своих людей из редакции.

В тот первый налет открылось любопытное обстоятельство: охранники не только вламывались в редакционные комнаты и рылись в столах — они кого-то искали. Имена разыскиваемых названы были не сразу. Оказалось, что это Карл Либкнехт и Роза Люксембург.

— А зачем они вам? — враждебно спросили сотрудники.

— Это уж дело наше...

Так с первых дней делам, продиктованным волей народа, стали противопоставляться акции, производимые по таинственным указаниям.

Спустя некоторое время в редакцию уже ворвались с прямой целью обыска: все до основания перерыли и раскидали. Но им нужны были, кроме того, Либкнехт и Люксембург — они этого не скрывали. Точно у них свои счеты с ними.

Когда Роза Люксембург пришла в редакцию, возбужденные товарищи рассказали о новом налете. В своей рабочей комнате она слушала их с улыбкой очень опытного человека.

— Лучше было бы вам и Карлу работать в другом помещении.

— Где это видано, друзья, чтобы газету делали издалека? И притом революция в самом начале, а мы станем бояться?!

Либкнехту, пришедшему позже, тоже все рассказали. Он выслушал без улыбки, скорее сосредоточенно.

— Наглеют с каждым днем. И какой-то источник питает их... Прятаться? Это исключено, Роза права. Надо, наоборот, доказать молодчикам, что мы нисколько их не страшимся.

Сотрудники не решились настаивать, хотя очень опасались за судьбу Карла и Розы.

— Словом, работать будем, как прежде. Ко многому

еще придется привыкнуть, если Совет депутатов будет вести себя так же бесхарактерно.

Карл и Роза остались в комнатке, которую за короткое время полюбили. Они научились среди доносившегося через тонкую стену шума сосредоточиваться па своем, обсуждать план статей, подбирать лозунги, с которыми газета обратится завтра к читателям, думать о том, что ожидает их впереди.

Здесь среди бурлящей и подчас грозной жизни создавались лучшие статьи и памфлеты Карла и Розы.

XVII

Либкнехт чаще всего оставался ночевать там, где его заставало позднее собрание. Встретить его можно было и в редакции, и на рабочем митинге, где он слушал горячие речи, сидя в президиуме, или выступал сам, и на демонстрациях, частых в те дни, где он шагал в первых рядах вместе с организаторами, и на собрании активистов. Он пристрастно изучал биение общественной жизни: спады и подъемы, перебои и напряженность пульса глубоко занимали его.

Зная за собой одну черту — некоторую отвлеченность мысли, недостаточную ее заземленность, что ли,— он прислушивался к голосам людей, находившихся в гуще жизни.

Как-то после собрания, которое затянулось допоздна, ушли вдвоем — он и Кнорре. Либкнехт намотал на шею шарф, и все же ему было зябко; он растирал руки, стараясь согреться.

— Довольно противное время, надо было что-пибудь надеть под пальто.

— Так у меня жилет есть, возьмите, ради бога,— предложил Кнорре.— Мне и без того жарко.

— Ну уж, жарко...

— Ну да, кручусь целый день и спорю до хрипоты!

Жилета Либкнехт не взял: уверил, что если пойти чуть быстрее, то согреется. Разговор перешел к самому важному.

— Я скажу, товарищ Либкнехт, так: авторитет ваш огромен. Спросите любого рабочего, кому он доверяет больше и кто для него выше — Эберт, или Шейдеман, или Гаазе, или вы. Даю голову на отсечение, предпочтение будет отдано вам.

— Быть может, оно и так; хотя это требует еще проверки... И тем не менее на глазах у того же рабочего Эберт прогрызает революцию, как жучок-короед, подтачивает ее день за днем, а рабочий молчит!

— Эберт вовремя сообразил, что́ подбросить немцам в первую очередь: мир, демобилизацию солдат, возвращение к прежней жизни. Пускай этой жизни никогда больше не будет и нашего брата ждет безработица...

— А-а, так это вы понимаете? — обрадовался Либкнехт.— Если сколько-нибудь трезво проанализировать ситуацию, станет ясно, что его посулы чистейший блеф. Эберт ведет вовсе не к замирению в стране. Его цель — обеспечить себе в неминуемых столкновениях как можно больше сторонников.

Кнорре согласился с ним и добавил:

— Учтите при этом, какие традиции у шейдемановцев и какой слаженный аппарат.

— Теперь они прибрали к рукам аппарат государственный. Я бы нисколько не удивился, если бы стало известно, что они якшаются и с военными.

— А то как же, якшаются. Без военных им придется туго.

Прошли уже изрядное расстояние от завода. Ни тот, ни другой не спрашивал, куда идут. Оба считали, что провожают друг друга. Кнорре спохватился первый:

— А мы ведь вовсе не к вашему дому идем.

Либкнехт честно сознался, что домой ему поздновато: не хочется будить жену.

— Бедняжка привыкла, что я по нескольку дней не являюсь. В общем, жаль ее: столько времени я отсутствовал, так и теперь почти не бываю дома.

— Такая наша жизнь,— заметил Кнорре коротко.— Тогда ко мне?

— У вас, надо думать, тоже жена давно спит?

— Не жена, а подруга,— сказал суховато Кнорре.— И живем отдельно. Работница, такая же горемычная, как и все. Видимся раз в год по обещанию. Ни у нее времени нет, ни у меня.

Сердце Либкнехта сжалось от сочувствия. Нелегко живется пролетарию, отдающему все силы партийному делу, подумал он.

Но поговорить с Кнорре надо было о многом, и он последовал за ним. Все больше углублялись в пустынные молчаливые улицы, которые Либкнехт знал и не знал. В этот поздний час все выглядело малознакомым. И облупившийся двухэтажный дом, в котором жил Кнорре, на прямой, как стрела, магистрали показался чужим.

В комнате царил суровый мужской порядок. Тут почему-то особенно бросилось в глаза, что Кнорре изрядно прихрамывает.

Он поставил чайник, потом выложил все, что у него нашлось. Либкнехт вспомнил, что у него с собой бутерброды, приготовленные Соней, и достал их из портфеля.

— И мой взнос примите.

— Ну, это не дело, обойдемся и так...— Впрочем, бутерброды Кнорре развернул и, кладя на тарелку, заметил: — Женская рука сказывается все-таки. Моя балует меня этим нечасто. И всякий раз такое баловство приятно.

Либкнехту хотелось поскорее вернуться к прерванному разговору.

— Скажите мне вот что: почему мы, спартаковцы, и влиятельны и в то же время сравнительно малочисленны?

В зеленых глазах Кнорре мелькнуло любопытство: этот умнейший человек, признанный руководитель то ли хочет проверить на нем что-то свое, то ли в самом деле не все себе уяснил?

— «Спартак» — самая активная группа в стране. А люди действуют, товарищ Либкнехт, лишь под давлением обстоятельств. Сегодняшние условия на прямые выступления их не толкают, хотя этого не миновать все равно. Но подготовить условия, при которых массы откликнулись бы немедленно на наш призыв, мы обязаны.

— Вот-вот, подготовить условия! — подхватил Либкнехт.— То есть монолитную организацию, по одному слову которой рабочие пошли бы на штурм.

— Условия для штурма еще не созрели.

— Но атаковать шейдемановцев надо непрерывно. Рабочий должен увидеть их истинный облик.

Кнорре промолчал. Под штурмом он понимал непосредственное участие масс. То же, о чем говорил Либкнехт, относилось больше к сфере словесной борьбы. Тут он не считал себя особенно сильным.

Пили суррогатный чай. Вместо сахара положили кристаллики сахарина. Нашлась горбушка хлеба, которую Кнорре разогрел на плитке, и немного джема.

— Не ахти какое угощение,— немного смущенно заметил он.— Но что есть, то есть; вот еще ваши бутерброды выручат.

Либкнехт не отозвался, занятый своим.

— Борьба неминуема,— продолжал он,— и мы должны хорошо подготовиться к ней. Это потребует предварительных капитальных решений, поэтому ваша позиция меня очень интересует.

Кнорре вскинул лишь брови, давая понять, что собственных суждений не переоценивает. Но если от них может быть прок, пожалуйста, он готов выложить.

Проговорили почти до утра. По настоянию хозяина Либкнехт устроился спать на кровати, а Кнорре соорудил для себя ложе из табуретов и стульев и, улегшись, стал уверять гостя, что ему удобно и выспится он не хуже, чем на кровати.

XVIII

Тайные силы неуклонно подтачивали дело революции. Исполком мог принимать какие угодно благие решения, но, дойдя до кабинета Эберта, они там застревали. Или возвращались с такими оговорками, что Исполком, ставший уже на путь уступок, видоизменял их или попросту не применял.

Стоило Исполкому под нажимом Союза красных фронтовиков потребовать чистки реакционного офицерства, как из ставки пришел угрожающий окрик: Гинденбург предупредил, что, если такое решение будет проведено, он и Гренер немедля уйдут в отставку.

Берлинский кабинет, связавший свою судьбу с ними, не мог пойти на такой шаг. Чуть не каждую ночь Эберт по прямому проводу вел переговоры со ставкой. И Гренер разговаривал с ним языком полуприказаний.

Ввести войска в Берлин. До минимума ограничить права Советов. Вернуть офицерству привилегии. Содействовать всеми силами установлению порядка.

Эберт нашел в себе талант послушания. Роль канцлера, облеченного полнотой власти и при этом опирающегося на армию, устраивала его вполне. Все режимы мира опирались на армию, и Эберт вовсе не стремился к тому, чтобы новый режим был исключением. Власть его — Эберт знал наверняка и позже поставил это себе

в заслугу — была охранительной, готовой опереться на силы старой кастовой армии.

За какие-нибудь две недели права Исполкома стали мнимыми. А власть кабинета Эберта из мнимой и зыбкой, державшейся будто бы на доверии народа, превратилась в сравнительно прочную, с опорой на армию.

Военные силы комплектовались в Берлине и в других местах. Отто Вельс сколотил отряды охранников. Было много добровольческих буржуазных дружин и так называемое народное ополчение. Перед ними поставили цель защищать правительство.

Ставка же проделала важнейшую часть работы: отвела после поражения войска за Рейн, распустила всех неустойчивых по домам, а кадровиков — фельдфебелей, сержантов, унтер-офицеров — сплотила в новые формирования.

Пришло время требовать, чтобы правительство разрешило ввести в столицу надежные части.

Берлин не совсем еще разобрался в том, что́ принесло ему девятое ноября. Свободу? Облегчение условий жизни? Нет, облегчения не было. Только бои на фронте прекратились. Мысль о кровопролитии была берлинцам теперь ненавистна.

И надо же было, чтобы в разгар бурной уличной жизни, с митингами и демонстрациями, с выступлениями Либкнехта, Люксембург, Пика одна из демонстраций, воспламененная речью Либкнехта, направилась к полицай-президиуму на Александерплац требовать, чтобы все политические, кто еще там сидит, были освобождены. Именно в это время она наткнулась на грузовик с охранниками Отто Вельса и была ими обстреляна.

Спустя короткое время случилось еще одно серьезное событие. На этот раз внушительную демонстрацию устроил Союз красных фронтовиков. Носила она мирный характер. И тем не менее на углу Шоссештрассе и Инва-

лиденштрассе солдаты полка «Майские жуки», получившие уже известность довольно мрачную, обстреляли ее. На этот раз убитых и раненых было много.

Провокации готовились не так уж скрытно. Перед тем унтер-офицеры провели в цирке Буша свое собрание. Там, где недавно кипели страсти сумбурной, но настроенной радикально массы, ярились на этот раз темные силы старого порядка. Унтеры присягнули на верность Эберту и обещали сделать все, чтобы поддержать его кабинет.

Когда на улицах Берлина пролилась кровь, к зданию имперской канцелярии подошла толпа из сержантов, унтеров и других верных людей. Потребовали канцлера.

Он появился на балконе. Снизу стали кричать ему, чтобы он объявил себя президентом и установил наконец порядок. Эберт со всей скромностью великого человека заявил, что высоко ценит доверие народа, но прежде должен обсудить вопрос с членами правительства и с партией. Толпа повторяла его имя долго, как бы подчеркивая его популярность.

В свой кабинет Эберт вернулся приятно возбужденный, но не меньше прежнего озабоченный. Вот уже сколько времени ставка настаивала на вводе войск в Берлин, а он согласия не давал. И не отклонял тоже — скорее старался убедить, что подходящий момент еще не пришел.

Эберт рассчитывал на собственные формирования, а их не хватало. Весьма пригодился бы Носке, но он сидел в Киле и по-прежнему упивался ролью военного губернатора. Конечно, и Вельс был надежной опорой, но полагаться на него одного казалось рискованным.

Канцлер Эберт потребовал справку о сегодняшних жертвах.

— А стрельбу кто первый открыл? Левые, надо думать?

— Они, безусловно.

— Я, разумеется, глубоко сожалею, но, увы, они заслужили свою участь,— заключил Эберт.

Он не знал еще, какая каша заварится. Потому что спартаковцы и независимые после этой провокации решили обратиться к народу, призывая его протестовать.

Оказалось, что в сердцах берлинцев запал еще есть. Рано утром следующего дня трудовой Берлин поднялся, как по команде, и вышел на улицы. Он был снова революционным, полным решимости, как и девятого ноября. Куда ни взгляни, повсюду демонстранты. Колонны шли и шли, с флагами, транспарантами. Клич был один: все на Аллею победы!

Фигура Либкнехта в черном пальто и поношенной темной шляпе мелькала то здесь, то там. Стоило колонне сделать остановку, как он, взобравшись на выступ дома, или балкон, или опору колонны, обращался к рабочим с краткой, но страстной речью.

Слово «возмездие» было у всех на устах. Зная, кто истинные виновники вчерашних расстрелов, демонстранты кричали:

— Долой Фридриха Эберта! Долой Вельса!

Эберт сидел в своем кабинете с серым, обрюзгшим лицом и делал вид, будто работает, хотя на самом деле только водил пером по бумаге. Вот когда пригодились бы Носке и генералы! Кажется, он допустил ошибку, что противился до сих пор вводу войск.

Демонстрации продолжались до позднего вечера. Когда стало известно, что завтра на Трептовых лугах назначено их продолжение, Эберт решился.

Связавшись по прямому проводу с Касселем, где находилась ставка, он стал выторговывать кое-какие уступки: только без оружия, пожалуйста; пускай марш воинских подразделений явится мирной манифестацией национальных сил!

Он разговаривал как проситель и в ответ на незначительные уступки не только согласился на ввод частей, сформированных ставкой, но и пообещал достойно встретить их.

XIX

И вот наступил день, которого так настойчиво добивались Гинденбург и Гренер. В Берлин с развернутыми знаменами и музыкой должны были вступить войска.

Задолго до того, как началась церемония встречи, вблизи Бранденбургских ворот собрался народ. Кто говорил: «Снова на нашу голову! Не хватает «Майских жуков», которые расстреляли наших людей, так еще эти!». Другие говорили: «Интересно все-таки посмотреть, какой у них вид теперь, когда военные действия кончились!»

Организаторы постарались придать парадность зрелищу, развернувшемуся перед глазами берлинцев. Да, что там ни говорите, это армия — армия Германии. Без кайзера, республиканская, но все же лощеная, стройная, натренированная!

У одних возникла иллюзия, будто армия возвращается после долгих боев с триумфом. Другие с горькой иронией посматривали на молодцеватых солдат, словно решивших показать, что ничего не изменилось и сила, на которую опирался прежний режим, существует и сейчас.

Солдаты щеголяли четким шагом, выправкой, туповато-бездумными лицами, но ничему, в сущности, не научились: войну они проиграли, а умнее не стали.

В этой разноголосице мнений тон должен был задать рейхсканцлер. Он прибыл к Бранденбургским воротам к началу парада и поднялся на возвышение. Революционная Германия своего ритуала еще не выработала, а тут царила прежняя напыщенная парадность.

Итак, канцлер взобрался на сооруженный для него помост и стал расчесывать маленькой щеточкой усы. В присутствии народа он должен был показать, как уверенно чувствует себя в роли главы правительства. И вот стали приближаться воинские части. Они шли парадным маршем, при оружии, с развернутыми знаменами. Музыка оборвалась на неполном такте, солдаты и офицеры замерли по команде «смирно». Следующая часть, заняв свою диспозицию, построилась рядом и замерла тоже. Так произошло развертывание частей, вступивших в столицу.

А Фридрих Эберт, не совсем еще влезший в скорлупу правительственного деятеля первого ранга, делал все, чтобы берлинцы признали его перворазрядность.

Свою речь он обдумал тщательно. Она должна была понравиться генералам и благомыслящим людям, всем, в ком билось немецкое сердце. Должна была запомниться и произвести впечатление. Если чего он не смог предусмотреть, так это, что речь, такую патриотически благонамеренную, нынешние его союзники позже поставят ему же в вину. Но кто способен проницать будущее!

Сняв шляпу и подставив голову холодному декабрьскому ветру, Эберт обратился к замершим воинским частям. От имени правительства и народа он заявил, что столица встречает их как героев. Германия принуждена была подписать тяжелые условия перемирия, но армия вовсе не побеждена. По упорству и храбрости, по силе и моральной стойкости немцы не знают себе равных. Четыре года они показывали чудеса героизма. Поэтому он, канцлер новой Германии, приветствует ее сынов и воздает должное их доблести.

Не будучи мастером эффектных выступлений, на этот раз он превзошел науку эффектности. Слыша дружные выкрики «Hoch!», Эберт сознавал себя чуть ли не Цезарем.

Затем церемониальный марш возобновился, и жители столицы могли наблюдать, как по улицам шагает армия, готовая защищать их, а если понадобится, то и расстреливать.

Разве же мог Эберт думать, что речь, произнесенная им ко благу, станет потом обвинительным документом против него! Генералы намотали слова канцлера себе на ус. Речь его явилась хорошим бульоном, в котором позже варились идеи гитлеризма.

Она способствовала распространению версии «ножа в спину». Как?! Если германская армия после всего, что с нею было, выступает опять в блеске славы и оснащенности, значит, добиться победы помешало ей что-то другое? Ответ был один: силы ее подрезала революция, это она лишила армию возможности довести до конца дело на полях войны.

Еще месяцем раньше некоторые журналисты заговорили о том, что революция и капитуляция совпали по времени не случайно: Германия капитулировала именно в результате революции.

Ставка пока молчала. Там были довольны приемом, какой социалист Эберт оказал частям, вступившим в Берлин. Уж они-то знали, что это менее всего детище революции: если армия чему и послужит, то целям прямо противоположным.

А пока по взаимному уговору решено было отвести вступившие в Берлин части подальше, в предместья, чтобы в тиши и великой тайне продолжить дело, начатое так хорошо.

XX

Наконец, к удовольствию Эберта, Носке прибыл в Берлин. Ни сутулость, ни зловещего вида стальные очки не бросались больше в глаза: в нем виден был прежде всего человек, понаторевший в военном деле и привык-

ший принимать рапорта. Опыт Киля он готов был использовать гораздо шире.

Но сердечность, с какою его встретил канцлер, носила слишком будничный характер. Правда, Эберт встал, потряс ему руку, однако выражение озабоченности на его лице осталось.

— Ну как, Фридрих? Матросы, которых я вам послал на подмогу, пригодились?

— Что тебе ответить? Шестьсот человек — это не так уж много.

— В тот момент нельзя было выделить больше.

— Дело не в том. Матросы в общем-то ничего, но слишком уж по-хозяйски они расположились в столице.

Густав расхохотался:

— А ты хотел бы, чтобы они ютились по лачугам? Без заигрывания с ними обойтись нельзя было. Вы меня в прямолинейности укоряли, а вот, когда надо, я умею быть гибким.

— Мы, наоборот, наилучшего мнения о твоих успехах и намерены использовать тебя на высоких постах.

— Что же, уклоняться не в моих правилах, ты ведь знаешь.

Носке уселся, как у себя дома. Речь шла о народной морской дивизии, присланной им в Берлин. Оба решили, что в ближайшее время придется произвести некоторые изменения в ее командном составе.

— Тебе не нравится их командир Дорренбах? — сказал Носке.— Можно будет поставить во главе графа Меттерниха, уж он-то никакой агитации не поддастся.

— А согласятся ли матросы? — с сомнением заметил Эберт.

— Мне приходилось проводить там дела посерьезнее.

— Разве это нормально: расположились во дворце кайзера и превратили его черт знает во что?!

— Вот с переселением их как раз посоветовал бы повременить.

Эберт глубже залез в свое кресло.

— Понимаешь ли, слишком революционны они для меня: эта их неорганизованность, анархичность...

— Ах,— сказал Носке,— спесь можно с них сбить одним рывком.

— То есть? Толкнуть на провокацию? Заставить выйти на улицу и разоружить?

— Зачем называть это провокацией! Назовем лучше непреднамеренной случайностью.

Эберт промолчал. Затем объявил более сухо, что надо будет еще обсудить все как следует.

Расстался он с Носке с прежней сердечностью и на прощание предупредил, что тот может понадобиться ему в ближайшее время.

XXI

Дома Либкнехт перестал ночевать, а если и забегал среди дня, то совсем ненадолго.

Зная, что за их квартирой следят, Соня мирилась с его отсутствием. Она со многим примирилась бы, если бы не измученный вид Карла и нотки предельной усталости, прорывавшиеся в голосе. Посещения Карла, как он ни старался сделать их оживленными, оставляли после себя тягостный след. Случалось, после его ухода она ловила себя на том, что ее охватывают тревога и страх.

Даже когда Карл сидел в крепости, и то состояние ее было ровнее — она привыкла вести свой отсчет времени. Письма из тюрьмы, редкие свидания, случайные весточки через случайных людей — еще можно было как-то жить. Но теперь на смену тому пришло не передаваемое словами ужасное напряжение, в котором даже некому было сознаться.

С Гельми говорить об отце было невозможно: он все понимал, но воспринимал слишком трагически. Роза не

появлялась. Связь, налаженная с нею в годы заключения, как будто оборвалась. Вообще непонятная скрытность окружала жизнь Карла и Розы. Они появлялись буквально везде, их речи звучали с маленьких возвышений и с больших трибун, газета печатала их статьи и пламенные обращения. Иной раз связной приносил записку: «Обнимаю вас всех, все в порядке, целую несчетное число раз, пожалуйста, не волнуйтесь. Ваш К.» И вместе с тем завеса неопределенности заволакивала жизнь обоих.

Карл оставался верен себе. Забежав домой, он старался вдохнуть во всех одушевление, веру, даже веселость. Но обмануть Соню было трудно: она видела, в каком он состоянии, почти на пределе.

Так вот он забежал как-то в один из декабрьских сумрачных дней. Соня кинулась к нему, обняла и не выдержала — расплакалась.

— Но почему же, родная? Ведь все хорошо, уверяю тебя. Будет, во всяком случае, хорошо.

Она отважилась спросить, почему же все так нехорошо сейчас.

— Не понимаю, Сонюшка... Кто тебе это сказал?

— Но я вижу сама. Или ты считаешь, что я ничего не вижу?! Ничего не понимаю?

Либкнехт присел на диван, положил ногу на ногу и стал растирать узловатой рукой колено. На нем был сильно поношенный костюм, брюки были совершенно измяты. Не одну, видно, ночь он провел, не раздеваясь. Он потирал колено, которое почему-то болело, и щурился.

— Сонюшка, родная, в этом не так легко разобраться. Со стороны не все понятно.

— Даже быть твоей женой и то недостаточно?! Ты что же, думаешь, твой вид говорит, что все благополучно?!

Либкнехт тронул ладонью лоб, словно делая усилие над собой, прежде чем решиться на прямой разговор.

— О благополучии говорить сейчас не приходится, Сонюшка,— сейчас идет борьба. Борьба трудная, но будущее принадлежит нам.

— И именно вы́ направляете все процессы — ваша воля и ваши силы?

Это прозвучало так, будто она с ним спорила. Но Либкнехт понимал, откуда такой непривычный тон. Он снова потер колено и мягко заметил:

— Законы революции постигаешь на собственном, очень нелегком опыте. Но не менее отчетливо, чем их, я постигаю и закономерности контрреволюции. Как некие математические формулы.

Сердце у нее больно сжалось. Карл та́к не разговаривал с нею давно: так прямо о самом важном; это не к добру.

В самом деле, попав домой и увидев состояние Сони, Либкнехт словно почувствовал, что надо сделать короткую остановку, растормозиться, что ли, позволить себе роскошь откровенности. Было отрадно размышлять в присутствии дорогого человека.

— Понимаешь ли, Сонечка, кадры контрреволюции не так уж велики: имущие, юнкера, армия, которую разбили и которая опять собирает силы в кулак. Наши силы неизмеримо больше. Но тут вступает в действие закон организо́ванности: у них все вымуштрованы, наши же тысячи и миллионы способны сплотиться на час, на день, самое большее на дни. А центра, который бы овладел ими и направлял их, нет!

«Почему же вы не создали его?! — захотелось ей крикнуть.— Почему не создали организацию, которая противостояла бы такому противнику?!»

В ее глазах были страстное ожидание и отчаяние, но она ничего не сказала. Карл отвел свой взгляд — так ему было удобнее размышлять.

— Создавать надо было раньше, когда я сидел в

Люкау. Но мы были так раздроблены, что оторваться от уже сформированной партии не решились. Мы и до сих пор связаны с нею, хотя каждый день убеждает, что идти с этими гирями на ногах невозможно.

— О ком ты говоришь, Карл? Я не поняла.

Либкнехт вел разговор больше с собой, чем с нею, и ответил не сразу.

— То, что большевики сбросили груз меньшевизма и давно вышли на собственный путь, спасло русскую революцию. В этом секрет ее талантливости, ее, если хочешь, поражающей устойчивости. У нас этого нет, мы боремся не только с открытым врагом, но и с врагом, с которым связаны одной веревкой. В этом, Соня, наша трагедия.

Наконец она услышала слово, которого почему-то ждала и которое свело на нет прежние уверения Карла.

Мысли о муже у Сони раздваивались. Он едва ли не самый популярный в стране человек, по его зову, как и по зову тех, кто вместе с ним, выходят на улицу сотни тысяч. И в то же время что-то непонятное, темное и зловещее обволакивает их, накапливается, как промозглый туман, как тяжелые испарения. Дело не только в слежке, какую установили за ним,— предчувствие беды растет от мелочей, каких-то симптомов. То кто-либо участливо спросит о муже, и в глазах у него прочитаешь тревогу; то ей прямо скажут, что надо остерегаться. Кому? Ей? Нет, обоим, и Карлу в особенности. То наглые письма без подписи или со многими подписями, с угрозами и обещанием учинить любое возможное зверство.

Могла ли она посвящать в это Карла? Стоило только заговорить, как он или смеялся, или махал руками, будто отталкивая от себя муть истерических замыслов.

— Сонюшка, родная, пойми: борьба есть борьба и в ней применяют любые средства.

— Но не вы же!

— Конечно! На такие приемы мы ни за что не пойдем, а эти молодчики способны.

— Они способны на все решительно! — чуть не с отчаянием произнесла она.

— Что же, рука возмездия покарает их рано или поздно, это исторически неизбежно.

— Но хозяева положения сейчас они!

Желая хоть сколько-нибудь успокоить ее, Либкнехт сказал:

— Всегда надо помнить о лучшем. Вот я с вами, кончились дни неволи... А что не часто бываю, так погоди, потерпи — все придет, все уравновесится. Мы только-только набираемся опыта, проходим небывалую школу борьбы, пойми же. Ведь это впервые в истории Германии!

На этот раз он остался дольше: подождал, пока Соня приготовит обед, хотя тревога невольно гнала его из дома. Соня умолила его, чтобы он побыл еще.

— Не осуждай меня, милая, мне надо к товарищам — это и долг, и потребность. Ты ведь знаешь, как мне с тобой хорошо, но я не имею права здесь оставаться...

И все же он остался. Когда вернулись домой дети, отец стал увлеченно расспрашивать их обо всем, вспомнил «Страсти по Матфею», о которых писал им еще из тюрьмы.

— Вот все войдет в колею, и мы пойдем слушать концерт с партитурой в руках... Славный вечер будет, не правда ли? — И он посмотрел на жену, ожидая ее поддержки.

Соня опустила глаза и едва заметно, через силу, кивнула.

Были уже ранние декабрьские сумерки, когда Либкнехт вдруг вспомнил:

— Бог мой, я пропустил редакцию, совещания, все!..

— Погоди, погоди,— засуетилась Соня,— я хотела дать тебе другой шарф, у тебя шея почти открыта, ты простудишься.

— Ну, в другой раз, скоро же я приду опять.

И ушел. Темнота плотно придвинулась к окнам. У Сони не было сил зажечь электричество. Она сидела с опущенными руками, не двигаясь. Ей казалось, что Гельми чувствует то же, что и она. К счастью, Верочка внесла в это невозможно тягостное состояние какую-то разрядку: заговорила с Бобом о выставке, на которую тот собирался пойти. Или они собирались пойти вдвоем.

Какое счастье, подумала Соня, что на земле существует беспечность, детская беспечность, от которой легче становится жить!

XXII

Комендант Вельс сумел-таки отличиться: то ли в нем заговорил божьей милостью бюрократ, то ли пришло время свести счеты с матросской дивизией, которая за милую душу расположилась во дворце, как у себя дома. В дни, когда рабочие протестовали против кровопускания, которое Вельс учинил, матросы чуть не братались с ними. Он это запомнил.

Словом, Вельс задержал им жалованье, свалив вину на финансовые органы. Жалованье было совсем небольшое, а обида очень большая. Теперь у матросов только и разговоров было, что о задержке денег.

Они снарядили к Вельсу делегацию. Он принял ее и, как подобало чиновнику нового склада, сказал, что ничего, подождут. А может, и вообще ничего не получат.

Перед ними сидел не слуга народа, а бюрократ, способный выслушивать и отказывать. Делегаты возненавидели его лютой ненавистью, на какую способны люди, равно чуткие и к добру, и ко злу.

Дивизия бушевала. И кто теперь разберет, было ли указание Вельсу или кто-либо из вожаков намекнул лишь на возможность такого хода, но дело приняло дурной оборот: матросы восстали, сбросили старого командира, выбрали своего и постановили идти походом на комендатуру: для начала расправиться с Вельсом, а затем навестить Эберта в его резиденции и потолковать с ним тем способом, какого требовала их матросская душа.

Вельс успел сбежать. Потом его все же схватили и доставили в манеж, который матросы занимали тоже. Что до рейхсканцелярии, то туда ворвался отряд человек в сто и произвел изрядный переполох.

Эберт угрюмо сидел в своем кабинете и толком не знал, спасаться ли ему бегством или отстаивать свой престиж. Все же он приказал военному министру освободить Вельса, чего бы это ни стоило.

Восставшие действовали, впрочем, неорганизованно, и не так уж трудно было прекратить затеянный ими шум. Хватило бы одной воинской части. Матросам было предписано покинуть дворец, в котором они якобы перепортили мебель и прочие ценности. Они отказались, конечно.

День прошел в страшном волнении. Статс-секретарь Шейдеман много раз заходил к Эберту и подавал советы благоразумия. А Эберт нетерпеливо ждал часа, когда можно будет связаться со ставкой.

Наконец пришла минута, о которой мечтал изнервничавшийся и вконец перепуганный канцлер. На другом конце провода послышался знакомый голос:

— Так ка́к, помощь армии нужна?

— Я полагал бы ее своевременной; даже не помощь, а некоторую дополнительную поддержку.

— Ведь мы предлагали меру более радикальную, и Берлин был бы давно очищен от злонамеренных элементов.

— Но те части, которые вы ввели, разложились тоже!

Это верно, одна воинская часть, введенная в Берлин, поддалась духу неповиновения: многие солдаты сбежали домой, у других резко упала дисциплина.

— Теперь, господин рейхсканцлер, все совсем изменилось: полки, какими мы располагаем, надежны... Или, если хотите, возможен другой вариант.

— Какой, ваше превосходительство? Слушаю вас.

— Правительство могло бы перебраться к нам в Кассель, а мы тем временем навели бы порядок в столице.

— Покинуть столицу?! Это пока не диктуется обстоятельствами...— пробурчал Эберт в трубку.— Впрочем, подумаю.

На всякий случай он распорядился готовить для правительства поезд. Но он так и не знал, кто́ хозяева положения в городе. Одно было ясно: части, на которые можно было бы опереться, необходимо усилить.

Под утро в Берлин вступили новые формирования. Парадности на этот раз не было. Мрачно и сосредоточенно солдаты чеканили шаг. Они оцепили дворец, в котором держались матросы, и утром начался артиллерийский обстрел. Матросы отвечали беспорядочными ружейными выстрелами и пулеметными очередями.

Потрясенный Берлин слушал канонаду в самом центре города. Вскоре завыли сирены, загудели заводские гудки и рабочие стали сбегаться к месту боя. Бежали не только они, но и старики и женщины.

— Что вы делаете?! — кричали солдатам женщины.— Губители, прекратите! Перестаньте стрелять по своим!

Они увещевали солдат, грозили им и прямо лезли на батареи. В конце концов они настолько расстроили их ряды, что солдатам, готовым превратить дворец в развалины, пришлось отступить. Многие из них были разоружены, разъяренные женщины срывали с офицеров погоны.

Было двадцать четвертое декабря, сочельник. Вечером в домах должны были загореться елки, а в центре Берли-

на произошло, по вине Эберта, это жестокое кровопролитие.

Независимые поняли: раз они входят в правительство, приказавшее разгромить дворец, отвечать придется и им. Они метались между рейхсканцелярией и матросским комитетом, заседавшим в манеже. Эберт согласился гарантировать матросам, что они не будут разоружены при условии, что вмешиваться во внутренние распри больше не станут и сохранят верность его кабинету.

Рабочие, женщины и старики еще долго не расходились, возмущенные тем, что видели. Их переполняло негодование, но они не знали, как заставить правительство уважать волю простых людей.

XXIII

Не прошло и часа после прекращения обстрела, как в редакции «Роте фане» собралось бюро «Союза Спартака». Пришли все, даже больной Меринг, взволнованные и возмущенные. Пожалуй, одной только Розе Люксембург удавалось скрыть негодование под усмешкой человека, которого трудно чем-либо поразить. Либкнехт, как затравленный, бегал по редакционной комнате. Обстрел дворца, убийство матросов он воспринял и как политик, и как глубоко впечатлительный человек, потрясенный бесстыдством организаторов.

— Вот когда они показали себя. И как гнусно, как откровенно! Партия контрреволюции раскрыла свои карты!

Иогихес сидел сосредоточенный и молчаливый. Ни на кого не глядя, он что-то выводил на бумаге и нетерпеливо ждал, когда начнется заседание.

Лишь только Меринг открыл его, Иогихес попросил слова.

— Я вношу предложение: товарищи Либкнехт и Люк-

сембург должны перейти на нелегальное положение, это необходимо.

— Об этом и речи не может быть! — воскликнул Либкнехт, вскочив с места.— Столько времени просидеть в тюрьме, чтобы спрятаться в самые сложные дни от дел, от людей, от революции!

Меринг с тревогой взглянул на него и на Розу.

— Надо думать, у Лео есть к тому серьезные основания,— заметил он осторожно.

— Увы, слишком серьезные.

— Я настаиваю, чтобы вопрос был немедленно снят,— решительно сказал Либкнехт.— И не для того мы сейчас собрались. Терять время на это мы просто не вправе.

Роза заявила, что совершенно согласна с Карлом.

С первых минут она незаметно наблюдала за ним: в чем-то ребенок, думалось ей; рыцарь, отважный и в то же время ребенок; не в политическом смысле, нет, а в проявлениях своей личности. Бесстрашный, и незащищенный, и нерасчетливый.

Видит бог, она думала в эту минуту о нем с необычайной нежностью. Но, представляя себе бесстыдство противников, с тайной горечью сопоставляла сидевшую в комнате группу с шейдемановцами. Никого почти не провели на съезд Советов, только подумать! Шейдемановцы оказались там хозяевами положения. Они хладнокровно сметут любого, кто окажется у них на пути. Хваленая немецкая социал-демократия, вот на что уходит твоя организованность и спаянность!

Между тем Либкнехт, весь под впечатлением событий, настаивал, чтобы в ответ на брошенный революции вызов рабочие вышли на улицу.

— Отдельно от независимых или совместно? — спросила Роза.

— За сегодняшнее они отвечают наравне с правыми, раз участвуют в кабинете Эберта. Надо поставить им

ультиматум: или в ближайшие дни они созывают всегерманский съезд партии и там произойдет размежевание, или мы просто выйдем из партии, обагрившей свои руки кровью.

Роза заметила рассудительно:

— Не исключайте и того, что они могут выйти из правительства сами, якобы протестуя.

— Пора наконец внести ясность! — заявил Либкнехт.— Выйдут или не выйдут, но лицо свое они показали. Нужен съезд, мы будем апеллировать к съезду. Пребывание в одной партии с ними ложится на нас темным пятном. Конечно, они сошлются на трудности связи, но это вовсе не резон. Вот Лео сообщит сейчас...

И Лео в самом деле сказал, что всегерманская конференция «Союза Спартака» соберется в ближайшее время, дня через два-три.

— И там вопрос будет стоять о партии коммунистов, а не соглашателей и изменников! — горячо заявил Либкнехт.

— Надо повести дело так, чтобы отколоть от них и увести за собой лучшую часть независимых,— заметила Роза.

Заседание проходило негладко и наталкивалось на скрытые рифы. Слишком сильно было впечатление от утренних событий. А кроме того, в работе «Союза Спартака» накопились какие-то разногласия, которые не удавалось пока разрешить.

На вылазку Эберта Либкнехт готов был ответить немедля — как угодно, вплоть до открытых схваток. Роза Люксембург призывала к осмотрительности и выдержке.

После долгого и страстного обсуждения было постановлено: похороны погибших матросов превратить во всенародную демонстрацию решимости и протеста, а от независимых потребовать созыва чрезвычайного съезда в ближайшие дни.

Роза поднялась наконец и с обычной неотразимой логичностью заговорила об уроках съезда Советов, проведенного совсем недавно.

— Надо признать, что мы потерпели жестокое поражение, а шейдемановцы получили внушительное большинство. И надо сделать из этого все выводы. Нам придется, товарищи, завоевывать большинство терпеливо и, боюсь, неторопливо.

— Но время не ждет,— возразил Либкнехт.— События несутся стремительно, и, если мы повернемся к ним спиною, ничего хорошего не получится.

— Иногда противникам выгодно ускорять ход событий, это надо иметь в виду.

— Но ураганом не управляют, его можно лишь предвосхитить и подготовиться к нему.

— Вы правы в оценке событий, Карл, но не совсем правы в определении нашей тактики. От нас требуется очень большая выдержка.

Страстный спор возобновился было опять. Но Мерингу удалось его погасить.

— Ближайшие события помогут точнее определить нашу тактику. Шаг Эберта далеко не последний, будет еще много других.

— Вот их-то мы и должны встретить во всеоружии! — воскликнул Либкнехт.

В конце заседания Иогихес вернулся к своему вопросу снова:

— Я все же настаиваю, чтобы два наших товарища перешли на нелегальное положение.

На этот раз он встретил поддержку Пика:

— Раз Лео говорит, что у него веские основания, надо обсудить.

Либкнехт стал страстно спорить, причем разволновался так, что щеки у него побелели:

— Поймите же наше состояние — мое и Розы. Изоли-

ровать нас от всего мира просто несправедливо! Если положение ухудшится, мы найдем и место, где скрыться, и определим подходящий день. Но сегодня, накануне съезда «Спартака»...

Меринг обвел взглядом всех, пытаясь определить их мнение:

— Карл, по-моему, прав. До съезда это просто невозможно и причинило бы слишком большой урон делу.

С этим все наконец согласились. И тут же было решено, что Карл и Роза в ближайших номерах «Роте фане» обрушат свое негодование на головы виновников сегодняшней провокации.

XXIV

Двадцать девятого декабря независимые, спасая свою репутацию в глазах рабочих, вышли из эбертовского кабинета.

Двадцать девятого же хоронили матросов. Тела погибших провожала огромная демонстрация. С суровой строгостью массовых траурных шествий берлинские пролетарии прощались с жертвами «кровавого сочельника». Медленный, веский шаг бесконечных колонн, лица рабочих, плакаты, которые они несли, говорили о гневе и возмездии.

Но Эберт в своем кабинете мог принимать донесения о происходящем спокойно. Ступив на путь террора, он почувствовал себя гораздо надежнее. Союз с армией, скрепленный кровью матросов, обещал его кабинету поддержку.

Под первым же обращением к жителям после кровавых событий появилась новая подпись, как в прежние кайзеровские времена: «Имперское правительство». В вывеске «народных уполномоченных» его кабинет больше не нуждался.

Получив уведомление независимых, что они выходят из состава правительства, Эберт пробурчал:

— Ну и что же... Обойдемся без них.

У него были теперь другие союзники, власть его получила иную опору.

Советов он мог теперь не бояться: Всегерманский съезд Советов, проведенный две недели назад, принес подавляющее большинство его партии. Решения его не угрожали больше самостоятельности правительства.

Перед зданием ландтага, где проходил съезд, бушевала толпа и Карл Либкнехт произносил горячие речи.

Заканчивая одну из самых страстных своих речей, он воскликнул:

— Так будет наш голос, голос тысяч и сотен тысяч, услышан наконец или мы допустим, чтобы шайка чиновников проштемпелевала решения, угодные господину Эберту?!

Толпа закричала:

— Не будет того! Долой палача Эберта!

Либкнехт поднял руку, призывая огромное море людей к тишине:

— Тогда изберем с вами делегацию и потребуем, чтобы съезд ее выслушал.

Драма тех дней состояла в том, что улица, массы были на стороне спартаковцев, но могущественный аппарат новой имперской власти находился полностью в руках у правых. С каждым днем они все туже сжимали горло трудящимся.

Председатель съезда Советов шейдемановец Лейнерт, получая возмущенные петиции многочисленных делегаций, спокойно клал их под сукно. Делегации трудящихся на съезд не допускались.

Одной лишь делегации, от гамбургских фронтовиков, удалось проникнуть на заседание. Фронтовики потребовали решительного разоружения офицерской касты и

многого другого. Подчинившись настроениям солдатской массы, съезд часть этих требований принужден был принять. Они получили известность под названием «гамбургских пунктов».

Но тут Гинденбург, из убежища в Касселе наблюдавший за всем, наложил свою руку. Никому не позволено было теперь подрывать основы, на которых держалась армия. Он опять пригрозил отставкой, если «гамбургские пункты» будут проведены в жизнь.

Кабинет Эберта охотно от них отказался. Слишком прочно он связал себя со ставкой, чтобы пренебречь ее ультиматумом.

XXV

Вместо вышедших в отставку независимых Эберт ввел в свой кабинет двух социал-демократов. Одним из них был Густав Носке. Наконец-то его таланты были оценены по достоинству.

В один из трудных для Эберта дней Носке навестил его в рейхсканцелярии. Это было еще до того, как он стал имперским министром. Увидав землистое, осунувшееся лицо с мешками под глазами, Носке спросил:

— Что с тобой, Фридрих? Этак можно и здоровье подорвать.

— Ты не хуже меня знаешь, что творится в городе.

— А-а, ерунда, не обращай внимания!

Слушая жалобы Эберта, прищурясь и кривя губы, он подумал: вот каков рейхсканцлер вблизи; еще немного и, прости господи, в штаны наделает.

— И это тебя огорчает? — Носке поднял очки на лоб и посмотрел на Эберта почти с вызовом.

— А почему, собственно, это должно меня радовать? — брюзгливо заметил тот. — Или ты в Киле так подружился с солдатской массой?

Движением записного канцеляриста Носке водворил очки на место и произнес, подчеркивая смысл того, что говорил:

— Если я с кем и подружился, так с военными, руководством. И скажу тебе, Фридрих: они единственная сила, на которую можно опереться. («Экую новость открыл!» — подумал Эберт.) Левые со своими лозунгами будут все время сталкивать нас с пути — добьемся чего-то, а они нас опять отбросят! И так без конца. Это будет не государство, а танцкласс.

Не раскрывая своих карт, Эберт спросил:

— Выходит, ты веришь только военной клике?

— Разумеется. Армия проиграла войну на внешних фронтах, но у нее хватит сил, чтобы справиться с фронтом внутренним.

Такое совпадение мыслей было приятно. И все же Эберт сказал:

— Да, но эти тысячи, сотни тысяч взбудораженных людей...

— Их укротят кнут, меч, пули! Напустить на них свирепых собак! — не задумываясь, ответил Носке.

— Несколько странно, сказал бы я, ты характеризуешь тех, кто должен принести порядок стране.

— Просто я не миндальничаю. Завертывать дерьмо в конфетные бумажки я не люблю, хотя, как старый газетчик, умею. На страну, повторяю, надо напустить свирепых собак.

Эберт выслушал его тираду с каким-то душевным успокоением. Однако по-отечески покачал головой. Но если этот лесной порубщик, этот будущий главнокомандующий внутренним фронтом — не Вельса же назначать после того, как он так опростоволосился! — готов взвалить на себя бремя кровавой расправы, так что ж, пускай.

— А ты, Фридрих, в новые воинские формирования не веришь разве? — спросил Носке.

Эберт повел бровью.

— Во всяком случае, слежу за ними внимательно.

— Нет, надо увидеть их своими глазами. Я свезу тебя кое-куда, и ты посмотришь, что там происходит.

Эберт лишь плечом шевельнул: настаивать на посещении он, канцлер, не стал бы сам, но раз Густав считает полезным...

И Носке, в тот день еще не министр и вообще никто, снял телефонную трубку и с кем-то соединился.

— Это я, да-да... У вас хороший слух, вы меня всякий раз узнаете, приятно... Вот что: господин рейхсканцлер готов со мною и, скажем, с вашим адъютантом посетить одно из мест, о которых у нас шла речь в прошлый раз. Разумеется, совершенно приватно... Вот и хорошо, мы будем ждать.

Вскоре оба вышли. Эберт в темно-сером пальто и мягкой шляпе имел вид вполне представительный, хотя был низок ростом и двигался тяжело. Сутулящийся, с походкой долговязого человека Носке выглядел простовато и мало походил на специалиста по военным делам.

Машина с прямоугольным кузовом ждала их у подъезда.

Эберт грузно уселся, заняв бóльшую часть сиденья.

— Куда ты меня везешь? — уже по пути спросил он.

Машина неслась по берлинским улицам, но направление оставалось пока неясным.

— Цоссен, ты такое место знаешь? Увидишь сам, что делается для страны и для ликвидации анархии.

Если бы это было так просто, подумал Эберт. Мало ли сделано за короткое время? Вопрос о созыве Национального собрания разрешился, и никто не посмеет больше возражать. С Советами почти покончено... Многое сделано, а уверенности в спокойствии нет. Может, прав Густав, и кровопускание необходимо?

Машина неслась по шоссе. Не очень красивое зрелище открылось по сторонам: кирпичные заводские стены унылого вида, затем потянулись постройки, пристройки, свалки железного лома, наконец, однообразное поле. Эберт посматривал по сторонам, не вступая в разговор.

Но когда прибыли, когда из аккуратно окрашенной сторожевой будки вышел к ним лейтенант и Носке уверенно сослался на ответственное лицо, а тот ответил, что сейчас же свяжется по телефону, Эберт решил, что дело поставлено тут солидно.

Их повели прямыми дорожками, выложенными по бокам красной черепицей, мимо сиявших свежей краской казарм и бараков к плацу. Перед ними раскрылась ослепительная картина: отлично экипированные подразделения с превосходной выправкой маршировали на плацу.

Эберт наблюдал зрелище военных учений, как будто специально устроенных для него. Рядом стоял адъютант, готовый к любому вопросу, но господин рейхсканцлер почти не затруднял его.

Достаточно насладившись зрелищем, он медленно повернул назад. Адъютант несколько задержался.

— Тебе это что-нибудь говорит? — спросил Носке.

— Судя по всему, дело поставлено серьезно.

— Серьезнее, чем даже можно подумать.

В присутствии адъютанта Носке перешел на официальный тон:

— Если позволите, господин рейхсканцлер: каковы ваши впечатления?

Такую перемену тона Эберт воспринял, как должную.

— Я увидел глубоко патриотическое начинание: страна нуждается в дисциплинированных частях больше всего.

— Понадобится еще немного времени,— добавил от себя адъютант,— и результаты выучки оправдают себя вполне.

Их проводили до машины со всеми знаками уважения. На обратном пути Эберт хотя и молчал, но смотрел по сторонам не так хмуро.

А под конец, уже в Берлине, оставив Носке на углу улицы, куда ему надо было идти, похлопал его по плечу.

— Мы решили ввести тебя в состав имперского кабинета, знаешь?

— Ну что же, не откажусь.

— И на тебя, судя по всему, будут возложены важные функции.

Носке только кивнул в ответ и пошел своей дорогой.

Машина двинулась не сразу — шофер завозился с мотором, и Эберту была видна удаляющаяся нескладная фигура этого в недавнем прошлом журналиста средней руки, который оказался таким незаменимым в делах новой власти.

ЭПИЛОГ

УБИЙЦЫ ИДУТ ПО СЛЕДАМ

I

С некоторых пор все чаще стали появляться листовки с призывами к убийству руководителей «Союза Спартака».

На густом красном фоне одной из них было крупно выведено:

«Рабочие, граждане!
Отечество близко к гибели. Спасите его!
Ему угрожают не извне, а внутри,
Угрожает спартаковская группа.
Убейте ее вождей! Убейте Либкнехта!
Тогда вы получите мир, хлеб и работу».

За подписью «Фронтовые солдаты» скрывался тот же Носке. Уж он-то хорошо знал, откуда грозит опасность режиму Эберта. Да и не только он. Как-то на одном собрании Шейдеману задали вопрос, как он относится к Либкнехту. Он ответил:

— Карл Либкнехт мой очень хороший друг, но теперь в политике я считаю его сумасшедшим, которого надо обезвредить.— И пояснил: — Если бы у меня был брат, который сошел с ума и с оружием в руках угрожал бы жизни пяти-шести человек, то я, не задумываясь, застрелил бы собственного брата, чтобы спасти других.

Вопрос об убийстве руководителей «Спартака», таким образом, стал составной частью государственной политики.

Вот почему охранники Отто Вельса врывались в помещение «Роте фане»: они надеялись захватить руководителей.

В обиход была широко пущена версия, что нормальной немецкой жизни мешают только спартаковцы. Обыватели поверили: стоит справиться со смутьянами, и в страну вернется спокойствие.

Призывы к расправе туманили темные головы. Иные солдаты хвастались: попадись им в руки эти люди, они бы с ними живо расправились. Да тут еще на низменные инстинкты действовало обещание крупной награды.

Встревоженная работница из Вильмерсдорфа сообщила Либкнехту, что в артиллерийском депо Шпандау распространяют листовки с призывом убить его, а убийце обещают двадцать тысяч марок.

Слух о вознаграждении возник не случайно. Друг Шейдемана крупный спекулянт Склярек пообещал тем, кто совершит расправу над спартаковскими вождями, крупную сумму.

Листовки вроде таких: «Уничтожайте все, что повергает нас в рабство! Каждый на своем месте в бой против «Спартака»!» — или совсем уже откровенные: «Смерть Либкнехту!», «Бей Розу Люксембург!», распространяемые в огромном количестве, делали свое дело.

Шейдемановцы пустили в оборот идеи безнаказанности и беспощадности. Обе в сочетании представляли роковую угрозу для тех, кто поддерживал пламя революции, гасимое правительством.

II

Странное дело, популярность «Спартака» была огромна: стоило ему бросить клич в массы, призвать их к протесту, как по зову его шли сотни тысяч. В то же

время способность «Спартака» руководить действиями масс была невелика.

Да и могла ли *группа*, входившая в состав партии, готовой всегда к компромиссам, обладать тем опытом, который позволил бы повести за собой миллионы! Даже те рабочие, что готовы были идти за «Спартаком», не успели сплотиться как следует. А многие считали, что к социализму рано или поздно приведут страну попаторевшие в руководстве социал-демократы.

Пришел крайний срок для создания собственной партии. Предстояло разорвать наконец путы, связывавшие спартаковцев. Еще четырнадцатого декабря «Роте фане» опубликовала воззвание, заключавшее в себе программу новой самостоятельной партии,— «Чего хочет «Союз Спартака»?». Оставалось обсудить и утвердить эту программу на съезде.

«Союз Спартака» сделал последний шаг по отношению к независимым — потребовал созыва всегерманского съезда не позже двадцать пятого декабря. Но те даже не сочли нужным ответить на ультимативное требование. Мосты были, таким образом, сожжены.

Двадцать девятого декабря, после больших усилий, в условиях разобщенности, царившей в стране, открылась конференция левых сил, на следующий день объявившая себя учредительным съездом. Вопрос о необходимости самостоятельной революционной партии не вызывал сомнений больше ни у кого.

Было очевидно: отсутствие ее сыграло в бурной истории последних недель трагическую роль. Тем более она нужна была сейчас.

Так родилась наконец Коммунистическая партия Германии.

В. И. Ленин написал в связи с этим: «...когда «Союз Спартака» назвал себя «коммунистической партией Германии»,— тогда *основание* действительно пролетар-

ского, действительно интернационалистского, действительно революционного III Интернационала, *Коммунистического Интернационала,* стало *фактом».*

«Союз Спартака», так много сделавший для своей страны в невыносимых условиях войны, не сошел с исторической арены: называясь коммунистической, новая партия сохраняла еще некоторое время второе название.

Заседания конференции были прерваны на короткое время, и делегаты в полном составе приняли участие в грандиозном траурном шествии — похоронах убитых в «кровавый сочельник» матросов. В последний раз Либкнехт, Люксембург и Иогихес шагали впереди огромной процессии. Притихший Берлин наблюдал за тем, как медленно и мерно движутся нескончаемые колонны по Аллее победы. Разве могли знать берлинцы, что над всеми тремя уже занесен меч убийц и в следующий раз народ, скорбный и гневный, соберется проводить в последний путь Карла Либкнехта!

Похороны матросов состоялись в воскресенье. А в понедельник тридцатого декабря работа делегатов возобновилась. Снова царила деловая и страстная атмосфера. Устав и задачи партии не вызвали серьезных разногласий. Но вот вопрос о Национальном собрании, подготовка к которому шла в стране полным ходом, привел к спорам. Участвовать или бойкотировать выборы? Роза Люксембург доказывала, что участие коммунистов необходимо: в предвыборной борьбе новая партия завоюет себе авторитет и доверие масс. Но большинство питало ненависть к самой идее Национального собрания, означавшего резкий сдвиг вправо, в сторону буржуазного государства, и отвергло справедливое предложение Розы Люксембург. Чувства оказались сильнее разума и стратегии молодой партии. Решили, невзирая на выборы, заниматься своими делами. А дел было в самом деле по горло.

Еще одна задержка произошла в работе съезда: левые независимые как будто склонялись к тому, чтобы создать отдельную партию. Съезд снова приостановил работу в поисках общей с ними платформы. Через день стало ясно, что надежды на объединение двух группировок нет. Драма разобщенности стала на долгие годы уделом рабочего движения Германии.

Но самое важное в ее исторической жизни произошло: в муках борьбы и терзаниях полемики родилась партия, которой предназначено было повести немецкий народ через все суровые испытания.

III

Итак, на одном полюсе сплотились силы революции, окончательно сформировавшиеся только что; на другом — накопившие давний опыт силы контрреволюции.

Шейдемановцы поняли, что раздавить новую партию надо в зародыше, пока она не стала массовой. Не успела она просуществовать несколько зимних коротких дней, как сделалась жертвой грандиозной провокации. Замысел шейдемановцев был прост и циничен: вызвав партию на улицы, разгромить ее, а на вожаков натравить ищеек.

Четвертого января прусское министерство внутренних дел предложило левому полицай-президенту Эйхгорну сдать дела новому человеку. Эйхгорн считал себя ставленником Советов и до сих пор оказывал сопротивление реакционным мерам правительства. Его пост был последним, находившимся еще в руках у левого социал-демократа. Он решил не подчиняться приказу.

Экстренно собрался Исполком революционных старост. Увольнение Эйхгорна было воспринято всеми как вызов. Решили протестовать и за поддержкой обратиться к населению Берлина.

Некоторые старосты высказали, правда, сомнение: выходить на улицы против хорошо обученных войск, имея мало оружия, без достаточной выучки? На что они обрекут пролетариат Берлина?

Большинство же считало, что подчиниться невозможно и поэтому действовать надо немедленно.

Берлинские рабочие призывались завтра, в воскресенье, снова продемонстрировать свою твердую волю на Аллее победы. Небольшие запасы оружия, которыми располагал Исполком, решено было раздать ударным группам; остальные выйдут безоружными. И все же собирались захватить узловые пункты столицы.

Воскресный день прошел в демонстрациях: сотни тысяч людей заполнили центр города, двигаясь бесконечными протестующими колоннами.

В понедельник началась всеобщая забастовка. Исполком ввел в свой состав представителей матросских и солдатских частей и перенес свой штаб в манеж.

С утра начали выдавать оружие всем, кто являлся, чтобы охранить колонны от провокаций.

Но шейдемановцы тоже вооружали своих приверженцев.

Революционные старосты направили делегатов в казармы убеждать, чтобы солдаты примкнули к рабочим.

Части, готовые сражаться на стороне народа, потребовали лишь одного: чтобы правительство, которому они присягали, было низложено, тогда они присягнут новой власти.

Спешно был создан Революционный комитет. В него вошли Либкнехт и двое левых независимых — Ледебур и Шольце. Ревком объявил, что правительство Эберта не только изжило себя, но и заклеймило преступлениями, поэтому вместо него создается революционный орган, принимающий на себя всю полноту власти.

Обращение Ревкома было отпечатано на машинке.

Нужны были подписи всех трех членов — на этом настаивали солдатские представители.

Либкнехт и Шольце расписались тут же, Ледебура не было. За него поставил подпись, во второй раз, Карл Либкнехт: замедлять стремительный бег событий из-за пустой формальности казалось ему преступным.

Но обращение ревкома выглядело не слишком убедительно, а формализм солдатских представителей пересилил их готовность сражаться на стороне восставших. Матросы же дали не так давно обещание соблюдать нейтралитет и потому заявили, что останутся в стороне от междоусобиц.

Так получилось, что восставший народ не получил помощи ни от солдат, ни от матросов. Да и руководили им совсем плохо. Независимые стали совещаться. Совещания их шли непрерывно. Спартаковцы же действовали. Они появлялись всюду, где рабочие устремлялись на штурм. Либкнехта, Розу Люксембург, Пика можно было видеть то в одном месте, то в другом. Их страстные речи поддерживали решимость восставших. Но что захватывать и с кем сражаться? Захватили дома издательства «Форвертс», устроили баррикады из огромных рулонов бумаги. Захватили еще несколько зданий. Твердого плана восстания не было, а независимые все еще совещались. Невероятные усилия коммунистов и огромное напряжение сил не способны были привести в движение громоздкий и неорганизованный механизм восстания.

Эберт на этот раз не сидел с поникшим лицом и потухшим взглядом. Он, наоборот, энергично распоряжался, предвкушая скорый разгром противников. Он уже видел их поверженными и мысленно расправлялся с ними. Пришла пора твердой власти; натешились, хватит. Национальное собрание, что бы там ни случилось, откроется в срок, через две недели, девятнадцатого января. Надо только раздавить мятеж, устроить левым такое кровопускание, которое запомнилось бы им надолго.

Главнокомандующим силами обороны был назначен Носке. В час своего назначения он произнес фразу, сохранившую его имя в истории:

— Пусть будет так. Кто-то ведь должен стать кровавой собакой. Я не боюсь ответственности!

То, что он делал в последующие дни, полностью оправдало эту кличку.

В помощь так называемым добровольческим группам Носке, давно готовившимся к нападению на рабочих, в столицу были дополнительно введены воинские части. Фельдфебели, сержанты, унтер-офицеры и офицеры были убеждены, что их руками, при содействии канцлера Эберта, будет наконец восстановлена дисциплина в стране.

Сотни тысяч рабочих, заполнивших центр города, ждали руководства, а руководства не было. Созданный революционными старостами Исполком, раздираемый противоречиями, знавший, что независимые ведут переговоры с правительством, растерялся. Коммунисты же были еще слишком малочисленны, чтобы распорядиться миллионной людской массой.

К исходу второго дня, простояв до глубокой темноты, замерзнув, люди стали опять расходиться.

Весь день независимые провели в раздорах, так ничего и не решив. Коммунисты же, ни на минуту не покидавшие готовую сражаться толпу, с отчаянием сознавали, что народ из-за банкротства старост отдан на растерзание завтрашним победителям.

В Исполком входили Либкнехт и Пик. Несмотря на долголетнюю дружбу, Роза Люксембург осудила обоих за то, что они согласились войти в орган, который в такие решающие часы оказался несостоятельным. Она и Иогихес требовали, чтобы их немедленно отозвали.

К концу невыносимо трудного дня мучительный спор разрешился: Либкнехт и Пик заявили о выходе из Комитета.

Либкнехт был словно раздавлен. Сознание долга говорило, что он обязан быть с массами до конца, чем бы это ни кончилось. Между тем все настойчивее становились сигналы, что убийцы, нанятые и добровольные, следуют за ним и Розой по пятам. Товарищи требовали, чтобы они хотя бы на время ушли в подполье.

Либкнехта ловили то здесь, то там Иогихес, Кнорре, Фриммель — все, кто в эти недели работал вместе с ним, и даже товарищи мало ему знакомые, но которых он знал в лицо, осторожно указывали на подозрительных субъектов и буквально умоляли его уйти.

— Как можно согласиться, вы же видите, что происходит!

— Карл, вы обязаны скрыться! Надо думать о завтрашнем дне.

Либкнехт не отчаивался и не унывал. Творилось великое дело, и последствия его могли сказаться не завтра и не послезавтра.

Роза была непреклонна тоже, отойти в сторону в момент надвигавшейся катастрофы она не соглашалась.

А борьба шла уже много часов. Здания, стихийно захваченные восставшими, были окружены войсками. Пробраться туда можно было с великим трудом. Солдаты контрреволюции ждали приказа штурмовать осажденных.

Это было хорошо продуманное, выношенное в кабинетах Эберта и Шейдемана массовое убийство. Оно развивалось по плану, который тщательно разработал и которым истово руководил Густав Носке.

IV

После того как в Берлин ввели свежие части, начался методичный обстрел зданий, занятых восставшими. Артиллерия и на этот раз действовала против редких ружейных залпов и, в лучшем случае, пулеметов. Стены, за

которыми укрывались защитники, рушились кусок за куском.

Двор «Форвертса» представлял собой груду развалин. Рулоны бумаги лежали вперемежку с горами битого кирпича. Орудийные залпы все точнее поражали внутренние здания.

Наконец положение защитников стало совсем безнадежным. С каждым часом число раненых и убитых росло. Тогда решено было выслать парламентеров, чтобы выяснить условия капитуляции.

Семь человек с белыми тряпками вместо флажков стали приближаться к месту, где находился командный пункт.

Майор Стефани, командир полка «Потсдам», скрестив на груди руки, ждал, следя за тем, как пробираются парламентеры среди развалин. Стрельба на время затихла.

— Что вам угодно заявить? — спросил холодно Стефани.

Он сознавал себя по меньшей мере маршалом Фошем, принимавшим в Компьенском лесу капитуляцию Германии.

— Мы хотим выяснить условия сдачи защитников.

— Условия?! — переспросил Стефани.— Бандиты, мятежники выясняют условия?! Один отправится обратно и передаст, что нашим требованием является выход всех до одного с поднятыми кверху руками и без оружия.— И обратился к помощнику: — А этих шестерых отвести в сторону!

Их подвели к стене дома. Последовал ружейный залп: они были расстреляны.

Затем уничтожение осажденных зданий возобновилось. Вскоре защитники подняли белый флаг. Выпустив еще несколько снарядов, майор Стефани приказал прекратить огонь.

Водворилась жуткая тишина. Из зданий один за дру-

гим выходили берлинские пролетарии, окровавленные, перепачканные, измученные вконец.

Стефани хладнокровно отсчитывал их по десяткам: восемьдесят... сто двадцать... двести семьдесят... Перевалило за триста. Это было все, что осталось от огромного отряда, захватившего типографию «Форвертса».

На этот раз Стефани связался со штабом Носке.

— Операция закончена. Триста сдались живыми. Что с ними делать?

— То есть как это что?! — закричали в телефон.— Расстрелять всех до единого!

Стефани держал трубку в руке, он колебался. Он не произнес сакраментального «Есть! Будет исполнено!».

— Нет,— сказал Стефани,— я все-таки офицер, а не палач!

Роль палача он решил предоставить другим.

Но Носке и его люди уже тогда были готовы совместить обе роли. Роль заправских слуг контрреволюции пришлась им по вкусу.

V

Либкнехт успел еще принять участие в переговорах, которые велись между партиями. Кому-кому, а ему было ясно, что, пока продолжались грызня и торг, пока старосты то призывали к отпору, то советовали отступить, пока независимые кидались из стороны в сторону — то к шейдемановцам, то к коммунистам, рабочие проливали напрасную кровь.

Впрочем, напрасную ли? Или то была трагическая репетиция боев, неминуемых в будущем? Кто дал бы на это ответ!

С величайшим трудом ввиду неотвратимой угрозы ареста удалось заставить его и Розу скрыться в предместье Нойкельн, в скромной и надежной рабочей семье.

Хозяева перешли в маленькую комнату, а свою предоставили им.

Либкнехт ходил без конца, и в голове его фантастически проносились события последних дней: картины решимости и отваги повстанцев, сомнения руководителей, унизительные переговоры, капитуляция... Сознание ответственности терзало его. Он пытался разобраться теперь во всем.

Роза сидела на клеенчатой узкой кушетке, прикрытой белым чехлом. Сидела, опустив в изнеможении голову. Потом подняла глаза, наблюдая за Карлом. Он продолжал ходить, и ее глаза невольно следовали за ним.

Она тоже мысленно разбиралась в случившемся. Ясно было одно: во время событий, подобных этим, единоличной вины не бывает. Пусть она не соглашалась со многим из того, что произошло, она несет ответственность наравне с другими. Что случилось, то случилось и войдет в историю. В историю войдет безграничное мужество пролетариев. Суровым, но поучительным уроком войдет неподготовленность организаторов.

Кроме того, что оба принимали непосредственное участие в событиях, они были еще редакторами «Роте фане». Газета должна появиться завтра во что бы то ни стало. Связной придет сюда через час-два и спросит, есть ли что передать в редакцию.

Либкнехт не в состоянии был справиться с бушевавшими чувствами. Хождение нисколько его не успокоило.

— Нет, мы не имеем права здесь оставаться! — вдруг сказал он.— Мы обязаны разделить общую участь.

Роза едва приметно усмехнулась:

— Мы с вами уже разделили ее, Карл.

— Но там творят расправу над лучшими людьми!

С тем же спокойствием, которое иногда поражало в ней, она сказала:

— Их рука дотянется и до нас...— Немного погодя Роза спросила будничным голосом: — Чернила в доме есть, не знаете?

Вырвавшись из своего почти обреченного кружения по комнате, Карл вышел к хозяевам, скромным и деликатным людям, старавшимся не мешать им, и попросил, если можно, чернил, две ручки и совсем маленькую стопку бумаги. Какая бы ни была, лишь бы можно было на ней писать.

VI

Связной приходил и исчезал. Были условные сигналы, по которым его впускали. «Роте фане» продолжала печататься, и два человека, составлявшие мозг и душу редакции, пересылали через связного свой материал.

Вскоре было замечено, что вблизи дома вертятся подозрительные личности. Пришло настоятельное требование от товарищей уйти отсюда.

Либкнехт возражал, говорил, что страхи преувеличены и, если считаться с такими пустяками, придется все вообще прекратить. Революция продолжается несмотря ни на что. Не раз и не два революции подавлялись, их заливали кровью, но остановить бег истории не удавалось никому.

Но то, что творилось вокруг, становилось все более тревожным. Газеты повели разнузданную кампанию против Либкнехта и Люксембург. «Пусть берлинское население не думает,— писала газета «Фольксвер», которую редактировал зять Шейдемана Хенк,— что сбежавшие будут наслаждаться спокойным существованием. Ближайшие дни покажут, что с ними поступят по-серьезному».

Все силы были брошены на это, ищейки шарили повсюду. Неслыханное вознаграждение было обещано тем,

кто доставит Либкнехта и Люксембург живыми или мертвыми,— сто тысяч марок.

Место, где оба скрывались, стало слишком опасным. Необходимо было перебраться в другой район.

— Мы с вами все равно перелетные птицы,— решила Роза.— Ну еще один перелет, связь с газетой сохранится же.

Поздно вечером с величайшими предосторожностями они покинули квартиру, приютившую их. Связной шагал впереди, а они шли за ним, соблюдая расстояние.

Мрачность ночного города, побежденного ордой Носке, действовала на Либкнехта угнетающе. Тьер, Парижская коммуна — сами собой напрашивались исторические параллели. Город казался безжизненным, на облике его лежала трагическая печать.

У Розы возникали другие аналогии, язвительные и гневные. Складывался памфлет, бичующий и страстный, последний ее памфлет.

Дошли до квартала, где не были, кажется, целую вечность. Подъезд оказался незапертым; может, так было заранее условлено. Они стали подыматься по широкой комфортабельной лестнице. Словно бы город и не подвергался совсем недавно разрушению.

Дверь приоткрыла дама в халате, со взбитыми волосами. Связной произнес что-то шепотом, она сняла цепочку и впустила ночных гостей.

— Пожалуйста, вот сюда,— сказала она тихо и проводила пришедших в отведенную для них комнату.

Вильмерсдорф, Мангеймская улица, дом с лепной отделкой. После бедности нойкельнского жилища комната в квартире врача показалась барской.

Собираясь покинуть их, хозяйка стала объяснять, где что находится.

— Мы вас и так стеснили и лишили покоя,— со свойственной женщинам деликатностью заметила Роза.

— Ради бога, не говорите о таких пустяках. Вы в семье, где к вам отнесутся с уважением, которого вы заслужили.

— Спасибо, большое спасибо.

Надо было обладать большим мужеством, чтобы в условиях террора приютить их у себя. Хозяева, надо думать, знали, какой опасности подвергают себя.

Пошептавшись в коридоре с хозяйкой, связной вернулся попрощаться с ними. Либкнехт спросил о связи с газетой.

— Об этом не беспокойтесь. Только ни при каких условиях не покидайте квартиру.

Они остались вдвоем. Все пережитое за последние дни переполняло обоих. О сне думать было невозможно. Опять возникла мучительная необходимость сопоставить свое отношение к тому, что произошло: ни Карл, ни Роза не умели накапливать в одиночку выводы, требовавшие анализа и полные драматизма.

Роза все время настаивала на постепенности действий. Значит, права оказалась она? Но разве можно было бросить на произвол судьбы рабочих, восставших почти стихийно? Предоставить их самим себе?

— Они и были брошены на произвол! — с жаром сказала Роза.

— Хорошо, попробуйте изъять хотя бы одно звено в цепи событий, возможно это? — возразил Либкнехт.

Он стал все восстанавливать: попытку свалить Эйхгорна, гневный ответ старост, призыв к массам... Где же разрыв, который привел к катастрофе? Солдаты, обещавшие поддержать рабочих и в последний момент отошедшие в сторону? Неумение вести уличные бои? Отсутствие твердого руководства?

Стоило дойти до последнего пункта, как Либкнехта охватывало жгучее чувство вины. Роза старалась этого не касаться.

— Ах ты, боже мой, а дорожную чернильницу не захватили с собой! — вспомнила вдруг она.

Либкнехт окинул комнату взглядом и обнаружил на столе большой массивный письменный прибор. Вероятно, их поместили в кабинете хозяина.

— Надо поспать, а то голова не работает,— решила Роза.

Она потребовала, чтобы Карл занял диван, а сама растянулась на узкой кушетке, стоявшей у противоположной стены.

Накрывая ноги пледом, Роза заметила:

— Это хозяева принесли... Великое все-таки дело — человеческая забота.

Долго еще оба ворочались беспокойно, хотя и старались не мешать друг другу.

Чеканные и горячие абзацы нового памфлета всплывали как бы сами собой. Роза тихонько подошла к столу, зажгла, затенив сначала, настольную лампу, проверила, хорошо ли закрывает окно драпировка, опасливо оглянулась на Карла и написала название: «Порядок царит в Берлине!»

А он лежал, не подавая вида, что не спит. В голове складывались абзацы статьи, последней его статьи. Вопреки всему, что творилось, она была пронизана оптимизмом и верой в завтрашний день. Пускай врагам удалось сотворить свое черное дело, пускай они вновь хозяева положения, революция будет шагать по немецкой земле, какие бы низости сейчас ни творились. Так он и назовет статью: «Вопреки всему!» — и в ней снова и снова провозгласит свой символ веры.

И тут острая мысль пронзила Либкнехта: во имя чего он исступленно сражался всю жизнь? Почему пламя ярости пожирает его даже в эти роковые часы и в то же время он полон такой стойкой веры?

В исстрадавшейся его душе возникло вдруг реальное

чувство гармонии, справедливости и добра, человеческого достоинства, которое попиралось в течение столетий и которое будет возвращено всем угнетенным, полного равенства и всеобщего доброжелательства, которые утвердятся в конце концов на земле. Чувство это ослепило его подобно молнии. Вспышка осветила лица товарищей, рядом с которыми он сражался в эти трагические дни и которых больше нет в живых, бесконечно близкие ему лица детей и Сони. Вслед за тем вновь возникли страшные физиономии провокаторов и душителей из числа наемников Носке.

VII

Но гвардия наемников не насытилась еще кровью расстрелянных и убитых. Ей нужны были завершающие жертвы. Ей нужны были Карл Либкнехт и Роза Люксембург.

Некий Штадлер, вернувшийся из русского плена ярым ненавистником большевизма, принялся искоренять то, что именовалось большевизмом немецким. В эту колонку версталось все, что хотя бы отдаленно напоминало революцию.

Заручившись поддержкой сверхмагнатов Германии, Штадлер развил бурную деятельность. Стиннесы, Тиссены, все сверхбогачи, выслушивая и одобряя зверские его планы, выкладывали, не скупясь, деньги на подавление революции. Германия будет недостойна своего имени, заявил один из магнатов, если для такого дела не выделит нужных средств. В голодавшей стране изымались огромные суммы из сейфов богачей для борьбы с революцией.

По всем закоулкам столицы рыскали сыщики и агенты разведки, стараясь напасть на след руководителей коммунистов.

В ночь, когда гвардейская кавалерийская дивизия вошла в Берлин, чтобы довершить расправу, начальник ее

штаба майор Пабст приказал разыскать спартаковских вожаков во что бы то ни стало.

Штадлер явился к Пабсту и стал развивать перед ним истребительные идеи; тот пожал ему руку и заявил, что делу, которым занимается Штадлер, дивизия тоже готова посвятить себя целиком.

В трагической истории Германии, начавшей всемирную бойню, оставалось лишь довести до конца расправу, которую начали Носке и Эберт.

В своих обращениях Штадлер первый пустил в оборот слово, которому суждено было сыграть в жизни человечества зловещую роль,— национал-социализм.

Идеям, связанным с этим словом, некоторое время предстояло оставаться достоянием меньшинства. Спустя четырнадцать лет они овладели Германией, и вся она покрылась густой сетью лагерей и мест пыток.

VIII

Статья «Вопреки всему!» была написана Либкнехтом и должна была появиться в ближайшем номере «Роте фане». Статья Розы «Порядок царит в Берлине!» уже появилась сегодня. Связной доставил им свежий номер газеты, которую продолжали выпускать мужественные сотрудники, и унес с собой материал Либкнехта.

Прежде чем сесть опять за работу, можно было позволить себе небольшую передышку. Вместо этого возобновился бесстрашный спор о том, что оба познали на тяжком опыте: что ошибочно и преходяще, а что сохранит свое величие во времени.

В наружную дверь позвонили. В квартире все замерло. Хозяева открыли дверь не сразу. Звонок повторился, на этот раз условленным способом. Явился Вильгельм Пик.

Приход его несколько разрядил обстановку невыносимой напряженности, царившую в комнате Карла и

Розы. Оба слушали рассказ о событиях в городе и словно отключились от всего другого.

Но тут снова раздался грубый, нетерпеливый звонок. Потом позвонили несколько раз подряд, и водворилась мертвая тишина.

— Тут должен быть черный ход,— предположил Пик.

— Можно не беспокоиться: квартира наверняка обложена,— с неподражаемым хладнокровием заметила Роза.

Она кинула испытующий взгляд на Карла; все их споры отошли, она видела перед собой соратника, рыцаря идеи, которой оба себя посвятили, верного друга. Карл, бледный от ожидания, готов был, как и она, встретить неминуемое лицом к лицу.

В комнату ворвалась банда солдат.

— Ага, вот где они! Смотрите-ка, славно устроились!.. Эй вы, собирайтесь! Пришел ваш час!

Один из них схватил было Розу за руку. Либкнехт гневно сказал:

— А ну-ка, повежливее, господа!

— Ах, вот как?! Вот ты первый и выметешься отсюда!

Либкнехта поволокли к выходу. Его грубо подталкивали со всех сторон и втолкнули в машину. Туда же втолкнули Розу и Пика.

Возле кабачка, превращенного в их штаб, машина сделала остановку. Арестованных потащили туда. Но там приказали везти их дальше.

Их привезли к гостинице «Эден» у Ангальтского вокзала. Машина резко остановилась; арестованных вытолкнули из нее и с шумом и криками повели вверх по лестнице.

Во всем, что делалось, ощущался садизм людей, опьяненных кровью. Убийцы знали, кого захватили, их прямо распирало от гордости. Они подсчитывали уже свои барыши.

В фешенебельном номере сидел Пабст со своими помощниками. Взглянув на задержанных, он произнес:

— Это именно те, кто нам нужен.

Пика он не знал, зато двух других узнал сразу.

Он тянул: опрашивал одного и другого, не интересуясь третьим. Он упивался тем, что его люди сумели доставить сюда живыми самых что ни на есть важных деятелей революции.

...Пройдет час-другой, и с обоими будет покончено. Утром берлинцам сообщат, будто при попытке к бегству был застрелен один, а другая подверглась линчеванию возмущенной толпы, обступившей машину.

Берлин спал и не догадывался о зверской расправе банды Пабста.

Германия спала, чтобы в неслыханных страданиях провести затем двадцать шесть лет изменчивой и мучительной жизни. Многого она еще не предвидела: ни того, что ее ожидает безумие фашизма, ни того, что она на долгие годы станет проклятием человечества.

В ночь на пятнадцатое января тысяча девятьсот девятнадцатого года Германия подписывала себе страшный приговор на долгие времена.

А два великих ее борца, Карл Либкнехт и Роза Люксембург, мужественно и гордо встретившие свой последний час, погибали в ту ночь с убеждением, что дело их жизни будет продолжено другими и даст на немецкой земле величайшие всходы.

Содержание

Черный О. Е.

Ч-49 Немецкая трагедия: Повесть о К. Либкнехте.— 2-е изд.— М.: Политиздат, 1982.— 445 с., ил.— (Пламенные революционеры).

$Ч\frac{0901000000-229}{079(02)-82}235-82$

84Р7+66.61(4Г)
Р2+3КИ1(092)

Осип Евсеевич Черный

НЕМЕЦКАЯ ТРАГЕДИЯ

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*
Редактор *Г. Е. Щербакова*
Художник *А. Д. Бисти*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *Н. П. Межерицкая*

ИБ № 3365

Сдано в набор 12.01.82. Подписано в печать 27.05.82. А 11807. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 20,21. Условн. кр.-отт. 24. Учетно-изд. л. 20,48. Тираж 300 000 (1—150 000) экз. Заказ № 287. Цена 1 р. 60 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.

В 1983 году в серии «Пламенные революционеры» выйдут следующие книги:

Ирина Гуро
Анатолий Андреев
На жестоком берегу
Повесть о Марцелии Новотко

Юрий Давыдов
Две связки писем
Повесть о Германе Лопатине

Павел Демидов
Георгий Суханов
Вспоминай и дальше...
Повесть о Константине Суханове

Анатолий Левандовский
Кавалер Сен-Жюст

Игорь Минутко
Восхождение
Повесть о Розе Люксембург

Александр Нежный
Огонь над песками
Повесть о Павле Полторацком

Евгений Ратнер
А главное — верность
Повесть о Мартине Лацисе

Иван Щеголихин
Слишком доброе сердце
Повесть о Михаиле Михайлове

Камил Икрамов
Все возможное счастье
Повесть аб Амангельды Иманове
(второе издание)

Николай Кузьмин
Рассвет
Повесть о Федоре Сергееве (Артеме)
(второе издание)

Лев Славин
Ударивший в колокол
Повесть об Александре Герцене
(второе издание)



